This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

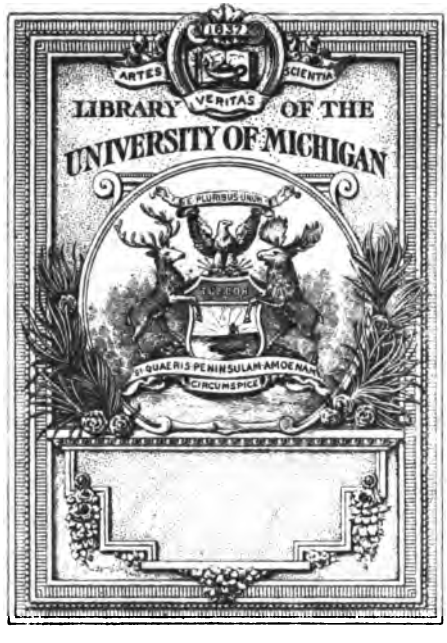
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

K88ℓ

A 471929 DU


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

9
8 l

Библіотека „СВѢТОЧА“
подъ редакціей *С. А. Венгерова.*
№№ 71—75.

Проф. Н. А. КОТЛЯРЕВСКІЙ.

Kotlarevskiĭ, Nikolai Aleksandrovich

Литературныя направленія АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХИ.

Цѣна 1 р. 25 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія А. Э. Винеке, Екатерингофскій пр., № 15.
1907.

891.79
K882

Предисловіе.

Книга эта написана по слѣдующему поводу. За многіе годы моей преподавательской дѣятельности, мнѣ часто приходилось встрѣчаться съ однимъ требованіемъ слушателей, которое ставило меня всегда въ большое затрудненіе. „Укажите намъ,—говорили мнѣ слушатели,—такую книгу, которая, при наименьшей затратѣ времени съ нашей стороны дала бы намъ связный очеркъ развитія русской литературы за протекшее столѣтіе“. Требованіе это было, конечно, вполнѣ законное. Сначала слова „при наименьшей затратѣ времени“ были мнѣ непріятны, такъ какъ я въ нихъ предполагалъ желаніе поскорѣй отдѣлаться отъ предмета, съ которымъ, на мой взглядъ, каждый русскій человѣкъ долженъ знакомиться подробно, въ деталяхъ, въ возможной полнотѣ. Мнѣ пришлось, однако, скоро измѣнить мое мнѣніе, когда аудиторія моя стала расширяться. Пока я преподавалъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, я могъ требовать исключительнаго вниманія къ моему предмету, но когда вольная аудиторія стала наполняться публикой самыхъ различныхъ профессій, учениками и ученицами средней школы, учениками разныхъ профессіональныхъ училищъ, наконецъ, рабочими, мнѣ естественно пришлось подумать объ экономіи ихъ времени. Когда за день имѣешь два-три часа свободныхъ, которые надлежитъ употребить на самообразованіе, поневолѣ, прежде чѣмъ читать книгу, посмотришь, сколько въ ней страницъ и какой матерьялъ въ нее вложенъ.

204970

IV

Составляя такія программы для самообразованія по исторіи русской литературы XIX вѣка, я очутился передъ почти невыполнимой задачей.

Первое, что надлежало опредѣлить, это былъ размѣръ литературнаго чтенія. Какихъ авторовъ читать, и какихъ не читать? и какія произведенія опредѣленнаго автора—читать, а какія обойти?

Второе—надлежало найдти учебникъ самый краткій и самый полный, т. е. среди десятковъ книгъ надлежало найдти самую „подходящую“.

Наконецъ, нужно же было по каждому, въ особенности классическому писателю, указать такъ называемую „литературу предмета“, т. е. опять-таки найдти самое „подходящее“ теперь уже не изъ десятковъ, а изъ сотенъ статей и книгъ. При выполненіи всѣхъ этихъ трехъ задачъ надлежало кромѣ того неуклонно держаться минимума.

Первая задача способна отдать преподавателя въ жертву страшнымъ угрызеніямъ совѣсти. Возмнить себя безконтрольнымъ судьей надъ всѣми русскими писателями и ихъ произведеніями—едва ли рѣшишься, даже имѣя на то всѣ юридическія права. Ставить надъ однимъ произведеніемъ „да“, надъ другимъ „нѣтъ“, наконецъ, поставить „нѣтъ“ надъ цѣлымъ авторомъ — для этого нужна особая смѣлость. А между тѣмъ, нѣтъ сомнѣнія, что этой смѣлостью обладать нужно. Конечно, когда рѣчь заходитъ о первоклассныхъ писателяхъ, то машинально повторяешь нѣсколько именъ, къ сочетанію звуковъ которыхъ какъ-то привыкъ. Но трудность даетъ себя чувствовать когда переходишь къ второстепеннымъ, уже потому, что относительно нѣкоторыхъ писателей такъ и не знаешь, въ какой разрядъ ихъ отчислить—въ разрядъ первоклассныхъ или второго сорта—за неимѣніемъ вѣсовъ, на которыхъ можно талантъ взвѣшивать. А сортировать надо.

Трудность возрастаетъ, когда отъ сортировки авторовъ переходишь къ сортировкѣ ихъ произведеній. Пока дѣло идетъ о критикахъ и публицистахъ, то здѣсь можно еще руководиться серьезностью или историческимъ значеніемъ затронутаго ими вопроса, но когда приходится дѣлать выборъ изъ полнаго собранія сочиненій худож-

ника-беллетриста или поэта, то поневолѣ готовъ сказать такъ, какъ отвѣчаютъ иногда педагоги, которымъ такіе вопросы надоѣли: „Читайте все, что написано нашими классиками“. Совѣтъ, конечно, очень хорошій, когда читатель не стѣсненъ временемъ, но не всегда достигающій цѣли даже и при этомъ условіи. Мнѣ очень часто приходилось встрѣчаться со слушателями, которые заявляли, что у нихъ не хватало терпѣнія, а потомъ и желанія читать, напримѣръ, всего Жуковскаго, всего Лермонтова, даже всего Пушкина. „Всего Тургенева и Толстого,—говорили они,—еще можно прочитать, Достоевскаго уже труднѣе, а на чтеніе всего Писемскаго и всего Щедрина терпѣнія уже не хватаетъ“—и слушатели были правы. И намъ, преподавателямъ и спеціалистамъ дѣла, трудно и скучно читать, такъ называемыя, полныя собранія сочиненій даже весьма извѣстныхъ авторовъ, въ особенности старыхъ. Но преподаватель читаетъ, зная все-таки, кого онъ читаетъ; если же тотъ, кто въ первый разъ знакомится съ такимъ старымъ, хотя бы и очень извѣстнымъ авторомъ, начнетъ его читать съ первой страницы, то я готовъ вѣрить, что книга можетъ выпасть изъ его рукъ до окончанія перваго тома. Я имѣлъ возможность провѣрить это, когда мнѣ возвращали полныя собранія сочиненій Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова, Баратынскаго и другихъ, которыя я давалъ неподготовленнымъ слушателямъ. Книги были разрѣзаны лишь на первыхъ листахъ, и каждый, возвращая ихъ, просилъ съ довольно сердитымъ видомъ отмѣтить карандашемъ то, что читать должно.

Казалось бы, что хрестоматіи могли бы въ данномъ случаѣ прійти на помощь и, конечно, до извѣстной степени онѣ помогаютъ, но если въ полныхъ собраніяхъ сочиненій дано слишкомъ много, то въ хрестоматіяхъ дано слишкомъ мало.

Вторая, и неменьшая трудность, это—указаніе учебника. Учебниковъ новой русской литературы у насъ много, отъ краткихъ до достаточно объемистыхъ. Входить въ ихъ оцѣнку я не стану, а выскажу только нѣсколько общихъ соображеній, на которыя меня навело знакомство съ ними и разговоры по поводу нихъ со слу-

шателями. Нѣтъ, конечно, большей муки для спеціалиста, какъ читать внимательно учебникъ—здѣсь для ума и души ничего не получишь. Но я боюсь, что и средній слушатель не получитъ того, что ему нужно.

Всѣ наши учебники, болѣе или менѣе удовлетворяющіе своей задачѣ, писались для средней школы, т. е. имѣлось въ виду, что учитель на каждомъ урокѣ будетъ разъяснять этотъ учебникъ, вычеркивать изъ него, что не нужно, добавлять то, чего нѣтъ въ немъ, подкрашивать всѣ облѣзлыя мѣста, что онъ вообще сдѣлаетъ эти литературные консервы вполнѣ съѣдобными и вкусными. Такъ оно всегда на самомъ дѣлѣ и бываетъ, и учитель, точно придерживающійся учебника, неминуемо рискуетъ потерять свой престижъ. Такимъ образомъ, ученикъ и учитель въ концѣ концовъ смотрятъ на учебникъ далеко не дружелюбными глазами. Нужно признаться, впрочемъ, что установившаяся форма учебниковъ заслуживаетъ такого отношенія, и виноваты въ этомъ, конечно, не составители учебниковъ, а программы.

Кромѣ того наши учебники заранѣе какъ будто предполагаютъ, что всѣ ученики непремѣнно поступятъ на филологическій факультетъ, чтобы стать спеціалистами по русской литературѣ, или они предполагаютъ, что ни одинъ изъ учениковъ на филологическій факультетъ не поступитъ и потому спѣшатъ на всю жизнь снабдить ихъ достаточнымъ количествомъ знаній. Но цѣль не достигается, потому что вмѣсто знанія дается огромное количество механически сгруппированныхъ свѣдѣній. Книга пестритъ именами и заглавіями сочиненій и хронологическими датами, которыя ученикъ беретъ памятью, съ бою. Спрашивается, нужно ли такое обиліе свѣдѣній для перваго знакомства съ исторіей литературы? Вѣдь все-таки самое цѣнное въ этой исторіи есть художественное творчество крупныхъ талантовъ. Зачѣмъ заставлять ихъ теряться въ толпѣ талантовъ болѣе слабыхъ или даже совсѣмъ посредственныхъ? Экономія времени и мѣста, которую при такомъ грузномъ матерьялѣ долженъ соблюдать составитель учебника, заставляетъ его обсчитывать крупныхъ людей въ пользу менѣе яркихъ, и стоитъ въ любомъ учебникѣ

просмотрѣть отдѣлы, посвященные, напримѣръ, Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, и другимъ корифеямъ нашей словесности, чтобы убѣдиться, что сказаннаго объ этихъ художникахъ недостаточно для полной и яркой ихъ характеристики.

Наконецъ, составитель учебника почти всегда расширяетъ до возможныхъ предѣловъ понятіе о „литературѣ". Въ ея область онъ зачисляетъ и церковное краснорѣчіе, и политическіе трактаты, иногда ученыя сочиненія, имѣющія извѣстную литературную стоимость, публицистику, критику, переводную литературу и многое другое. Нѣтъ сомнѣнія, что все это имѣетъ свое значеніе въ исторіи нашей культуры, но по праву ли оно занимаетъ мѣсто въ исторіи литературы? Не лучше ли добрую половину всего этого перенести въ учебникъ исторіи или, наконецъ, создать особый предметъ, очень и давно желательный въ нашей средней школѣ, а именно—исторію русской общественной мысли? Но если ужъ удѣлять всѣмъ перечисленнымъ отраслямъ писательской дѣятельности мѣсто въ исторіи словесности, то отнюдь уже не столь обширное, какое обыкновенно отводится.

Всѣ эти недочеты учебника учитель можетъ однако до извѣстной степени исправить въ классѣ. Но какъ быть, когда съ просьбой объ учебникѣ обращается ученикъ, который осужденъ на самообразованіе? Дайте ему любой учебникъ—и литература въ тѣсномъ смыслѣ этого слова потонетъ для него въ общей массѣ словеснаго производства: въ глазахъ у него зарябитъ отъ огромнаго количества именъ ему совершенно неизвѣстныхъ авторовъ и заглавій книгъ, которыхъ онъ не читалъ и никогда не прочтетъ. Наконецъ, истинные мастера слова предстанутъ передъ нимъ въ такомъ видѣ, что едва ли онъ почувствуетъ всю силу ихъ мысли и фантазіи, всю глубину ихъ настроенія. Самъ учащійся предугадываетъ свое разочарованіе и обыкновенно послѣ просьбы объ учебникѣ сейчасъ же проситъ указать ему по каждому крупному писателю подходящую литературу предмета. Для преподавателя начинается третье испытаніе.

Ему надлежитъ изъ необъятнаго количества книгъ и статей выбрать самое существенное. Повидимому недостатка въ матерьялѣ нѣтъ, но при подборѣ его замѣчается слѣдующее. За рѣдкимъ исключеніемъ, почти всѣ крупные наши писатели и по сію пору ждутъ біографовъ и комментаторовъ. Есть біографы, но они не комментаторы, а лишь разсказчики, и притомъ крайне добросовѣстные, неутомимые и потому требующіе отъ читателя столь же неутомимаго интереса. Такія біографіи въ двадцать слишкомъ листовъ нельзя давать начинающимъ. Есть комментаторы, иногда очень талантливые, которые того или другого писателя дѣлаютъ предметомъ обслѣдованія въ интересахъ разныхъ идей, имъ, т. е., комментаторамъ, дорогихъ. Такія книги или статьи предполагаютъ уже подробное знакомство съ разбираемымъ авторомъ и кромѣ того въ большинствѣ случаевъ онѣ очень субъективны. Такія книги и статьи вполнѣ годятся для самообразованія, въ общемъ смыслѣ слова, но едва ли онѣ пригодны для перваго знакомства съ писателемъ: онѣ слишкомъ налегаютъ на читателя и даютъ мало простора его собственному сужденію. Наконецъ, существуетъ цѣлая масса цѣнныхъ работъ, разъясняющихъ отдѣльные вопросы жизни и творчества того или другого писателя. Въ этихъ статьяхъ и книгахъ, разрабатывающихъ детали, заключенъ очень богатый матерьялъ и очень много научныхъ выводовъ, которые, сведенные во-едино, могли бы дать исчерпывающую оцѣнку творчества и полную картину жизни многихъ писателей, но этотъ трудъ—а именно сведеніе итоговъ—пока еще не сдѣланъ. Давать же въ руки учащагося списокъ статей, въ которыхъ разработаны детали вопроса—ему пока еще незнакомаго—безполезно. Онъ не сможетъ сгруппировать эти детали въ цѣльную картину и въ нихъ неизбѣжно запутается.

Итакъ, вотъ съ какими трудностями приходится считаться преподавателю новой русской литературы, когда онъ имѣетъ дѣло со смѣшанной аудиторіей, для которой экономія времени—вопросъ очень важный.

И можетъ прійти педагогу въ голову мысль—какъ хорошо было бы, если бы подъ руками имѣлась книга небольшого размѣра, въ которой всѣ три указанныя

трудности были бы облегчены, насколько это возможно. Въ такой книгѣ должны были бы быть указаны: во 1-хъ, тѣ писатели, знакомство съ которыми всякому образованному человѣку обязательно; во 2-хъ, указаны тѣ сочиненія авторовъ, въ которыхъ исторія ихъ творчества, ихъ идей и настроенія всего ярче отражается. Эти свѣдѣнія должны быть, въ 3-хъ, даны въ формѣ связнаго разсказа, по формѣ своей не похожаго на учебникъ, но способнаго до извѣстной степени замѣнить его. Наконецъ, въ 4-хъ, въ этомъ разсказѣ должны быть сгруппированы тѣ выводы, къ какимъ пришла наука и критика въ оцѣнкѣ творчества того или другого художника.

Такая книжка, если бы она когда-нибудь была написана, была бы весьма пригодна для перваго ознакомленія съ предметомъ, и пусть она не давала бы большого запаса знаній, она во всякомъ случаѣ могла бы пробудить вкусъ и интересъ къ судьбамъ нашей словесности въ ея прошломъ.

Очертанія такой книги рисовались мнѣ, когда я принимался за свою работу; теперь, когда часть этой работы окончена, я вижу, насколько исполненное далеко отъ желаемаго. Впрочемъ, иначе оно и быть не могло: настоящая работа есть лишь первый опытъ въ новомъ направленіи и, конечно, надо произвести много такихъ опытовъ и не одному лицу, а многимъ, прежде чѣмъ опредѣлится типъ такой общеобразовательной книжки, которая удовлетворила бы всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ.

Сознавая всѣ недостатки своей работы, я все-таки считаю нужнымъ указать на основныя мысли, какія я положилъ въ ея основаніе.

Первая и руководящая мысль въ томъ, что исторія литературы есть прежде всего исторія *художественнаго* творчества и потому первое мѣсто въ ней должно принадлежать памятникамъ съ истинно художественной цѣнностью. Я пошелъ дальше и въ свою книгу включилъ *только* такіе памятники, отстранивъ всѣ остальные. Мѣрило художественности всегда очень субъективно, но если число разобранныхъ въ книгѣ памятниковъ можетъ быть увеличено, то я надѣюсь, что уменьшено оно ни въ коемъ случаѣ быть не можетъ.

Я намѣревался, такимъ образомъ, говорить лишь о художникахъ и о памятникахъ искусства, но это не значитъ, что я цѣнилъ въ нихъ только одну лишь красоту. Я полагалъ наоборотъ, что каждый литературный памятникъ долженъ быть оцѣненъ прежде всего какъ историческій памятникъ эпохи, и какъ документъ, объясняющій психику поэта. Въ виду этого становилось неизбѣжнымъ ввести въ разсказъ историческую переспективу и біографическія данныя. Эти части работы выполнены мною съ наивозможной краткостью. Да и число упомянутыхъ художниковъ весьма не велико, но я думаю, что въ годы, о которыхъ идетъ рѣчь,—другихъ и не было.

Всѣ второстепенные белетристы и поэты, всѣ критики, публицисты и политическіе писатели—умышленно мною опущены, какъ не имѣющіе прямого отношенія къ развитію художественнаго слова. Страннымъ можетъ показаться отсутствіе Карамзина, но мнѣ кажется, чго если въ его сочиненіяхъ была крупица истинной поэзіи, то она всецѣло растворилась въ поэзіи Жуковскаго.

Выдѣливъ художниковъ, надлежало выдѣлить изъ ихъ сочиненій то, что мнѣ казалось наиболѣе цѣннымъ и характернымъ. Это „цѣнное“ (опять-таки количество его можно увеличить, но уменьшить нельзя) поименовано въ текстѣ и частью перепечатано. Тѣхъ, для кого эта книга предназначается, я просилъ бы непремѣнно прочитать всѣ отмѣченныя сочиненія, прерывая чтеніе самой книги. Чтеніе полныхъ собраній сочиненій подрядъ я никогда бы не рекомендовалъ начинающему, хотя бы рѣчь шла о самомъ Пушкинѣ.

Отмѣтивъ произведенія, мнѣ надлежало по нимъ возстановить исторію творчества художниковъ и исторію развитія словеснаго искусства вообще. Сдѣлать это нужно было, считаясь, конечно, съ выводами критики и науки. На эти выводы я и опирался, но считалъ совершенно излишнимъ въ такой книгѣ, какъ моя, дѣлать какія-либо ссылки. Въ „Общемъ обзорѣ“ (Глава X) читатель найдетъ тѣ выводы, за которые лишь я одинъ отвѣчаю.

Поясненія иностранныхъ словъ я не давалъ, считая большинство изъ нихъ общеизвѣстными и полагая, что

при современномъ обиліи энциклопедическихъ словарей всегда легко навести справку, а такія справки, на мой взглядъ, для начинающаго будутъ очень полезны. Книгъ и статей общаго содержанія по исторіи эпохи, о которой идетъ рѣчь, я тоже не указывалъ, такъ какъ онѣ указаны С. А. Венгеровымъ и мной въ петербургскихъ программахъ для самообразованія. („Программы чтенія для самообразованія", Спб., 1905, Изд. 5-е).

Въ заключеніе я очень просилъ бы всѣхъ заинтересованныхъ въ нашемъ дѣлѣ лицъ сообщить мнѣ свои замѣчанія, которыя не пропадутъ, если этой книжкѣ суждено дожить до второго изданія.

(*Спб. Кабинетская 12, кв. 8*).

Несторъ Котляревскій.

I. Когда родилась наша изящная словесность.

1. Исторію человѣческой жизни, для удобства ея обозрѣнія, принято обыкновенно дѣлить на столѣтія. Дѣленіе это представляетъ безспорно нѣкоторыя удобства, такъ какъ и взгляды, и нравы людей, и строй ихъ общественной и политической жизни за столѣтній промежутокъ времени существенно мѣняются. Но перемѣны во внутреннемъ и внѣшнемъ строѣ человѣческой жизни происходятъ медленно, и старое сливается съ новымъ и переходитъ въ новое не сразу, а постепенно. Даже тѣ историческія событія первостепенной важности, съ которыхъ мы начинаемъ новый счетъ цѣлыхъ историческихъ эпохъ, какъ напримѣръ, христіанская проповѣдь, паденіе римской имперіи, возрожденіе классическаго міросозерцанія, реформація, великая революція—при ближайшемъ изученіи теряютъ свой характеръ новизны и представляются простымъ неизбѣжнымъ продолженіемъ и слѣдствіемъ того стараго, которое они отрицаютъ и, навсегда или на время, уничтожаютъ. Жизнь человѣчества есть непрерывная цѣпь причинъ и слѣдствій, и если мы эту цѣпь разсѣкаемъ и дѣлимъ на части, то мы должны помнить, что мы это дѣлаемъ для удобства обозрѣнія и что на самомъ дѣлѣ самое новое и неожиданное въ исторіи есть лишь наиболѣе яркое выраженіе давно ожидаемаго и неизбѣжнаго. Если это справедливо въ отношеніи къ цѣлымъ

эпохамъ исторіи, то еще болѣе справедливо примѣнительно къ тѣмъ болѣе мелкимъ подраздѣленіямъ нашей жизни на періоды, которыя мы называемъ „столѣтіями". При такомъ мелкомъ дѣленіи жизни на вѣка или столѣтія встрѣчается еще и другая трудность: очень рѣдко новое направленіе жизни совпадаетъ съ первыми годами новаго столѣтія. Иногда то новое, которое характеризуетъ какой-нибудь вѣкъ, сказывается уже совершенно опредѣленно и ясно въ концѣ, или въ серединѣ вѣка предшествующаго, и историкъ, говоря о какомъ-нибудь „вѣкѣ", долженъ подразумѣвать нѣсколько иную серію лѣтъ, чѣмъ та, которая укладывается въ рамки круглаго столѣтія: 1701—1800, 1801—1900 и т. д.

2. Эти соображенія не должно упускать изъ виду когда дѣлишь на періоды и нашу отечественную исторію. Обычное ея дѣленіе на древнюю, до Петра Великаго, и на новую — со времени его реформы — вполнѣ удобно и допустимо, если помнить, что реформа Петра во всѣхъ ея частяхъ была уже вполнѣ намѣчена въ XVII вѣкѣ, и самъ Петръ, являясь новаторомъ и реформаторомъ, былъ въ то же время завершителемъ и исполнителемъ уже назрѣвшихъ потребностей. Случай захотѣлъ, что „реформа" совпала съ самымъ концомъ XVII вѣка и съ первыми годами вѣка новаго.

Такой же случайностью было и совпаденіе первыхъ лѣтъ царствованія императора Александра Павловича съ первыми годами наступавшаго девятнадцатаго столѣтія. Съ этихъ первыхъ лѣтъ XIX вѣка привыкли мы также начинать счетъ особаго періода въ нашей исторіи. Но всѣ отличительныя и характерныя черты нашей политической и общественной жизни при императорѣ Александрѣ Павловичѣ достаточно ясно обрисовались еще при Петрѣ, при Елисаветѣ и, въ особенности, при Екатеринѣ II. Симпатіи къ Западу, либерализмъ въ политикѣ внутренней, затѣмъ побѣда консервативной программы, господствовавшее тогда въ интеллигентномъ обществѣ сентиментальное міропониманіе, пробужденіе критическаго отношенія къ дѣйствительности, ростъ религіозной свободной мысли и тяготѣніе къ

постановкѣ философскихъ вопросовъ — всѣ эти черты нашей жизни, ярко проступившія наружу въ царствованіе Александра I, отчетливо намѣчены уже въ XVIII вѣкѣ. Симпатіи Екатерины II къ западной цивилизаціи, ея увлеченіе западной свободомыслящей литературой и публицисткой, ея „Наказъ“ и затѣмъ преслѣдованіе всякой смѣлой общественной мысли бросаютъ немалый свѣтъ на аналогичное поведеніе ея внука въ вопросахъ внѣшней и внутренней политики его времени. Такъ же точно литературная дѣятельность Карамзина, вполнѣ закончившаяся въ Екатерининское царствованіе, религіозно-нравственные кружки массонскіе и піэтистическіе и ростъ общественной и критической мысли въ сатирѣ Новикова, въ комедіяхъ Фонвизина, въ публицистикѣ Радищева—должны намъ объяснить возможность расцвѣта въ началѣ XIX вѣка сентиментализма, религіозно-нравственной мысли и либеральной общественной тенденціи. Связь Александровской эпохи съ XVIII вѣкомъ—связь самая тѣсная, тѣмъ болѣе, что внутренній укладъ нашей жизни — крѣпостной строй и административная централизація — остаются въ обѣ эти эпохи неизмѣнными.

3. Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло, когда мы суживаемъ нашу точку зрѣнія и, говоря о періодахъ развитія нашей жизни, имѣемъ въ виду не всю жизнь въ ея совокупности, а лишь отраженіе этой жизни въ памятникахъ искусства и, главнымъ образомъ, въ памятникахъ словесности. Когда мы говоримъ объ эпохахъ въ развитіи русской литературы, то установленіе такихъ эпохъ можетъ быть сдѣлано съ нѣсколько большей опредѣленностью. Конечно, всякое литературное теченіе, всякое направленіе художественной мысли и пріемы ея выраженія никогда не бываютъ явленіями случайными: какъ все въ жизни, и они являются звеномъ въ общемъ органическомъ развитіи; и литературное теченіе, которое мы пріурочиваемъ къ какому-нибудь вѣку, такъ же точно можетъ корениться своими началами и достичь вполнѣ яснаго выраженія въ годы, предшествующіе этому вѣку, задолго до числового нарожденія его въ нашемъ лѣтосчисленіи. Но въ

исторіи развитія искусства самое главное есть все-таки само искусство, т. е. болѣе или менѣе совершенный плодъ того, что называется „эстетическимъ отношеніемъ“ человѣка къ окружающей его жизни. Матеріалъ для искусства даетъ, конечно, сама жизнь, но *художественная обработка* этого матеріала зависитъ отъ степени талантливости самихъ художниковъ. Появленіе такихъ талантовъ значительно облегчаетъ дѣленіе исторіи литературы на періоды, хотя трудность дѣленія этимъ не вполнѣ устраняется.

Таланты могутъ родиться, но могутъ и не родиться, могутъ появиться въ изобиліи или въ очень ограниченномъ числѣ. Бываютъ великія эпохи жизни, которыя не находятъ себѣ непосредственнаго отраженія въ искусствѣ, какъ, напримѣръ, эпоха великой французской революціи, или находятъ отраженіе слабое, несоотвѣтствующее своему содержанію, какъ, напримѣръ, у насъ въ Россіи, годы общественнаго броженія, предшествовавшіе эпохѣ великихъ реформъ (1848—1855). Случается наоборотъ, что совсѣмъ вялая по общественному настроенію эпоха изобилуетъ талантами, какъ, напримѣръ, въ Германіи конецъ XVIII вѣка и начало XIX-го, или у насъ эпоха Николаевскаго царствованія. Наконецъ, многое зависитъ и отъ размѣра силы этихъ талантовъ. Бываютъ періоды, когда талантовъ много, но когда среди нихъ нѣтъ художника первоклассной силы.

Въ виду всего этого, установленіе періодовъ въ исторіи развитія изящной литературы также дѣло не легкое. Всегда рискуешь внести въ это дѣленіе много произвольнаго, или обратить его въ дѣленіе чисто внѣшнее, по царствованіямъ, по десятилѣтіямъ, по хронологической послѣдовательности появленія тѣхъ или другихъ литературныхъ памятниковъ.

4. Если имѣть въ виду лишь ближайшія къ намъ времена, то исторію русской словесности отъ Петра до нашихъ дней можно раздѣлить на два періода: на періодъ, когда литературный нашъ языкъ медленно слагался и когда настоящихъ художниковъ слова у насъ еще не было; и на періодъ, когда литературный языкъ былъ выработанъ и когда такіе истинные художники народились.

Первая эпоха обнимаетъ весь XVIII вѣкъ, вѣкъ Ломоносова, Сумарокова, Екатерины II, Новикова, Радищева, Фонвизина, Державина и Карамзина; второй періодъ начинается съ первыхъ годовъ XIX столѣтія, съ расцвѣта творчества Жуковскаго и длится по сію пору.

Дѣйствительно, въ XVIII вѣкѣ нашъ литературный языкъ переживалъ годы медленнаго и труднаго развитія, постепенно освобождаясь отъ славяно-русской старины и отъ вліянія иноземнаго. Но до Жуковскаго и Батюшкова этотъ языкъ не обладалъ достаточной гибкостью, образностью, самобытно-русскимъ богатствомъ словъ и оборотовъ, несмотря на писательскій талантъ Ломоносова, Фонвизина и Державина. Даже языкъ Карамзина не можетъ назваться вполнѣ художественной русской рѣчью, не смотря на всѣ свои стилистическія достоинства. Лексиконъ Карамзина ограниченъ, иностранныхъ оборотовъ въ его языкѣ много и плавность его стиля монотонна, изысканна и малоестественна. XVIII вѣкъ не располагалъ художественной рѣчью ни для стиховъ, ни для прозы. Не знавалъ онъ и истинныхъ художниковъ. Нельзя, конечно, отрицать большой поэтической силы въ нѣкоторыхъ одахъ Ломоносова и Державина; нельзя не признать трезвое, реальное воспроизведеніе жизни въ нѣкоторыхъ сценахъ комедій Фонвизина и на нѣкоторыхъ страницахъ Новиковской сатиры,—но всѣ наши самые талантливые писатели XVIII вѣка все-таки истинными художниками не были. Имъ всѣмъ недоставало истиннаго художническаго темперамента, который не позволялъ бы имъ мѣнять свою роль художника на роль проповѣдника или „увеселяющаго“ разсказчика. Наши писатели XVIII вѣка были въ большой степени дидактики, которые цѣнили въ своемъ творчествѣ всего больше то назиданіе, которое въ немъ заключалось. Кромѣ того, они находились еще подъ сильнымъ вліяніемъ писателей западныхъ, у которыхъ заимствовали содержаніе своихъ произведеній, часто совсѣмъ не совпадавшее съ нашей жизнью.

Писатель XVIII вѣка, иногда при большомъ природномъ дарованіи, не умѣлъ свободно, художнически

овладѣть жизнью, изъ которой онъ пытался взять содержаніе для своихъ произведеній, и, кромѣ того, въ его распоряженіи не было еще вполнѣ литературнаго, гибкаго, самобытнаго и богатаго литературнаго языка. Наши истинные художники слова народились и развились въ XIX столѣтіи, и первый изъ нихъ былъ Жуковскій.

5. Въ этомъ смыслѣ все XIX столѣтіе отъ Жуковскаго до нашихъ дней можетъ быть признано за одну цѣльную и связную эпоху, отличительными чертами которой являются, во-первыхъ, обиліе вполнѣ художественныхъ произведеній словесности, удовлетворяющихъ, какъ искусство, всѣмъ строгимъ его правиламъ и, во-вторыхъ, истинно литературный языкъ, достигшій въ необычайно короткій срокъ уже въ произведеніяхъ Пушкина степени высокаго совершенства.

Если эту длинную эпоху литературнаго развитія, обнимающую свыше ста лѣтъ, мы пожелали бы, въ свою очередь, раздѣлить на періоды, то намъ при такомъ дѣленіи слѣдуетъ держаться уже не тѣхъ соображеній, на основаніи которыхъ мы отдѣлили XVIII вѣкъ отъ XIX-го.

Девятнадцатое столѣтіе въ исторіи развитія русской изящной словесности есть вѣкъ сознательнаго и цѣлостнаго эстетическаго отношенія художника къ жизни. Въ этомъ смыслѣ годы, когда творилъ Пушкинъ, ничѣмъ не отличаются отъ годовъ, когда писалъ Тургеневъ или пишетъ Левъ Толстой. И Пушкинъ, и Левъ Толстой одинаково — художники; и то, что ими создано,—создано ими въ удовлетвореніе ихъ эстетическаго чувства. Измѣнился матеріалъ, которымъ они пользовались, измѣнилось отношеніе художника къ этому матеріалу, измѣнились наконецъ техническіе пріемы творчества, но оба они остались художниками, служителями единаго на всѣ вѣка искусства.

Мы сказали, что измѣнилось *отношеніе художника къ матеріалу*, которымъ онъ пользуется, и это-то измѣненіе и даетъ намъ право произвести новое дѣленіе длиннаго вѣкового періода нашей словесности. На протяженіи XIX вѣка въ этомъ *отношеніи художника* къ обрабаты-

ваемому имъ *матеріалу* замѣчается, дѣйствительно, весьма важная перемѣна.

Сначала, въ первыя десятилѣтія XIX вѣка—во времена, такъ называемаго, „классицизма", „сентиментализма" и „романтизма", художникъ занятъ преимущественно своей личностью; для него—онъ самъ, съ его мыслями, настроеніями, полетомъ своей фантазіи—самое главное. Онъ говоритъ преимущественно о томъ, какъ весь окружающій міръ отражается въ немъ—въ поэтѣ. Его отношеніе къ этому міру, какъ принято говорить,—болѣе или менѣе *субъективно*. Со средины, приблизительно съ сороковыхъ годовъ XIX столѣтія, это субъективное отношеніе художника къ окружающей его жизни начинаетъ мѣняться и очень быстро преображается. Художникъ стремится какъ можно вѣрнѣе и полнѣе охватить и изобразить окружающую его жизнь: она во всемъ своемъ разнообразіи, она, отъ него отличная, становится главнымъ предметомъ его интереса: онъ анализируетъ ее и затѣмъ стремится возсоздать ее въ цѣлости или по частямъ. Художникъ считаетъ для себя большой заслугой, когда въ его произведеніи не видно его самого, когда его симпатіи и антипатіи скрыты. Онъ стремится какъ можно *объективнѣе* взглянуть на тотъ матеріалъ, который онъ обрабатываетъ.

Такова въ общихъ чертахъ перемѣна, замѣтная въ развитіи нашей художественной словесности за цѣлое XIX столѣтіе, и она даетъ намъ основаніе раздѣлить этотъ длинный періодъ на двѣ части—на періодъ, когда художникъ относился къ міру преимущественно *субъективно*, и періодъ, когда онъ стремился стать къ нему преимущественно въ *объективное* отношеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, бѣгло обозрѣвая послѣдовательное чередованіе художественныхъ памятниковъ нашей словесности за XIX столѣтіе, мы видимъ, что художникъ въ способѣ отношенія своего къ жизни рѣзко измѣнился. Поэзія Жуковскаго, Батюшкова, Баратынскаго, Языкова, Веневитинова, Кольцова, Лермонтова, Полежаева была *личной субъективной исповѣдью* художника. Басня Крылова была картиннымъ доказательствомъ той практической, довольно узкой мудрости, которую Кры-

ловъ *для себя* усвоилъ; сатира Грибоѣдова была выраженіемъ его личныхъ взглядовъ на одно изъ самыхъ характерныхъ явленій того времени — на столкновеніе стараго поколѣнія съ молодымъ — выраженіе очень субъективное, не смотря на безспорное дарованіе художника изображать типы, съ которыми онъ самъ не имѣлъ никакого сходства. Даже всеобъемлющая поэзія Пушкина, которую такъ привыкли превозносить за ея объективность, за способность воспроизводить жизнь во всемъ ея объемѣ, даже она, эта широкая поэзія, носитъ на себѣ, какъ увидимъ, печать своего вѣка: Пушкинъ былъ очень субъективенъ, именно, какъ художникъ. Онъ бралъ изъ жизни лишь то, что онъ непосредственно созерцалъ какъ художникъ — будь то сказка русская или иноземное преданіе, будь то страница прошлаго, родного или чужого — но отъ художественнаго всесторонняго воспроизведенія жизни его окружавшей Пушкинъ воздерживался и, какъ увидимъ, кромѣ неоконченнаго „Евгенія Онѣгина", онъ въ своихъ произведеніяхъ почти не говорилъ о русской дѣйствительности того времени. Такъ незначителенъ былъ въ началѣ XIX вѣка объективный интересъ художника-писателя къ жизни, въ которой онъ участвовалъ. Такое же субъективное отношеніе къ ней замѣтно и въ тогдашней литературной критикѣ. Бѣлинскій и вся университетская молодежь тридцатыхъ годовъ были очень субъективные эстетики и философы, которые иногда даже позволяли себѣ совсѣмъ забывать о русской дѣйствительности. Если крупные таланты той эпохи не могли въ своемъ художественномъ творчествѣ выйти изъ круга личныхъ убѣжденій, чувствъ и настроеній, то въ произведеніяхъ талантовъ второстепенныхъ эта „субъективность" сказывалась еще рѣзче... Примѣръ тому—произведенія Полевого, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова Бенедиктова, Подолинскаго и др.

Только съ Гоголя въ нашей литературѣ сталъ явственно замѣтенъ поворотъ художника къ истинно объективному творчеству, и въ „Ревизорѣ", и въ „Мертвыхъ Душахъ" даны были намъ первыя широкія картины той дѣйствительной жизни, которая насъ окру-

жала. Но Гоголь со своимъ творчествомъ стоялъ все-таки на распутьи двухъ дорогъ. Всѣмъ своимъ міросозерцаніемъ и настроеніемъ онъ принадлежалъ прошлому, и только его талантъ, одинъ талантъ заставилъ его вступить на дорогу новую. Какъ человѣкъ, онъ былъ натура крайне субъективная, какъ писатель, онъ обладалъ даромъ трезваго объективнаго отношенія къ жизни. И мы знаемъ, какъ этотъ разладъ человѣка и художника отозвался болѣзненно и на самомъ писателѣ, и на его творчествѣ. Но, во всякомъ случаѣ, творчество Гоголя отмѣчаетъ ясно готовящуюся совершиться перемѣну въ томъ отношеніи, въ какое художникъ становился къ жизни.

Со времени Гоголя и со времени торжества, такъ называемой, „натуральной" школы, нашъ художникъ сдѣлалъ окружавшую его жизнь предметомъ тщательнаго изученія и наблюденія, стараясь художественно воспроизводить эту жизнь въ ея цѣломъ или по частямъ и стремясь скрыть, стушевать въ этомъ изображеніи свою собственную личность. Такъ относились къ нашей жизни всѣ наши большіе художники, начиная съ сороковыхъ годовъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Островскій, и Гончаровъ, и Толстой, и Щедринъ. Если каждый изъ нихъ проводилъ въ своихъ сочиненіяхъ свое міросозерцаніе и съ особой любовью останавливался на типахъ, которымъ симпатизировалъ; если иногда, въ реальную картину онъ вставлялъ отъ себя цѣлыя разсужденія и позволялъ себѣ косвенно исповѣдываться передъ читателемъ, то все-таки его сочиненія были прежде всего обстоятельной и *широкой картиной живой дѣйствительности*, были историческимъ документомъ его эпохи, и главной заботой художника было не выраженіе его личныхъ чувствъ и взглядовъ, а уловленіе смысла и общаго облика той жизни, которая на его глазахъ развертывалась. Такова была задача всѣхъ нашихъ крупныхъ писателей второй половины XIX вѣка. Писатели съ меньшимъ дарованіемъ шли той же дорогой, и въ своемъ стремленіи изображать реальную жизнь, гнались также прежде всего за точностью въ этомъ изображеніи; они жертвовали ради этой точности ху-

дожественной цѣльностью произведенія и красотой композиціи, какъ то дѣлали, напр., Писемскій, Помяловскій, Боборыкинъ, Левитовъ, Рѣшетниковъ, Слѣпцовъ и др. Реализмъ сталъ лозунгомъ и тѣхъ, кто писалъ стихами, хотя за исключеніемъ Никитина и Некрасова, поэзія реализма не имѣла у насъ крупныхъ представителей: она оставалась въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ поэтовъ, попрежнему очень субъективной (и такая субъективность поэзіи Майкова, Тютчева, Фета, Полонскаго и А. Толстого вызывала въ вѣкѣ торжествующаго реализма ожесточенные и часто несправедливыя нападки.) Реальной по существу стала и литературная критика. Она также стремилась говорить не столько о писателѣ, какъ художникѣ, сколько „по поводу“ него о той жизни, которую онъ изображалъ. Аполлонъ Григорьевъ стремился одно время обуздать такую слишкомъ публицистическую критику, но успѣха не имѣлъ, и руководящимъ образцомъ литературной критики стали публицистическія статьи Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева.

Реализмъ остался и до сего дня господствующимъ теченіемъ въ нашей литературѣ, не смотря на то, что количество яркихъ талантовъ къ концу вѣка значительно убавилось и рядомъ съ реализмомъ начало пробиваться наружу прежнее чисто субъективное отношеніе художника къ жизни, сказавшееся въ произведеніяхъ такъ называемыхъ эстетовъ, символистовъ и декадентовъ.

Итакъ, въ нашемъ изложеніи мы будемъ придерживаться вышеизложеннаго дѣленія. Оставивъ въ сторонѣ XVIII вѣкъ, когда мы не обладали еще литературнымъ языкомъ достаточно совершеннымъ и когда среди нашихъ писателей не было истинныхъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, мы обратимся къ вѣку XIX съ первыми годами котораго совпалъ и первый расцвѣтъ художественнаго русскаго творчества.

Это творчество въ первые десятилѣтія своего развитія отличалось, какъ мы сказали, *субъективнымъ* отношеніемъ художника къ окружающей его жизни, т. е. такимъ отношеніемъ, при которомъ художникъ былъ

не столько занятъ воспроизведеніемъ въ искусствѣ той дѣйтвительности, которая его окружала, сколько художественнымъ выраженіемъ тѣхъ чувствъ, мыслей, настроеній, какія она, эта реальная жизнь въ немъ, какъ человѣкѣ и художникѣ, будила.

6. Для развитія художественнаго творчества эпоха царствованія Александра I была очень благопріятна, и наша изящная словесность своимъ быстрымъ ростомъ безспорно обязана тѣмъ условіямъ внѣшней и внутренней жизни, какія сложились въ это достопамятное царствованіе. Если самое существованіе изящной литературы зависитъ отъ степени талантливости писателей, т. е. отъ извѣстной случайности, то успѣшное развитіе этихъ талантовъ находится въ прямой зависимости отъ общественныхъ условій ихъ времени. Эти общественныя условія въ царствованіе Александра I были исключительно благопріятны для нашей литературы. Пусть строгость цензуры и давала себя тогда сильно чувствовать, пусть во вторую половину царствованія весъ ходъ внутренней и внѣшней жизни былъ ретроградный, пусть, наконецъ, общая народная масса была темна и инертна,—но въ интеллигентныхъ кругахъ того времени, въ кругахъ, гдѣ развивалась и цвѣла литература, царило большое оживленіе мысли, чувства били ключемъ, и художникъ имѣлъ благопріятный случай для всесторонней шлифовки своего таланта.

7. Первое, что должно отмѣтить, когда говоришь о царствованіи Александра I, это—довольно тѣсную связь, въ какую мы вступили тогда съ нашими западными сосѣдями. Стремленіе къ духовному общенію съ Западомъ сказывалось у насъ очень рѣшительно еще съ Петра Великаго, было модой въ царствованіе Екатерины II, но замерло въ послѣдніе годы Екатерининскаго царствованія и въ годы правленія Павла Петровича. Съ Александромъ I эта порванная на нѣкоторое время связь возобновилась. Александровское правительство на первыхъ порахъ не препятствовало притоку западной мысли въ Россію, и наше образованное общество стало нагонять западную цивилизацію. Въ этой погонѣ общество торопилось и западная мысль захватывала быстро

очень широкіе круги, давая нашему уму самую разнообразную и очень богатую пищу.

Въ началѣ XIX вѣка, послѣ краткаго затишья, мы очутились подъ перекрестнымъ огнемъ самыхъ разнообразныхъ западныхъ міросозерцаній и настроеній. Французскіе энциклопедисты, скептики и матерьялисты, англійскіе сентименталисты, романтики и религіозные сектанты, нѣмецкіе гуманисты, піэтисты и мечтатели-эстетики—всѣ эти представители неустойчивыхъ міросозерцаній, развившихся на Западѣ и быстро смѣнявшихъ другъ друга со средины XVIII вѣка, имѣли въ Александровское царствованіе у насъ и учениковъ, и просто любопытствующихъ слушателей. Книги самыя разнообразныя ходили тогда по рукамъ, возбуждая работу пока еще не вышколенной нашей мысли. Читался съ одинаковымъ интересомъ скептикъ Вольтеръ, религіозно настроенный Руссо, восторженный Шиллеръ, сдержанный Гёте, мрачный Байронъ, жизнерадостный Вальтеръ-Скоттъ, тихій мечтатель Тикъ и страстный фантазеръ Шатобріанъ, читались „безбожники“ французскіе энциклопедисты и мистикъ піэтистъ Эккартсгаузенъ, читались проповѣди квакеровъ и фанатическія разсужденія Жозефа де Местра; однимъ словомъ, читалось все выдающееся и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самое противорѣчивое въ наукѣ, философіи, публицистикѣ и литературѣ. Все возбуждало интересъ и находило откликъ. Если въ большинствѣ случаевъ этотъ откликъ и не былъ вполнѣ продуманный и не будилъ самостоятельной творческой работы ума, то онъ имѣлъ другое важное значеніе. Онъ показывалъ, что русскій умъ былъ полонъ интереса и обладалъ способностью быстраго усвоенія. Для писательскаго таланта такая атмосфера разностороннихъ умственныхъ интересовъ была очень благопріятнымъ условіемъ развитія. Кругозоръ писателя быстро расширялся, и въ немъ поддерживалась чуткость къ впечатлѣніямъ самымъ разнообразнымъ. Нужно помнить, однако, что эти впечатлѣнія нашъ писатель выносилъ не непосредственно изъ жизни, а чаще изъ книгъ,—почему въ своихъ собственныхъ произведеніяхъ онъ въ тѣ годы бывалъ такъ часто и такъ невольно

подражателемъ. Но, во всякомъ случаѣ, свобода обращенія, какой пользовалась западная мысль у насъ въ первые годы Александровскаго царствованія, должна быть выставлена какъ одна изъ характерныхъ чертъ того времени, и народившіеся тогда художественные таланты отъ этой свободы выиграли очень много.

8. Сближеніе наше съ Западомъ не ограничилось одной идейной областью. Политическія событія начала XIX вѣка привели насъ въ непосредственное столкновеніе съ нашими сосѣдями, и случилось это при такихъ обстоятельствахъ, которыя были для насъ весьма почетны. Мы явились какъ бы избавителями Европы отъ Наполеонскаго самовластія. Прежде съ нами считались лишь какъ съ грубой силой, и, хотя и въ данномъ случаѣ сила рѣшила дѣло, но помощь, оказанная нами Европѣ, была столь значительна, что наши сосѣди въ благодарность готовы были признать русскій народъ равноправнымъ членомъ своей семьи. Намъ это очень польстило и мы поторопились признать себя европейцами. Рѣшительное вступленіе наше въ семью европейскихъ народовъ, не только на правахъ должника, но и кредитора,—вступленіе сначала въ эпоху первыхъ войнъ съ Наполеономъ и въ особенности въ годы 1813—1815, когда наши войска прошли черезъ всю Европу, затѣмъ вниманіе, съ какимъ къ намъ относился Западъ послѣ Вѣнскаго конгресса,—были также однимъ изъ условій, благопріятныхъ для роста нашего художественнаго творчества. Отечественная война 1812 года, война за освобожденіе Европы отъ Наполеона 1813—1815 годовъ и участіе нашей дипломатіи въ рѣшеніи всѣхъ международныхъ вопросовъ послѣ 1815 года сопровождались у насъ въ Россіи большимъ подъемомъ національнаго самосознанія. Если наша политика на Западѣ и на Ближнемъ Востокѣ и не могла назваться дальновидной, то все-таки сознаніе нашей силы сопровождалось подъемомъ энергіи, смѣлости, рѣшительности въ сужденіяхъ, подъемомъ вѣры въ себя, какъ въ націю; и такое учащеніе пульса жизни вліяло и на художественное творчество, на самосознаніе художниковъ, у которыхъ явилось желаніе и въ сферѣ искусства дать почувство-

вать силу нашей самобытности. Мы торопились во всемъ изъ положенія учениковъ стать поскорѣе учителями.

При господствующемъ вліяніи этихъ двухъ факторовъ жизни, т. е. при необычайно разностороннемъ богатствѣ идей и чувствъ, которыя приходили къ намъ съ Запада, и при сильно окрѣпшемъ національномъ самосознаніи, выражавшемся иногда очень рѣзко,—стала быстро развиваться наша умственная и общественная жизнь въ началѣ XIX вѣка.

Говоря, однако, объ этой умственной и общественной жизни, надо помнить, что все ея движеніе свершалось въ кругу довольно ограниченномъ, въ кругу почти исключительно дворянскомъ—военномъ, чиновномъ и помѣщичьемъ. Вся остальная громадная народная масса, слагающаяся изъ другихъ классовъ, въ этомъ движеніи принимала самое ничтожное участіе, или совсѣмъ на него не откликалась.

9. Но въ классахъ интеллигентныхъ работа мысли шла ходомъ очень оживленнымъ и въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Упорно работала, прежде всего, мысль религіозно-нравственная. Хотя развитіе ея и было съ внѣшней стороны обставлено многими стѣснительными условіями, но потребность въ этой мысли была такъ велика, что она вопреки этимъ условіямъ прорывалась наружу. Въ интеллигентномъ обществѣ сталкивались самыя различныя направленія этой мысли, выросшія частью на русской почвѣ, а въ большинствѣ случаевъ пришедшія къ намъ съ Запада. Православная мысль, раскольничья и сектантская всевозможныхъ видовъ сталкивались съ мыслью католической и іезуитской, съ разнообразными оттѣнками мысли протестанской, піэтистической, массонской, квакерской и другими. Мысли эти сталкивались не тайно, а довольно явно, проникая иногда даже въ печать и соединяя людей въ особые кружки, въ которыхъ то или другое ученіе проповѣдывалось. Нельзя сказать, чтобы эти оттѣнки общехристіанской религіозной мысли принесли большой плодъ въ смыслѣ ихъ богословскаго и научнаго развитія, но ихъ обращеніе въ нашемъ обществѣ—тогда

на всякую новизну очень падкомъ—безспорно способствовало расширенію нашего умственнаго кругозора, направляя наше вниманіе на такія стороны общечеловѣческой культурной жизни, на такія идеи, которыя требуютъ живого и сердечнаго отношенія, а не только отношенія пассивнаго. Терпимость въ вопросахъ вѣроисповѣданія и вообще религіозной мысли—большой культурный факторъ, и если эта терпимость въ царствованіе Александра I и не была вполнѣ признаннымъ фактомъ, а въ послѣдніе годы его жизни даже подверглась самому рѣшительному гоненію, тѣмъ не менѣе она дала сильный толчокъ нашей мысли и держала ее нѣкоторое время въ весьма напряженномъ состояніи. Дала она толчекъ и воображенію, такъ какъ въ религіозной мысли было искони много поэзіи.

Вмѣстѣ съ мыслью религіозной обнаруживала нѣкоторое движеніе и мысль философская. Она была тогда новинкой для свѣтскаго общества, такъ какъ въ XVIII вѣкѣ только въ самыхъ замкнутыхъ кругахъ въ Москвѣ можно было подмѣтить нѣкоторое ея присутствіе. И въ царствованіе Александра Павловича она широкаго распространенія не получила, но въ университетскихъ кругахъ имѣла своихъ представителей. Въ особенности характернымъ явленіемъ былъ тотъ интересъ, который обнаружила въ 20-тыхъ годахъ московская молодежь къ ученію знаменитаго нѣмецкаго философа Шеллинга. Ученіе это, пытавшееся всю вселенную и природу и человѣка объять единымъ философскимъ взглядомъ, ученіе, трудно усвояемое, но необычайно поэтичное, было воспринято кружкомъ московскихъ студентовъ и благодаря талантливости нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ напр., кн. В. Ѳ. Одоевскаго и Д. В. Веневитинова оставило свой слѣдъ даже на русской поэзіи и на страницахъ журналистики. Конечно, это была пища для немногихъ, и еще совсѣмъ незрѣлое теченіе мысли, которому суждено было окрѣпнуть лишь въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Однако движеніе этой отвлеченной мысли въ Александровское царствованіе не должно быть оставлено безъ вниманія. При очень поверхностномъ отношеніи къ философскимъ вопросамъ,

какое тогда господствовало, при большомъ количествѣ дилетантовъ, которые въ рѣшеніи высшихъ вопросовъ придерживались старомоднаго скептическаго взгляда, взятаго безъ всякой провѣрки изъ просвѣтительной французской философіи XVIII вѣка, плохо понятой,— такая серьезная, глубокая мысль, какъ мысль Шеллинга, была самой желанной поправкой въ раздумьи русскаго интеллигентнаго человѣка надъ коренными вопросами жизни. Не должно забывать также, что нѣмецкая отвлеченная мысль искупала всѣ свои трудности поэтичностью своего замысла и своихъ построеній.

10. Наряду съ отвлеченной религіозно-философской мыслью большое оживленіе обнаруживала тогда мысль политическая и общественная. Самъ царь, какъ извѣстно, въ первые годы своего царствованія былъ большимъ либераломъ. Мрачныя стороны нашей русской дѣйствительности—невѣжество и рабство массъ, нравственое растлѣніе всей чиновной машины, отсутствіе въ обществѣ интеллигентной самодѣятельности мысли и неразвитость въ немъ гражданскаго чувства, наконецъ, несовершенство самой системы управленія,—на все это царь обратилъ свое вниманіе, и цѣлый рядъ самыхъ рѣшительныхъ реформъ былъ имъ сдѣланъ для наискорѣйшаго исправленія всѣхъ этихъ недостатковъ. Этимъ реформамъ часть общества пошла съ энтузіазмомъ на встрѣчу, и, такъ какъ на первыхъ порахъ царь поощрялъ такой откликъ въ своихъ подданныхъ и правительство развитію политической мысли въ обществѣ большихъ преградъ не ставило, то слѣдствіемъ этого въ короткій срокъ было весьма замѣтное повышеніе интереса къ вопросамъ общественнымъ и вопросамъ политики. Росту этого интереса не мало способствовало и наше сближеніе съ Европой. Европейская политическая мысль съ одной стороны, знакомство съ государственными учрежденіями Европы и непосредственное столкновеніе съ европейской общественной жизнью—произвели огромное впечатлѣніе на наше интеллигентное общество. Многимъ тогда показалось, что рѣзкая перемѣна въ формѣ правленія могла бы очень благотворно отозваться на нашемъ общественномъ развитіи, и такъ какъ самъ царь такой пере-

мѣны, судя по его словамъ, не страшился, то въ нашемъ обществѣ скоро образовалось совершенно опредѣленное теченіе политической мысли, которое хотя и сосредоточивалось въ „тайныхъ“ обществахъ, но гласности не особенно боялось. Это развитіе политической мысли привело въ концѣ царствованія Александра Павловича къ образованію цѣлаго политическаго общества, которое имѣло въ виду перемѣну политическаго строя, и послѣ смерти государя выразилось въ извѣстномъ возмущеніи 14 декабря 1825 года.

Легко себѣ представить, какое движеніе вносила въ жизнь нашего интеллигентнаго общества эта политическая мысль, тѣмъ болѣе, что по своимъ оттѣнкамъ она была чрезвычайно разнообразна. Рядомъ съ вольнодумцами стараго Екатерининскаго вѣка, со служаками во вкусѣ Павла Петровича, съ консерваторами и ретроградами, отрицавшими всякія общественныя и политическія новшества, при благосклонной на первыхъ порахъ терпимости высшей власти, пробивали себѣ дорогу либералы безъ опредѣленной программы, либералы съ ясными конституціонными стремленіями и, наконецъ, люди, позволявшіе себѣ мечтать даже о республикѣ. Всѣ эти разношерстные взгляды сталкивались, спорили между собой, и если сама дѣйствительность отъ ихъ обращенія выигрывала мало, то для ума, для полета фантазіи, для выработки темперамента и характера, весь этотъ наплывъ мыслей былъ очень плодотворенъ. Не мудрено, что они нашли себѣ ранній отголосокъ и въ литературѣ.

11. Когда говоришь объ идейныхъ теченіяхъ того времени, нужно отмѣтить и чисто національную идею, которая тогда стала очень замѣтной. Въ силу народнаго самосознанія, въ силу историческихъ условій, которыя предоставили Россіи такую видную роль въ судьбахъ культурнаго міра, — мы были тогда увлечены мыслью имѣть собственную самобытную науку и самобытную литературу. Намъ хотѣлось,—что было вполнѣ естественно,—имѣть свою національную физіономію среди другихъ народовъ и мы хотѣли, чтобы всѣ эти наши національныя особенности отразились и въ нашей умственной дѣятельности и въ художественномъ творче-

ствѣ. Уже тогда сказывалось въ нѣкоторыхъ слояхъ общества желаніе провести между нами и Западомъ разграничительную черту, отстоять противъ западныхъ идей, западныхъ обычаевъ и образцовъ западной словесности нашу русскую жизнь въ ея духовномъ и реальномъ проявленіи. Это стремленіе легло въ основаніе столь нашумѣвшихъ впослѣдствіи споровъ между такъ называемыми „западниками“ и „славянофилами“. Для удовлетворенія такого національнаго чувства у насъ тогда было мало средствъ. Наука была еще въ зародышѣ, литература только что начинала развиваться. Тѣмъ не менѣе труды сторонниковъ этой національной идеи дали хорошіе результаты. Попытки создать „самобытный“ литературный языкъ при помощи внесенія въ него словъ и оборотовъ старой славянской рѣчи потерпѣли неудачу, но разработка народной старины вообще шла успѣшно. Издавались памятники стараго народнаго творчества, дѣлались археологическія розысканія, собирались историческіе документы. Карамзинымъ въ его „Исторіи Государства Россійскаго“ вся эта старина была сведена въ одно цѣлое, а поэты и романисты принялись за обработку народныхъ или мнимонародныхъ сюжетовъ нашего легендарнаго или историческаго прошлаго. Художники, а за ними и критики, стали задумываться надъ вопросомъ о водвореніи „народности“ въ литературѣ, разумѣя подъ этимъ неопредѣленнымъ словомъ все, что носило на себѣ хотя бы внѣшній только отпечатокъ родной старины или дѣйствительности.

12. И вотъ, при живомъ обмѣнѣ и движеніи всѣхъ этихъ мыслей—религіозно-нравственной, философской, политической, общественной и національной, при достаточно близкомъ, и идейномъ, и непосредственно житейскомъ общеніи нашемъ съ Западомъ пришлось работать нашимъ первымъ художникамъ слова. Ихъ положеніе, какъ видимъ, было выгодное, просторъ для ума былъ большой и поле для наблюденія широкое. Имъ недоставало только формъ, въ какія могли бы облечься плоды ихъ художественнаго созерцанія.

Прежде чѣмъ художники наши выработали самостоятельно такія формы, имъ пришлось пользоваться чужими формами, созданными на Западѣ. Подражаніе

иноземнымъ образцамъ, по крайней мѣрѣ подражаніе внѣшнее, на первыхъ порахъ было неизбѣжно, и черезъ эту полосу подражанія прошли всѣ, даже самые сильные наши художники, прежде чѣмъ форма ихъ прозведеній стала принадлежать имъ самимъ безъ раздѣла.

Выборъ такихъ готовыхъ внѣшнихъ формъ и стилей былъ тогда достаточно богатъ. Въ большомъ ходу были въ тѣ годы на Западѣ два литературныхъ стиля: 1) „классическій", античный, либо непосредственно заимствованный у древнихъ писателей, либо подновленный французами, и 2) стиль „сентиментальный", болѣе простой, болѣе современный, распространенный во всей Европѣ очень широко, приблизительно со средины XVIII вѣка. Между этими двумя стилями была большая разница въ техникѣ и въ настроеніи. Классическій стиль предпочиталъ аллегоріями и символами выражать свои настроенія и мысли, пользовался богатыми внѣшними формами античной словесности, формою эпической поэмы, высокой трагедіи, посланія, сатиры, вакхической пѣсни, любовной элегіи, эпиграммы и оды. Стиль „сентиментальный" предпочиталъ разсказъ, повѣсть, романъ въ формѣ писемъ, дневникъ, задушевную исповѣдь въ стихахъ, т. е. всѣ тѣ формы, которыя облегчали художнику возможность большаго углубленія въ свою душу и большей интимности съ читателемъ. „Классическій" стиль любилъ возвышенные, патетическіе, веселые, игривые мотивы. Стиль „сентиментальный" предпочиталъ мотивы нѣжные, меланхолическіе, печальные, религіозные и мечтательные.

Оба эти стиля, въ которыхъ отражались цѣлыхъ два міросозерцанія, господствовавшія тогда на Западѣ, были нами усвоены, конечно, прежде всего, чисто внѣшнимъ образомъ, какъ внѣшнія формы для выраженія нашихъ чувствъ и мыслей. „Классическій" стиль, разрабатываемый у насъ еще съ половины XVIII вѣка, съ Ломоносова и Сумарокова, и художественно подновленный въ первыя десятилѣтія XIX столѣтія, въ поэзіи Батюшкова и молодого Пушкина продержался не долго. „Сентиментальный", проникшій въ нашу литературу при Карамзинѣ, держался дольше, потому что, какъ уви-

димъ, онъ соотвѣтствовалъ вполнѣ кругу понятій и настроеній, широко распространенныхъ въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ.

Кромѣ этихъ двухъ самыхъ ходкихъ литературныхъ стилей въ тѣ годы къ намъ проникалъ съ Запада и еще одинъ новый стиль, тогда на Западѣ только что расцвѣтавшій, — стиль, какъ его называютъ, „романтическій". Это былъ очень красивый стиль, по богатству оттѣнковъ вполнѣ соотвѣтствующій тому настроенію и умственному теченію, которые извѣстны въ исторіи XIX вѣка подъ неопредѣленнымъ названіемъ „романтизма". О немъ будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ, когда Пушкинъ и его друзья начнутъ ломать за него копья и проводить его въ нашей литературѣ. Пока замѣтимъ, что сравнительно съ классическимъ и сентиментальнымъ, этотъ романтическій стиль отличался необычайной тревогой въ своемъ темпѣ, мрачностью образовъ, драматичностью положеній и большой повышенностью чувствъ.

13. Итакъ, нашимъ писателямъ, которымъ надлежало создать художественную русскую литературу, пришлось жить въ эпоху, богатую умственнымъ движеніемъ, эпоху, знаменательную по историческому своему смыслу и уже обладавшую разработанными и красивыми литературными стилями. Положимъ, все это богатство принадлежало Западу, а не намъ, но мы на немъ могли съ успѣхомъ воспитаться, что́ мы и сдѣлали въ короткій срокъ.

Переходя къ разсказу о томъ, какъ зародилась и окрѣпла наша самобытная художественная словесность, напомнимъ еще разъ, что на первыхъ порахъ отношеніе нашего художника къ жизни было преимущественно субъективное, т. е., что онъ интересовался не столько самой окружавшей его жизнью, сколько тѣмъ поэтическимъ впечатлѣніемъ, какое она производила на его умъ и на его сердце.

II. Жуковскій.

---

1. Молодое поколѣніе писателей и поэтовъ, которые въ началѣ XIX вѣка положили основаніе нашей художественной словесности, признавало единогласно Жуковскаго своимъ наставникомъ. Когда заходила рѣчь о томъ, кому мы обязаны наиболѣе мелодичными стихами, кто далъ намъ первый почувствовать поэзію жизни человѣка и природы, кто умѣлъ всего сильнѣе тронуть наше сердце, возбудить нашу фантазію возвышенными мыслями о Богѣ, о нравственномъ призваніи человѣка на землѣ, о подвигахъ человѣчества и его страданіяхъ,— наши дѣды всегда вспоминали Жуковскаго. Его имя было не только окружено ореоломъ славы поэта: Жуковскаго любили и уважали какъ наставника, какъ истинно просвѣщеннаго и добродѣтельнаго человѣка; и эта любовь осталась за нимъ на долго. Говорятъ, что современники не умѣютъ цѣнить выдающихся людей, съ которыми они запросто сталкиваются. Къ Жуковскому современники были однако справедливы; они вполнѣ поняли и оцѣнили его, потому что его думы и его настроеніе, весь складъ его души и его міросозерцаніе, какъ нельзя лучше отражали въ очень полной и очень красивой формѣ тѣ мысли и чувства, какими жило большинство образованныхъ людей его времени. Рѣдко когда между поэтомъ и обществомъ было установлено такое согласіе, сердечное и умствен-

ное, какое объединяло Жуковскаго и его современниковъ.

Признавая всѣ заслуги Жуковскаго передъ нашей словесностью, надо однако помнить, что и онъ имѣлъ своихъ учителей и предшественниковъ, которымъ былъ не мало обязанъ. Державинъ въ своихъ одахъ достигалъ высоты истинно патетическаго и героическаго, и еще не вполнѣ художественный его языкъ былъ уже приноровленъ къ выраженію настоящаго поэтическаго восторга—религіознаго и патріотическаго. Вмѣстѣ съ этимъ порядкомъ чувствъ, оттѣняющихъ въ жизни ея величественную, иногда трагическую сторону,—нашли себѣ поэтическое воплощеніе и чувства иного порядка, чувства болѣе мягкія, нѣжныя, не менѣе серьезныя, но болѣе обыденныя. Ихъ проводилъ въ своихъ повѣстяхъ, стихотвореніяхъ, въ прозаическихъ разсужденіяхъ, и въ своихъ извѣстныхъ „Письмахъ русскаго путешественника"—Николай Михайловичъ Карамзинъ. Его стилистическому таланту обязаны мы красотой и гибкостью нашей прозаической рѣчи; а его благочестивому настроенію, теплому сердцу и уму, мало анализирующему и легко примиряющемуся съ самыми трудными вопросами жизни,—тѣми вполнѣ литературно написанными разсказами, въ которыхъ такъ отчетливо выразилось столь распространенное въ то время „сентиментальное" настроеніе и міросозерцаніе. Карамзинъ былъ непосредственный предшественникъ и учитель Жуковскаго. Жуковскій на всю свою долгую жизнь сохранилъ къ нему неизмѣнное чувство самаго благоговѣйнаго уваженія, признавая открыто, какое идейное и вообще воспитательное значеніе имѣлъ для него этотъ талантливый писатель. Дѣйствительно, Жуковскій въ своемъ міропониманіи, въ своемъ отношеніи ко всѣмъ задачамъ жизни не выходилъ изъ того круга понятій, а отчасти и того круга литературныхъ вкусовъ, какого держался Карамзинъ. Итакъ, какое же мѣсто должны мы отвести Жуковскому въ исторіи нашей поэзіи?

2. Значеніе его не должно преувеличивать теперь, когда мы можемъ взглянуть на него издали, и когда вся его дѣятельность представляется намъ уже въ исторической перспективѣ. Жуковскій не принадлежалъ къ

числу тѣхъ поэтовъ, въ которыхъ всѣ думы и настроенія его вѣка находятъ себѣ откликъ. Время, когда онъ жилъ, было значительно богаче идейнымъ содержаніемъ, чѣмъ его поэзія, и она отразила только одинъ порядокъ мысли и одно настроеніе, правда, широко распространенное въ тогдашнемъ обществѣ. Поэзіи Жуковскаго недоставало очень существеннаго, чтобы вполнѣ стать голосомъ своего времени. Въ ней совсѣмъ не было критическаго и аналитическаго элемента. А это критическое отношеніе писателя къ жизни, отношеніе, при которомъ онъ расчленяетъ жизнь и судитъ ее въ ея деталяхъ, было уже достаточно сильно распространено въ литературѣ къ тому времени, когда Жуковскій выступилъ со своими стихами. Романъ, повѣсть, комедіи, журнальныя статьи, басни—однимъ словомъ, всевозможные виды сатиры пріучили насъ относиться къ нашей повседневной жизни съ посильной критикой. Жуковскій не умѣлъ и не хотѣлъ быть судьей отдѣльныхъ житейскихъ явленій, изъ которыхъ слагается общественная или политическая жизнь человѣка въ данный историческій моментъ. Онъ любилъ созерцать жизнь въ ея цѣломъ на протяженіи многихъ, многихъ вѣковъ и отыскивать въ ней оправданія и доказательства того религіозно-нравственнаго міросозерцанія, которое онъ самъ себѣ выработалъ въ тихомъ уголкѣ своей скромной личной жизни. Но если Жуковскій, какъ поэтъ, и не смогъ откликнуться на всю полноту жизни своего времени, тѣмъ не менѣе его поэзія все-таки составляетъ цѣлую эпоху въ исторіи нашей словесности. И вотъ въ чемъ заключается его заслуга какъ писателя. Изъ всѣхъ предшествовавшихъ ему писателей онъ былъ первый *настоящій поэтъ.*

Какъ настоящій художникъ воспринималъ Жуковскій явленія внѣшней и внутренней жизни человѣка и выражалъ ихъ какъ художникъ, не примѣшивая къ нимъ постороннихъ, искусству чуждыхъ соображеній. Онъ имѣлъ тонкій эстетическій вкусъ, и этотъ вкусъ уберегалъ его отъ фальши: реторика, которой такъ много у Державина, у него почти отсутствовала; неестественная слащавость, столь обычная у Карамзина, у него также попадалась рѣдко. Онъ, какъ человѣкъ

со вкусомъ, умѣлъ естественное и живое отличать отъ натяжки и преднамѣренно созданнаго. Это его первое преимущество, какъ поэта: онъ былъ настоящій художникъ.

Затѣмъ, особая цѣнность его поэзіи заключалась въ томъ, что она сознавала свою собственную силу именно какъ поэзія, т. е. Жуковскій смотрѣлъ на художественную дѣятельность, какъ на особое „святое“ дѣло, направленное ко благу человѣчества, дѣло совершенно самостоятельное и отличное отъ другихъ дѣлъ человѣка. Поэзія сама по себѣ была для него святыней, которая облагораживаетъ всѣхъ, на кого ея лучи падаютъ. Не между дѣломъ и при случаѣ долженъ человѣкъ отдавать себя ей и ея служенію; онъ долженъ посвятить себя ей всецѣло, и, кромѣ нея, не знать иного Бога. Жуковскій былъ первый, который стремился вселить намъ такое возвышенное понятіе объ искусствѣ; до него въ XVIII вѣкѣ оно, по мнѣнію многихъ, даже очень талантливыхъ художниковъ, было лишь „украшеніемъ“ жизни, благородной забавой или непосредственнымъ нравоученіемъ. Жуковскій всей своей жизнью показалъ, какъ должно безкорыстно любить искусство, и онъ неустанно въ своихъ стихахъ твердилъ объ его святости и самостоятельности среди другихъ проявленій человѣческаго духа. Въ этомъ заключалась его вторая заслуга передъ поэзіей—заслуга тѣмъ болѣе цѣнная, что эти мысли приходилось тогда высказывать въ первый разъ среди общества, мало подготовленнаго къ ихъ усвоенію.

Особую цѣну придавала поэзіи Жуковскаго также и ея безусловная искренность. Нельзя, конечно, сказать, что у его предшественниковъ это качество совершенно отсутствовало, но тотъ фактъ, что Жуковскій понималъ поэзію, какъ „святое служеніе“, исключалъ возможность всякой умышленной натяжки въ чувствахъ, которыя онъ изливалъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Его предшественники, цѣнившіе поэзію, какъ придатокъ къ жизни, какъ украшеніе ея, или косвенное наставленіе, могли, исполняя „долгъ пѣвца“, заставить себя иной разъ говорить не отъ вдохновеннаго сердца—что́ они нерѣдко и дѣлали. Жуковскій писалъ всегда подъ властью глубокаго и захватившаго его чувства.

Еще одинъ даръ дала природа Жуковскому, даръ, которымъ до него не обладалъ ни одинъ изъ нашихъ писателей. Это былъ необычайно тонкій поэтическій слухъ, который обусловливалъ мелодичность его стихотворной рѣчи. Въ техникѣ русскаго стиха рѣчь Жуковскаго произвела цѣлый переворотъ. Никогда еще этотъ стихъ не былъ такъ звонокъ, такъ музыкаленъ, такъ гибокъ. Обиліе размѣровъ, богатство рифмъ, мелодичность звуковъ его рѣчи поражали всѣхъ современниковъ и для подрастающихъ художниковъ стали мѣриломъ истинно поэтической рѣчи. На музыкѣ стиховъ Жуковскаго воспитались Пушкинъ и всѣ его товарищи по вдохновенію.

Такова была сила таланта Жуковскаго. Но помимо своей собственной поэтической цѣнности, она имѣла еще большую стоимость, какъ сила образовательная. Жуковскій былъ опять-таки первый писатель, который открылъ намъ широкій доступъ ко всѣмъ богатствамъ иностранной словесности. Никто изъ нашихъ писателей, не исключая и тѣхъ, которые пошли за Жуковскимъ, не пользовался такъ широко всемірными литературными мотивами, какъ онъ. Онъ переводилъ, пересказывалъ и передѣлывалъ художественные памятники словесности всѣхъ странъ и народовъ, и сочиненія его, помимо многаго, лично ему принадлежащаго, были настоящей хрестоматіей лучшихъ образцовъ изъ произведеній лучшихъ поэтовъ. Если онъ изъ этихъ поэтовъ выбиралъ только тѣ стихотворенія, которыя соотвѣтствовали его личному настроенію и совпадали по смыслу съ его образомъ мыслей, то все-таки это были стихотворенія лучшія, и читатель находилъ въ нихъ богатую пищу для ума и удобно могъ развивать на нихъ свое собственное эстетическое чувство. Поэзія Жуковскаго была, такимъ образомъ, настоящей образовательной силой, цѣлымъ курсомъ изящной словесности.

Итакъ, если поэзія Жуковскаго и не отражала, какъ мы уже замѣтили, всѣхъ теченій мысли и всѣхъ чувствъ, какими жило его время, то все-таки она была, во-первыхъ, поэзіей художественной, искренней пѣснью поэта, убѣжденнаго въ святости своего дѣла, и человѣка съ очень широкимъ литературнымъ образованіемъ.

Наконецъ, эта изящная поэзія была самымъ полнымъ выраженіемъ очень распространеннаго тогда міровоззрѣнія, извѣстнаго въ исторіи и въ литературѣ подъ названіемъ „сентиментальнаго“. Въ чемъ же сущность этого міровоззрѣнія?

3. Сентиментальное настроеніе и міропониманіе, широко распространенное на Западѣ въ концѣ XVIII вѣка и процвѣтавшее у насъ въ началѣ XIX вѣка, отражаетъ одно очень опредѣленное и ясное отношеніе человѣка къ самымъ существеннымъ вопросамъ жизни. Оно не есть отношеніе критическое, при которомъ человѣкъ анализируетъ явленія жизни и судитъ ихъ безпристрастно, сохраняя къ нимъ отношеніе вполнѣ независимое. Сентиментальный человѣкъ руководствуется въ оцѣнкѣ жизни не умомъ, а чувствомъ. У него есть заранѣе составленный отвѣтъ на самые существенные вопросы бытія, и онъ въ жизни обращаетъ вниманіе только на то, что съ этими отвѣтами согласуется, а то, что не согласуется, онъ либо игнорируетъ, либо истолковываетъ въ свою пользу. Онъ не поправляетъ своихъ взглядовъ фактами жизни; онъ, наоборотъ, стремится всѣ явленія жизни перетолковать по-своему, въ угоду своимъ чувствамъ. Чувства эти, въ свою очередь, грѣшатъ односторонностью и монотонностью. Всѣ они — нѣжныя, мирныя, теплыя чувства, въ которыхъ рѣзкія, страстныя движенія почти не встрѣчаются; преобладаетъ настроеніе томное, мечтательное, очень слабо реагирующее на волю человѣка, но зато весьма благотворно дѣйствующее на его способность тѣшиться игрой собственнаго воображенія. Такое настроеніе мало привязываетъ человѣка къ жизни реальной, заставляетъ его болѣзненно относиться къ житейской сутолокѣ, къ шуму повседневныхъ событій и развиваетъ въ немъ склонность къ созерцательному, примиряющему обобщенію явленій жизни. Въ конечныхъ своихъ выводахъ сентиментальное міросозерцаніе оптимистично; если сентименталистъ бываетъ преимущественно меланхолически и грустно настроенъ, то не потому, что онъ жизнь считаетъ печальнымъ даромъ или думаетъ, что на землѣ зло и страданіе одерживаютъ всегда верхъ надъ добромъ и радостями. Онъ печа-

ленъ потому, что то добро и счастье, которое онъ считаетъ вполнѣ осуществимымъ на землѣ, вполнѣ доступнымъ для человѣка, по винѣ самого человѣка такъ часто отсутствуютъ въ жизни. Онъ потому живетъ въ мірѣ мечтаній и потому такъ часто думаетъ о небѣ и о загробной блаженной жизни, что чувствуетъ себя слишкомъ рано родившимся и слабымъ для того, чтобы дѣятельно торопить наступленіе на землѣ лучшаго и болѣе счастливаго времени. Но онъ при всей своей грусти и томленіи по загробному бытію считаетъ нравственное усовершенствованіе человѣка первымъ дѣломъ и первой обязанностью здѣсь, на землѣ и всегда, гдѣ можетъ, отзывается на всякое доброе начинаніе. Кругъ его убѣжденій не особенно широкъ, но убѣжденія его тверды и сводятся они къ нѣкоторымъ очень простымъ основнымъ мыслямъ. Первое убѣжденіе—вѣра въ добраго, милосерднаго, пекущагося о людяхъ Бога, личнаго или безличнаго, Бога, который испытуетъ людей ради ихъ собственнаго блага, который, въ концѣ концовъ, не дастъ злу восторжествовать и всегда наградитъ добродѣтель, на землѣ ли или въ небесномъ царствіи. Второе убѣжденіе — увѣренность въ томъ, что наша земная жизнь, государственная, общественная и даже личная, находятся подъ постояннымъ контролемъ божественной силы, которая направляетъ ее къ лучшему, руководитъ ею для блага всѣхъ живущихъ. Божественный Промыслъ знаетъ, что́ онъ творитъ, и человѣкъ долженъ быть очень остороженъ въ своемъ гнѣвѣ. Когда онъ видитъ явное нарушеніе справедливости, несложное, бросающееся въ глаза, то онъ, конечно, въ правѣ вознегодовать и вмѣшаться, но, напр., въ сложныхъ вопросахъ политическихъ и соціальныхъ, въ которыхъ трудно разобраться, человѣкъ долженъ быть очень осмотрителенъ и не подаваться искушенію протеста. Жизнь массовая движется по предустановленнымъ законамъ, и всякое рѣзкое вмѣшательство въ нихъ отдѣльнаго человѣка можетъ оказаться посягательствомъ на Божіе Предопредѣленіе. Лучше будетъ, если человѣкъ займется нравственнымъ самовоспитаніемъ. Это его первое и главное дѣло. Создавъ свою собственную нравственную личность и рас-

ширивъ ея благотворное вліяніе на самыхъ близкихъ людей — на свою семью и друзей — человѣкъ можетъ успокоиться въ сознаніи совершеннаго имъ нравственнаго долга. Что касается конечнаго итога его скромной работы, то пусть его не тревожатъ сомнѣнія. Побѣда и награда суждены въ мірѣ добру, и всякій человѣкъ, даже самый преступный, даже самый злой, способенъ на нравственное совершенствованіе. Сентименталистъ вѣритъ въ основы добра, заложенныя въ душу каждаго человѣка, и, поэтому, быть можетъ, его борьба со зломъ не принимаетъ никогда формы рѣзкаго, рѣшительнаго или злобнаго протеста.

4. Таковы основоположенія сентиментальнаго міропониманія и настроенія. Въ такомъ чистомъ своемъ видѣ оно встрѣчается рѣдко, и нужны особыя общественныя условія, чтобы такое благодушное, инертное, смирное настроеніе охватило цѣлые круги общества и держалось въ нихъ долго. Обыкновенно оно долго и не держится—и критическій разумъ, и волевое отношеніе человѣка къ жизни быстро идутъ на смѣну этому покорному и спокойному взгляду на жизнь. На Западѣ сентиментализмъ достигъ своего полнаго расцвѣта къ концу XVIII вѣка. Онъ непосредственно слѣдовалъ за торжествомъ критическаго разсудочнаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ жизни, которое извѣстно въ исторіи подъ именемъ эпохи раціонализма, и предшествовалъ тому періоду волевого энергическаго разрушенія всѣхъ устоевъ старой жизни, которое закончилось французской революціей. Въ разныхъ культурныхъ странахъ этотъ сентиментализмъ принималъ и разные оттѣнки. Наиболѣе спокоенъ и благодушенъ былъ онъ въ Германіи и въ Англіи — опять-таки, въ силу общественныхъ условій, въ которыхъ жили эти страны, а также и въ силу особенностей національнаго темперамента. Во Франціи онъ сразу, въ ученіи Руссо, отказался отъ своей пассивной общественной программы и примѣшалъ къ своему настроенію большую дозу страстности, которая и превратила сентименталиста въ революціонера.

У насъ, въ Россіи сентиментальное міровоззрѣніе и настроеніе расцвѣли также въ концѣ XVIII вѣка, но

продержались дольше, чѣмъ на Западѣ,—до тридцатыхъ годовъ XIX столѣтія. Характеръ русскаго сентиментализма былъ въ общемъ необычайно спокойный и мирный; пожалуй, болѣе благодушный, чѣмъ гдѣ-либо.

Проводниками и выразителями нашего сентиментализма въ его чистомъ видѣ были Карамзинъ и Жуковскій. Карамзинъ изложилъ это міросерцаніе въ своихъ повѣстяхъ, и въ „Письмахъ русскаго путешественника". Жуковскій первый облекъ его въ художественную форму. Онъ остался ему вѣренъ во всю свою долгую жизнь, и даже тогда, когда оно совсѣмъ исчезло изъ русскаго общества, Жуковскій продолжалъ напоминать о немъ, хотя и не находилъ уже прежнихъ внимательныхъ и восторженныхъ поклонниковъ.

5. Сама личная жизнь Жуковскаго предрасполагала его къ усвоенію этого сентиментальнаго міросозерцанія и къ неизмѣнному согласію съ нимъ.

Василій Андреевичъ родился въ 1783 году, въ семействѣ Аѳанасія Ивановича Бунина. Мать его была турчанка. Крестнымъ его отцемъ былъ нѣкій дворянинъ Андрей Жуковскій, который и передалъ ему свою фамилію. Семейство, въ которомъ воспитывался ребенокъ, любило его, какъ родного сына. и обставило его дѣтство условіями, весьма благопріятными для его умственнаго и нравственнаго развитія. Семья была патріархально-дворянская, въ которой религіозныя и нравственныя основы жизни поддерживались убѣжденно и настойчиво. Въ семьѣ, кромѣ того, были очень сильно развиты интересы умственные и литературные, и ребенокъ съ дѣтскихъ лѣтъ имѣлъ возможность удовлетворять и развивать врожденную ему склонность къ сознательному и поэтическому воспріятію впечатлѣній жизни. Начальное образованіе Жуковскій получилъ дома, а затѣмъ въ городѣ Тулѣ, въ одномъ частномъ пансіонѣ. На образъ его мыслей и на укрѣпленіе въ немъ врожденнаго поэтическаго настроенія большое вліяніе оказалъ московскій университетскій благородный пансіонъ, куда онъ поступилъ въ 1797 году. Это было въ тѣ годы, пожалуй, самое лучшее изъ нашихъ учебныхъ заведеній, какъ по составу преподавателей, такъ и по об-

щему своему педагогическому направленію. Наука была въ этомъ пансіонѣ въ большомъ уваженіи и притомъ наука самая разносторонняя—до архитектуры и фортификаціи включительно. Рядомъ съ научнымъ образованіемъ большое вниманіе было обращено на образованіе художественное, и музыка и живопись преподавались вмѣстѣ съ древностями и математикой. Въ особой чести была словесность, процвѣтаніе которой въ пансіонѣ было довѣрено самимъ воспитанникамъ. Они имѣли свое литературное „собраніе", предсѣдателемъ котораго одно время былъ Жуковскій. Акты этого заведенія были настоящими литературными праздниками, и всѣ литературныя знаменитости того времени оказывали воспитанникамъ особое вниманіе и покровительство. Большое значеніе для умственнаго и нравственнаго развитія учащейся молодежи имѣлъ и общій духъ, въ какомъ велось въ этомъ заведеніи и воспитаніе, и обученіе. Это былъ религіозно-нравственный духъ нѣмецкихъ гуманистовъ „піэтистовъ" средины и конца XVIII вѣка, которые съ особымъ благоговѣніемъ относились ко всѣмъ возвышеннымъ сторонамъ человѣческой жизни. Критики и анализа въ ихъ міропониманіи было мало, но зато религія, свободная и основанная на свободномъ и глубокомъ чувствѣ, нравственность, самая альтруистическая, любовь и уваженіе къ просвѣщенію, преклоненіе предъ искусствомъ и широкое признаніе достоинства человѣка—были основными положеніями ихъ ученія. На сентиментальную натуру Жуковскаго это ученіе оказало самое благотворное вліяніе. Оно помогло ему осмыслить еще неукрѣпившіяся мысли и неустановившееся настроеніе, которые затѣмъ, по выходѣ Жуковскаго изъ пансіона, сложились быстро въ цѣлое міросозерцаніе.

Василій Андреевичъ очень рано созналъ свое собственное призваніе и, окончивъ ученіе, записался въ литераторы. Два года, съ 1808 до 1810, былъ онъ редакторомъ очень извѣстнаго тогда журнала — „Вѣстникъ Европы". Мирное теченіе его литераторской жизни было, однако, скоро нарушено. Ему пришлось пережить семейную драму, которая оставила неизгладимый слѣдъ на всей его послѣдующей жизни и на его твор-

чествѣ. Это была его любовь къ его племянницѣ Маріи Андреевнѣ Протасовой,—любовь, которая сулила и ему, и ей большое счастье, если бы мать дѣвушки (сестра Жуковскаго по отцу) не воспротивилась этому браку, подъ предлогомъ родства жениха и невѣсты (которое на самомъ дѣлѣ было родство очень отдаленное). Молодымъ людямъ пришлось склониться передъ волею старшихъ, но съ этимъ рѣшеніемъ Жуковскій всю жизнь не могъ помириться, хотя и сохранялъ наружное, видимое спокойствіе, когда племянница его вышла замужъ, кажется, уступая болѣе волѣ матери, чѣмъ собственной склонности. Эта печальная исторія завершилась ранней смертью Маріи Андреевны, и неудовлетворенная любовь, трагедія людьми разлученныхъ любящихъ сердецъ и ранняя могила—стали излюбленными поэтическими мотивами въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. По сентиментальной своей природѣ, и безъ того склонный къ меланхоліи, Жуковскій имѣлъ теперь реальное оправданіе своей грусти, и нѣтъ сомнѣнія, что этотъ эпизодъ, омрачившій его юность, наложилъ свою печать на все сентиментальное міросозерцаніе Жуковскаго, придавъ ему особенно мечтательный и меланхолическій характеръ.

Въ годъ Отечественной войны мы находимъ Жуковскаго въ рядахъ ополченцевъ; онъ участвуетъ въ Бородинскомъ сраженіи, и въ лагерѣ подъ Тарутиномъ пишетъ свой патріотическій гимнъ—„Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, про который современники говорили, что за него должно дать автору Георгія 1-ой степени. Патріотическое воодушевленіе, охватившее тогда все наше общество, а также и сердечная тоска заставили Жуковскаго искать славы воина. Но военнаго духа было въ немъ менѣе, чѣмъ въ комъ-либо, и онъ тотчасъ же послѣ войны вернулся къ мирнымъ занятіямъ. Жилъ онъ поперемѣнно то въ столицахъ, то въ деревнѣ, то въ городѣ Дерптѣ, куда переселились его родственники, жилъ тихой жизнью литератора и художника. Въ эти годы падаетъ окончательная выработка его сентиментальнаго міросозерцанія, которое онъ развиваетъ подробно въ своей перепискѣ и облекаетъ въ художественную форму въ своихъ стихотво-

реніяхъ. Онъ пишетъ много и бодро принимаетъ участіе въ литературномъ движеніи молодыхъ силъ, вступающихъ въ защиту новизны и „народности“ противъ старыхъ литературныхъ формъ и подражанія. Успѣхъ его у читателей растетъ очень быстро; талантъ его зрѣетъ съ каждымъ годомъ.

Къ этому времени относится и первое сближеніе Жуковскаго съ Императорскимъ Домомъ — сближеніе, которое имѣло такое рѣшающее вліяніе на всю его дальнѣйшую жизнь. Его патріотическія стихотворенія: „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, „Посланіе къ Императору Александру I“ и „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ обратили на него вниманіе Двора. Онъ былъ представленъ императрицѣ, ему дали пожизненную пенсію, а въ 1817 году онъ былъ назначенъ учителемъ русскаго языка при великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Наконецъ, въ 1827 году императоръ Николай Павловичъ поручилъ ему воспитаніе наслѣдника, будущаго императора Александра II. Эта близость ко Двору оградила Жуковскаго отъ всякихъ внѣшнихъ тревогъ жизни, дала ему возможность спокойнаго наблюденія надъ нею, но налагала на все, что онъ писалъ и говорилъ, извѣстныя обязательства. И безъ того спокойный и ровный ходъ его мыслей сталъ еще спокойнѣе и осторожнѣе, и педагогическое, дидактическое направленіе его поэзіи—еще замѣтнѣе. Жуковскій понялъ свою роль воспитателя при Наслѣдникѣ въ самомъ возвышенномъ и отвѣтственномъ смыслѣ: онъ все свое вниманіе и время отдалъ этому дѣлу, и любимыя литературныя занятія стали заполнять лишь часы его досуга. Много лѣтъ прожилъ Жуковскій при Дворѣ, и только съ совершеннолѣтіемъ Наслѣдника могъ считать свой трудъ законченнымъ. Этотъ періодъ его жизни былъ богатъ впечатлѣніями. Жуковскій неоднократно ѣздилъ за границу, сначала одинъ, а въ 1838 г. и съ Наслѣдникомъ. Съ нимъ же объѣздилъ онъ и Сибирь, и Россію въ 1837 году. Дворцовая жизнь не измѣнила его характера и той сердечной простоты, которая всегда его отличала, и много добра смогъ онъ сдѣлать нашей литературѣ въ лицѣ многихъ ея представителей, за которыхъ заступался передъ царемъ, либо обращая его вни-

маніе на лицъ талантливыхъ, либо защищая ихъ отъ слишкомъ придирчивой цензуры, либо, какъ это было съ декабристами, стремясь добиться улучшенія ихъ участи. Жуковскій былъ посредникомъ между русской словесностью и правительственной властью, которая въ тѣ годы крайне подозрительно относилась къ печатному слову.

Годы текли; Жуковскій былъ уже старикъ, когда и ему улыбнулось, наконецъ, семейное счастье. Въ 1841 г. онъ женился на дочери своего стараго пріятеля, нѣмца Рейтерна. Хоть ему самому было тогда лѣтъ подъ шестьдесятъ, и жена его годилась ему въ дочери, тѣмъ не менѣе этотъ неровный бракъ былъ счастливымъ, хотя и недолгимъ. Жуковскаго и его молодую жену соединяла не только любовь, но и общность ихъ сентиментальнаго и религіознаго настроенія. Это настроеніе въ душѣ Жуковскаго съ годами крѣпло, въ семьѣ Рейтерна оно нашло себѣ живую поддержку, и послѣдніе годы его жизни протекли въ мирномъ религіозномъ размышленіи и тихой литературной работѣ. Живя въ Германіи, куда онъ переселился, старикъ вновь почувствовалъ приливъ вдохновенія, и въ послѣднія 10 лѣтъ своей жизни съ бодрымъ духомъ отдался литературной работѣ, и она была очень плодотворна. Скончался Жуковскій въ апрѣлѣ 1852 года; жена его скоро за нимъ послѣдовала.

6. Такова была жизнь поэта. Огражденная отъ всякихъ бурь внѣшнихъ и богатая внутреннимъ содержаніемъ, эта жизнь не располагала къ напряженію воли или къ борьбѣ, она была полна раздумья и мечтанія. Вся поэтическая дѣятельность Жуковскаго была отраженіемъ этихъ думъ и этихъ мечтаній, и во всемъ, что онъ создалъ, много теплоты, искренности, живости воображенія, порой глубокой мысли, въ особенности много добрыхъ чувствъ, но почти совсѣмъ нѣтъ энергіи, порыва и смѣлаго критическаго отношенія къ жизни.

Литературное наслѣдство Жуковскаго значительно и очень разнообразно по внѣшней формѣ, хотя и однообразно по содержанію.

Прежде чѣмъ давать обзоръ его произведеній, нужно однако коснуться одного основного вопроса, отъ рѣше-

нія котораго многое зависитъ въ оцѣнкѣ Жуковскаго какъ поэта. Онъ былъ преимущественно переводчикъ. Правда, у него не мало оригинальныхъ пѣсенъ, но настроеніе и смыслъ этихъ пѣсенъ повторены, и гораздо глубже, и ярче въ его переводахъ. Кто же онъ—искусный переводчикъ или оригинальный поэтъ? Самъ Жуковскій, самомнѣніемъ никогда не отличавшійся, не хотѣлъ признать себя только переводчикомъ, и всѣ переводные свои стихи считалъ „своими", и онъ былъ правъ. Онъ, во-первыхъ, никогда не переводилъ ради перевода, а переводилъ лишь тѣ произведенія, которыя по духу своему были ему родственны. Онъ переживалъ каждое стихотвореніе чужого автора, вынашивалъ его въ своемъ умѣ и сердцѣ, и только тогда, когда оно вполнѣ выражало его собственную мысль и его настроеніе, онъ переводилъ его, или по-своему излагалъ его, приноровляя иногда къ русской жизни. Нерѣдко дѣлалъ онъ также въ чужихъ стихотвореніяхъ вставки отъ себя, примѣнительно къ собственному настроенію или фактамъ своей жизни. Онъ пользовался, такимъ образомъ, иностранными образцами для колоритнаго и яркаго выраженія того міросозерцанія, которое было плодомъ его собственнаго долгаго раздумья и поэтическаго проникновенія въ жизнь. Оставаясь вполнѣ свободнымъ въ выборѣ темъ для переводовъ, онъ всегда влагалъ нѣчто ему самому принадлежащее въ каждаго автора, съ которымъ онъ знакомилъ нашу публику.

7. Въ исторіи развитія творчества нашего поэта нельзя установить какихъ-нибудь рѣзко другъ отъ друга отличныхъ періодовъ, такъ какъ никакихъ переломовъ Жуковскій, какъ мыслитель и поэтъ, не переживалъ. Онъ въ старости былъ тотъ же молодой Жуковскій. Если ужъ группировать его стихи, то ихъ надобно дѣлить по отдѣльнымъ мыслямъ: религіознымъ, нравственнымъ, патріотическимъ, или эстетическимъ, какія входятъ въ его цѣлое „сентиментальное" міропониманіе. И тогда стихи ранняго періода окажутся тѣсно слитыми со стихотвореніями, написанными въ послѣдніе годы его жизни. Прежде чѣмъ излагать собственными словами поэта и его образами это цѣльное сентиментальное міровоззрѣніе, дадимъ краткій очеркъ развитія творчества нашего поэта.

Если не считать самыхъ раннихъ стихотворныхъ опытовъ, мало характерныхъ, то литературная дѣятельность Жуковскаго началась въ 1802 году, когда онъ перевелъ извѣстную элегію Грея „Сельское кладбище“— тихое, мирное стихотвореніе, въ которомъ уже вполнѣ выразилось основное „сентиментальное“ настроеніе нашего автора. Религіозное преклоненіе передъ тайнами жизни, отказъ отъ сильныхъ страстей, мысль о близости кончины и о тщетѣ всего земного, кротость сердца, смиренное исполненіе нравственнаго долга, мечтательная любовь—вотъ тотъ кругъ настроеній и чувствъ, въ какихъ утопалъ тогда молодой мечтатель. Онъ очень любилъ такое кроткое, отъ всякихъ требованій отрѣшенное настроеніе, и всю жизнь выискивалъ его преимущественно у англичанъ и у нѣмцевъ. Въ нѣмецкой и англійской поэзіи конца XVIII вѣка и начала XIX в. такихъ мотивовъ было очень много, и еще въ стихотвореніяхъ Гебеля, Маттисона, Томсона они достигали достаточной степени художественной разработки. Но Грей, кажется, больше всего пришелся по душѣ Жуковскому, судя по тому, что онъ подъ самый конецъ своей жизни вновь къ нему вернулся и перевелъ во второй разъ то же самое „Сельское Кладбище“, съ котораго началась его литературная работа. Скоро, однако, къ этому совсѣмъ мирному и кроткому тону въ поэзіи Жуковскаго прибавился новый болѣе тревожный и по краскамъ болѣе яркій. Подъ впечатлѣніемъ патріотическаго подъема чувствъ въ 1812 году муза Жуковскаго стала воинственна и въ достаточной степени горда. Такія стихотворенія, какъ „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“ (1812), „Императору Александру“ (1814), „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ (1814). „На рожденіе В. К. Александра Николаевича“ (1818) —образцы патріотическихъ одъ и гимновъ, красивыхъ, звучныхъ, полныхъ восторженнаго подъема. Жуковскій сохранилъ къ нимъ склонность на всю свою жизнь, хотя не злоупотреблялъ этимъ родомъ творчества. Въ общемъ, очень мирно и элегически настроенный, онъ въ этихъ гимнахъ поднимался до паѳоса, и кажется, что изъ всѣхъ страстей земныхъ онъ былъ доступенъ одной только этой національно-патріотической страсти.

Почти одновременно съ этими патріотическими стихами, въ лирикѣ Жуковскаго подмѣчается и другая тревожная нота. Онъ увлекается стихами Шиллера и усваиваетъ тотъ драматизмъ, который Шиллеръ такъ любилъ вносить въ свое стихотворенія. Тема религіозная, нравственное наставленіе, въ особенности борьба добраго и злого начала облекаются въ форму балладъ, съ очень занятной интригой, страстной, полной движенія, иногда съ примѣсью элемента страшнаго и ужаснаго. Подъ впечатлѣніемъ балладъ Шиллера и родственныхъ ему въ этомъ смыслѣ англичанъ и нѣмцевъ, какъ, напримѣръ: Уландъ, Бюргеръ, Саути и Вальтеръ-Скоттъ, Жуковскій самъ сочиняетъ оригинальныя баллады и тѣмъ обогащаетъ нашу русскую стихотворную форму. Къ числу этихъ полныхъ драматизма балладъ относятся „Кассандра" (1809), „Ивиковы журавли" (1810), „Ахиллъ" (1814), „Графъ Габсбургскій" (1818), „Смальгольмскій баронъ" (1822), „Торжество побѣдителей" (1828), „Поликратовъ перстень" (1829), „Жалоба Цереры" (1829), „Ленора" (1829), „Кубокъ" (1829), „Перчатка" (1829), „Покаяніе" (1829), „Сраженіе со змѣемъ" (1831), „Рыцарь Роллонъ" (1832).—Всѣ эти произведенія, при всемъ различіи въ ихъ содержаніи, связаны одной общей мыслью, которая и руководила Жуковскимъ, когда онъ ихъ обрабатывалъ. Эта мысль—нравственная и религіозная въ одно и то же время, мысль о Провидѣніи, которое ведетъ насъ къ добру, мысль о томъ, что всякій порокъ найдетъ рано или поздно свою кару, и что доброе, нѣжное, смиренное чувство — лучшій залогъ земного счастья. Это были излюбленныя мысли Жуковскаго, и тѣ даже самые даровитые писатели, которые недостаточно эти мысли оттѣняли или въ ихъ правотѣ сомнѣвались, не привлекали къ себѣ сердца Жуковскаго, и онъ бралъ изъ ихъ стиховъ очень мало. Такъ напримѣръ, онъ очень мало взялъ у Гете, и изъ всѣхъ стихотвореній Байрона перевелъ только самое его смиренное стихотвореніе „Шильонскій узникъ" (1821). Жуковскій любилъ, чтобы нравственная мысль проступала явственно наружу. Къ числу балладъ съ такой нравственной тенденціей относится и извѣстная его длинная поэма „Двѣнадцать

спящихъ дѣвъ“ и „Вадимъ“ (1810) — въ которой проведена мысль объ искупленіи преступленія покаяніемъ и о наградѣ за любовь и смиреніе. Поэма эта съ сюжетомъ очень драматическимъ (также заимствованнымъ изъ западной литературы) — самое цѣльное произведеніе Жуковскаго первыхъ лѣтъ его творчества. Она замѣчательна также, какъ попытка пригнать иностранный сюжетъ къ легендарной древне-русской обстановкѣ. Религіозно-нравственная мысль съ богатымъ драматическимъ движеніемъ проведена и въ повѣсти Фуке „Ундина“, которую Жуковскій переложилъ въ стихи. И въ этой повѣсти любовь и смиреніе торжествуютъ свою побѣду надъ страстью, и страсть несетъ наказаніе за свою жестокость и за забвеніе нравственнаго долга. Эта же мысль о забвеніи нравственнаго долга — мысль, понятая очень строго, даже слишкомъ жестоко, — заставила Жуковскаго такъ полюбить извѣстную драму Шиллера „Орлеанскую Дѣву“, которую онъ и перевелъ съ удивительнымъ мастерствомъ (1821).

Религіозная и нравственная идея облекалась у Жуковскаго иногда и въ форму менѣе драматичную, боболѣе спокойную и эпическую. Къ числу такихъ произведеній можетъ быть отнесенъ, напримѣръ, переводъ изъ „Мессіады“ Клопштока—„Аббадонна“ (1814)—элегія на тему о грусти, съ какой падшій и грѣшный человѣкъ вспоминаетъ о раѣ, т. е. объ утраченной чистотѣ своего сердца. Много религіознаго чувства вложено поэтомъ и въ стихотвореніе „Выборъ Креста“ (1844), въ необычайно спокойный разсказъ о томъ, сколь тщетенъ бываетъ ропотъ человѣка на Бога, который знаетъ, какой крестъ какому человѣку нести въ жизни должно. Религіознымъ смиреніемъ проникнута и знаменитая драматическая поэма „Камоэнсъ“ (1839), заимствованная Жуковскимъ у Гальма. Въ этомъ разсказѣ о стойкости, съ какой истинно вдохновенный и религіозно настроенный поэтъ переноситъ всѣ удары судьбы, всѣ несчастья земной жизни, нашъ поэтъ изложилъ свой личный взглядъ на призваніе художника въ мірѣ, и поэма „Камоэнсъ“ стала какъ бы исповѣдью Жуковскаго. Такою же исповѣдью была и широко задуманная поэма „Агасверъ“ (1852), надъ которой Жу-

ковскій работалъ въ послѣдній годъ своей жизни. Смерть помѣшала ему окончить поэму, но ея основная мысль ясна и въ отрывкѣ. Это — переложеніе старой легенды объ Агасверѣ, который осужденъ былъ скитаться по землѣ до второго пришествія за то, что оттолкнулъ Христа отъ порога своего дома, когда Христа вели на распятіе. Въ поэмѣ Жуковскаго Агасверъ, — грѣхомъ отягченная душа, которая жажетъ покоя. Покой и спасеніе мыслимы для нея только въ вѣрѣ, въ вѣрѣ во Христа, Котораго она не признала. И самое сильное мѣсто поэмы Жуковскаго, — это тѣ страницы, на которыхъ разсказано покаяніе Агасвера и смиреніе его мятежной души передъ всепрощающей благостью вѣры. Эти страницы имѣютъ автобіографическое значеніе: въ нихъ излилась собственная предсмертная молитва автора.

Мирный и ровный тонъ „Агасвера“ вполнѣ гармонируетъ съ тономъ всѣхъ стихотвореній, надъ которыми Жуковскій работалъ въ послѣдніе годы своей жизни. По натурѣ своей вообще человѣкъ спокойнаго созерцанія, Жуковскій подъ старость сталъ совсѣмъ благочестивымъ и набожнымъ мыслителемъ и моралистомъ. Это сказалось на его поэзіи не только въ выборѣ религіозныхъ сюжетовъ, но и въ пониженіи тревожнаго настроенія въ самихъ стихотвореніяхъ. Онъ съ особенной любовью обратился къ народному эпическому творчеству, художественно пересоздалъ нѣсколько народныхъ сказокъ и обогатилъ нашу литературу чудесными переводами: „Одиссеи“. „Наля и Дамаянти“ (1841) и „Рустема и Зораба“ (1844—7). Излюбленныя христіанскія мысли автора — смиреніе передъ высшей волей, искупленіе грѣха, награда праведному и отстрадавшему человѣку — проступали наружу въ этихъ языческихъ поэмахъ изъ греческой, индійской и старо-персидской жизни, и въ нихъ чувствовалось религіозное настроеніе смирившагося созерцателя, который на жизнь смотритъ какъ на подвигъ, совершаемый человѣкомъ во имя чего-то иного и болѣе высокаго, чѣмъ наша кратковременная и страстями сжигаемая земная жизнь.

Такъ цѣлостно и въ себѣ замкнуто было міросозерцаніе и настроеніе Жуковскаго за всю его жизнь.

Началась литературная дѣятельность Василія Андреевича словами: „Да будетъ Воля Твоя“ и этими же словами и кончилась. „Неподвижною“ назвалъ эту поэзію одинъ изъ близкихъ друзей Жуковскаго, и она, дѣйствительно, въ мысляхъ и настроеніяхъ была неподвижна, хотя, какъ мы видѣли, и обнаруживала нѣкоторое движеніе во внѣшнихъ формахъ. Она была въ самыхъ раннихъ годахъ своего развитія элегически мирная, ровная и тихая; затѣмъ въ ней сталъ преобладать драматическій элементъ и, наконецъ, въ послѣдніе годы она вновь пріобрѣла, но уже не лирическое, только, а эпическое, ясно религіозное спокойствіе.

Мирное чувство на зарѣ жизни, слегка тревожное въ зрѣлые годы и примиренно-созерцательное подъ старость — вотъ въ какой внѣшней оболочкѣ являлось передъ русскимъ читателемъ—впервые въ художественныхъ стихахъ — то „сентиментальное“ міровоззрѣніе, которое въ началѣ XIX вѣка было очень обычнымъ отвѣтомъ на всѣ серьезные вопросы жизни.

8. Первое, что должно отмѣтить, когда говоришь о сентиментальномъ настроеніи, это — его искреннюю религіозную основу. На ней, собственно, построено все сентиментальное міропониманіе; и въ нашей литературѣ Жуковскій наиболѣе религіозный поэтъ: мысль о Богѣ— его постоянная мысль, которую онъ облекаетъ то въ стихотворную форму, то въ форму прозаическихъ разсужденій. Богъ — всему цѣль, и цѣль науки, и вообще всей духовной жизни человѣка. Онъ одинъ только даетъ знанію жизнь. Весь смыслъ науки въ томъ, чтобы помочь намъ понять Бога. Богъ есть и высшая нравственность. Религія истинная и нравственная совершенно одно и то же. Кто возвышаетъ душу свою, тотъ сближается съ Богомъ. Богъ есть каждое прекрасное чувство, — оно есть Его видимый или слышимый и чувствуемый образъ. Человѣкъ образуется для вѣры въ Бога и для безусловнаго преданія воли своей въ высшую волю:

На потребу мнѣ одно —
Покорность и предъ Господомъ всей воли
Уничтоженіе. О, сколько силы,
Какая сладость въ этомъ словѣ сердца:

„Твое, а не мое да будетъ!“ Въ немъ
Вся человѣческая жизнь! въ немъ наша
Свобода, наша мудрость, наши всѣ
Надежды; съ нимъ нѣтъ страха, нѣтъ заботъ
О будущемъ, сомнѣній, колебаній;
Имъ все намъ ясно; случай исчезаетъ
Изъ нашей жизни; мы своей судьбы
Властители, понеже власть Тому
Надъ нею предали смиренно, Кто
Одинъ всесиленъ, все за насъ, для насъ
И нами строитъ, намъ во благо.

Богъ—источникъ и конецъ нашъ, и если нѣтъ вѣры въ Него, то нѣтъ и жизни. Вѣра есть добровольное покореніе разсудка, и въ то же время любовь къ Тому, кто даетъ откровеніе. Откровеніе есть голосъ съ того свѣта. Одна вѣра возвращаетъ душѣ человѣческой утраченное ею подобіе Божіе, и въ этой вѣрѣ вся награда праведника.

Я съ Нимъ, Онъ мой, Онъ все, въ Немъ все, Имъ все,
Все отъ Него, Все одному Ему.

Жуковскій вѣрилъ въ неустанную и благую опеку Божества. Неправда сама себя губитъ, — говоритъ онъ,—и никогда правда не имѣла губительныхъ послѣдствій: это правило жизни, не терпящее исключеній. Мы здѣсь, на землѣ—не что иное, какъ путешественники по землѣ Провидѣнія. Всякій случай жизни есть средство къ прекрасному. Даже зло посылается Богомъ для нашего же добра. Умѣть во всякое время, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни произносить смиренно: „Да будетъ Твоя воля“ есть верховная наука жизни. Отецъ небесный готовитъ насъ для вѣчности. Все истекаетъ отъ Бога, и явное благо, называемое нами добромъ, и неявное, которое кажется намъ зломъ. Случая нѣтъ. Все, что ни встрѣчается съ нами въ жизни—есть Богъ въ разныхъ видахъ.

Лучшій другъ намъ въ жизни сей
Вѣра въ Провидѣнье.
Благъ Зиждителя законъ;
Здѣсь несчастье—лживый сонъ;
Счастье — пробужденье.

9. При такомъ религіозномъ взглядѣ на жизнь, какъ упрощается вся жизненная задача! Сколько страховъ

отпадаетъ и сколь несложными являются всѣ наши обязанности! „Одного, душа, не позволяй себѣ,—говоритъ поэтъ,—ропота и отрицанія“... Это бѣдствіе не отъ Бога. Все прочее есть имъ даруемый крестъ. Пусть будетъ кругомъ мракъ — Богъ разсѣетъ его, когда найдетъ нужнымъ:

Еще лежитъ на небѣ тѣнь;
Еще далеко свѣтлый день;
Но живъ Господь, Онъ знаетъ срокъ:
Онъ вышлетъ утро на востокъ.

При такой вѣрѣ никакое осужденіе жизни не имѣетъ власти надъ душой человѣка; и Жуковскій былъ рѣшительный противникъ такого осужденія. Отчаянія и осужденія не можетъ быть тамъ, гдѣ есть свѣтъ евангельской истины,—говорилъ онъ.—Какъ скоро откровеніе освѣтило душу, и вѣра сошла въ нее, ея скорбь обращается въ высокую дѣятельность, не производитъ въ душѣ раздора съ окружающимъ міромъ и оцѣниваетъ его блага. Пусть прекрасное гибнетъ въ пышномъ цвѣтѣ—„таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ“, пусть въ нашей жизни „вѣрны лишь утраты и милому мгновенье лишь дано“—мы будемъ неправы и совершимъ грѣхъ, если начнемъ роптать или просить у Бога, чтобы онъ прервалъ нашу жизнь; надо высоко думать о жизни и человѣкѣ, въ ожиданіи лучшей небесной жизни:

Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мнѣ земная священна;
При мысли великой, что я — человѣкъ,
Всегда возвышаюсь душою.

Но мысль о загробномъ блаженствѣ не должна мѣшать намъ быть добрыми и въ этой жизни:

Довѣренность къ Творцу!
Что бъ ни было — Незримый
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслѣдъ!
Прочь низкое, прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогѣ бѣдъ
До самой двери гроба;
. . . . . .

Лишь тому, въ комъ чувства нѣтъ,
Путь земной ужасенъ.
Счастье въ насъ, и Божій свѣтъ
Нами лишь прекрасенъ!

Рай есть и на землѣ, только не слѣдуетъ требовать отъ этихъ райскихъ мгновеній длительности. Они мелькаютъ быстро, смѣняясь печалью и страданіемъ въ ожиданіи вѣчнаго свѣта и счастія—тамъ, за гробомъ...

Но если человѣкъ не долженъ подпадать отчаянію и излишней скорби, то меланхолія — чувство вполнѣ законное. Никто изъ нашихъ писателей не испыталъ на себѣ ея нѣжной власти такъ часто, какъ Жуковскій. Вотъ что писалъ онъ о ней еще въ ранней юности:

„Кого не трогаетъ чувствительность, — говоритъ онъ, — Кто не предавался меланхоліи? Кто не мечталъ въ тишинѣ уединенія о своей участи, не строилъ воздушныхъ замковъ, не бросалъ унылаго взора на минувшее время юности? Молодой человѣкъ, съ пламенною душою хотѣлъ бы, кажется, всю натуру прижать къ своему сердцу. Всюду летаютъ за нимъ мечты, сіи метеоры юнаго воображенія. Взоръ его стремится въ будущее; надежды, желанія волнуютъ его сердце; онъ вопрошаетъ судьбу хочетъ узнать, что готовится ему за таинственнымъ покровомъ которымъ закрыта она отъ взоровъ любопытныхъ; самъ за нее отвѣчаетъ себѣ, играетъ призраками, и счастливъ. Но какъ скоротечна сія пылкая, живая молодость! Увядаютъ чувства, и бѣдный человѣкъ, лишенный магической силы, которая прежде созидала вокругъ него волшебный міръ, напрасно унылымъ взоромъ ищетъ прелестей въ пышной, великолѣпной натурѣ: вокругъ него — развалины. Гробъ и смерть остались для него въ будущемъ, воспоминанія — въ прошедшемъ, воспоминанія прелестныя и вмѣстѣ печальныя“ (1803).

„Меланхолія, — говорилъ поэтъ, — не есть ни горесть, ни радость; я назвалъ бы ее оттѣнкомъ веселья на сердцѣ печальнаго, оттѣнкомъ унынья на душѣ счастливца“.

Такой поэтичной и заманчивой казалась меланхолія Жуковскому въ его ранніе годы. Подъ старость онъ нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ на нее, называлъ ее лѣнивой нѣгой, грустной роскошью, мало-по-малу изнуряющей и, наконецъ, губящей душу. Его души она, впрочемъ, не погубила, а всегда настраивала ее необычайно поэтично. Самые задушевные его стихи всѣ меланхоличны:

Къ младенчеству-ль душа прискорбная летитъ,
Считаю-ль радости минувшаго—какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ своей для дружбы я созрѣлъ—
И что-же!... предо мной увядшаго могила.
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила.
Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья.
И невозвратное надеждъ уничтоженье.
Изсякшія души наполню-ль пустоту?
Какое счастіе мнѣ въ будущемъ извѣстно?
Грядущее для насъ—протекшимъ лишь прелестно!

И много такихъ печальныхъ мотивовъ въ его поэзіи. И раннія могилы, и смертью пресѣченная дружба, и любовь, увядшая нежданно, и грусть въ ожиданіи тѣхъ испытаній, которыя готовитъ жизнь, и страхъ за живость впечатлительности и собственная кончина—и все же,—говорилъ онъ въ одномъ изъ самыхъ лучшихъ своихъ оригинальныхъ стихотвореній („Теонъ и Эсхинъ", 1814):—

О! Вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна!
Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ:
Все въ жизни къ великому средство:
И горесть, и радость—все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу—Зевесу!

10. Спокойное міросозерцаніе Жуковскаго окрасило нѣжными и мягкими красками даже самую страшную тайну жизни—тайну смерти. Рѣдко кто изъ поэтовъ-писателей говорилъ такъ часто о смерти, какъ онъ. Онъ думалъ о ней еще въ дѣтскіе годы и повторялъ въ своихъ первыхъ стихахъ излюбленныя сентиментальныя пѣсни на тему смерти; затѣмъ, когда любимая имъ женщина умерла такъ неожиданно и безвременно, мысль о смерти стала навѣщать его чаще и приняла въ его мечтахъ покорную религіозную окраску. Онъ писалъ тогда:

19-го МАРТА 1823.

Ты удалилась,
Какъ тихій ангелъ;
Твоя могила,
Какъ рай, спокойна.
Тамъ все земныя

Воспоминанья,
Тамъ всѣ святыя
О небѣ мысли.
Звѣзды небесъ!
Тихая ночь!

И, дѣйствительно, всѣ святыя мысли о небѣ были съ тѣхъ поръ неразлучны для него съ мыслью о смерти. Подъ конецъ своей жизни онъ много размышлялъ о ней и старался, какъ философъ и какъ богословъ, выяснить людямъ ея смыслъ и ея примиряющую роль въ жизни. Въ общемъ онъ всегда смотрѣлъ на смерть, какъ на великую утѣшительницу во скорбяхъ жизни На самой зарѣ своей жизни (1809) онъ восклицалъ;

Ахъ! скоро-ль прилетитъ послѣдній, скорбный часъ,
Конца и тишины желанный возвѣститель?
Промчись, печальная невѣдѣнія тѣнь!
Откройся, тайныхъ брегъ утраченныхъ обитель!
Откройся, мирная, отеческая сѣнь!

Онъ во всякомъ случаѣ не страшился приближенія смерти и онъ не могъ себѣ представить бо́льшей казни какъ жить безъ надежды умереть, жить такъ, какъ жилъ герой его предсмертной поэмы „Агасверъ"— который искалъ смерти и не могъ нигдѣ найти ее. Для нашего поэта могила была „путемъ къ вѣчной жизни" исполненіемъ всѣхъ обѣщаній, мѣстомъ „отдыха", знакомой, тайной страной, гдѣ намъ должно быть возвращено все, что мы утратили на землѣ; „мѣстомъ, гдѣ мы забываемся сномъ безпробуднымъ, быть можетъ, сны прекрасные видя". Смерть не есть отрицаніе этой жизни а ея утвержденіе,—говоритъ поэтъ.

Понятно, какъ такое спокойное ожиданіе блаженной смерти должно было обезоруживать гнѣвъ человѣка и подавлять въ немъ всякій тревожный ропотъ. И Жуковскій не умѣлъ ни роптать, ни сердиться.

11. Хоть взоръ нашего поэта и бывалъ часто устремленъ за предѣлы земной жизни, красота земли, ея радости и свѣтлые лучи всегда будили въ поэтѣ творческую мечту и его умиляли. Онъ любилъ красоту природы и любилъ ее описывать. Рѣдкое стихотвореніе

обходится безъ метафоръ, взятыхъ изъ этой области проявленія красоты въ жизни. Пейзажъ Жуковскаго то очень мирный и тихій, ласкающій и нѣжный, то необычайно бурный, стремительный полный мрачныхъ красокъ, — сообразно сюжету, о которомъ говоритъ поэтъ. Нужно замѣтить, однако, что мирныя картины природы удавались ему лучше, чѣмъ грозныя Иногда тотъ и другой колоритъ и темпъ встрѣчаются въ одномъ стихотвореніи, и получается очень красивая элегія какъ, напримѣръ, стихотвореніе „Море“ (1822)

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарованъ надъ бездной твоей
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море.
Открой мнѣ глубокую тайну твою:
Что движетъ твое необъятное лоно?
Чѣмъ дышитъ твоя напряженная грудь?
Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи
Далекое, свѣтлое небо къ себѣ?...
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто въ присутствіи чистомъ его;
Ты льешься его свѣтозарной лазурью.
Вечернимъ и утреннимъ свѣтомъ горишь,
Ласкаешь его облака золотыя
И радостно блещешь звѣздами его.
Когда же сбираются темныя тучи,
Чтобъ ясное небо отнять у тебя—
Ты бьешся, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезаетъ, и тучи уходятъ;
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блескъ возвращенныхъ небесъ
Не вовсе тебѣ тишину возвращаетъ;
Обманчивъ твоей неподвижности видъ;
Ты въ безднѣ покойной скрываешь смятенье,
Ты, небомъ любуясь, дрожишь за него.

Сначала поэтъ стремился отыскивать въ природѣ красивыя очертанія для поясненія своего поэтическаго настроенія, потомъ онъ искалъ въ ней,—какъ и во всемъ въ жизни—религіознаго смысла и видѣлъ въ ней „Господнюю развернутую книгу, гдѣ каждая буква благовѣститъ Его Евангеліе“. Онъ говорилъ:

Среди Господней
Природы, я наполненъ чуднымъ чувствомъ
Уединенія, въ неизреченномъ
Его присутствіи, и чудеса
Его созданія въ моей душѣ
Блаженною становятся молитвой;
Молитвой—но не призываньемъ въ часъ
Страданія на помощь, не прошеньемъ,
Не выраженьемъ страха иль надежды,
А смирнымъ, безсловеснымъ предстояньемъ
И сладостнымъ глубокимъ постиженьемъ
Его величія, Его святыни,
И благости, и безпредѣльной власти,
И сладостной сыновности моей,
И моего предъ Нимъ уничтоженья:—
Невыразимый вздохъ, въ которомъ вся
Душа къ Нему, горящая, стремится—
Такою предъ Его природой чудной
Становится моя молитва.

12. Съ истинно религіознымъ и благоговѣйнымъ чувствомъ относился Жуковскій и ко всѣмъ радостямъ жизни вообще. Изъ этихъ радостей въ своихъ стихахъ онъ славословилъ всего больше любовь и дружбу, и высшимъ счастіемъ человѣка считалъ увѣнчаніе любви семьей и дружбы — общимъ дѣломъ. Жуковскій былъ первый изъ нашихъ писателей, который для любви нашелъ въ стихахъ искренніе и необычайно мелодичные звуки,—иногда спокойные, иногда очень энергичные:

Увы! пора любви придетъ:
Вамъ сердце тайну скажетъ,
Для васъ она украситъ свѣтъ,
Вамъ милаго покажетъ;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И. распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ взойдетъ краснѣе день,
И будетъ лугъ душистѣй,
И сладостнѣй дубравы тѣнь,
И птичка голосистѣй.
. . . . . .
. . . . . .
Любви сей полный кубокъ въ даръ!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жаръ:
Любовь одно со славой.

Кому здѣсь жребій удѣленъ
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцемъ сердцу обрученъ,—
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ:
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершитъ
Для сладостной награды?

Съ такой же искренностью воспѣвалъ онъ и дружбу; выдерживая, впрочемъ, свою пѣсню все больше въ минорномъ тонѣ и вспоминая своего перваго близкаго друга, Андрея Тургенева, рано унесеннаго смертью.

13. Рядомъ съ мотивами религіозными и чисто личными Жуковскій въ своихъ стихахъ часто затрогивалъ и темы патріотическія. Онъ былъ большой патріотъ, искреннѣйшій приверженецъ самодержавія и молитвенникъ о Россіи, въ великое и міровое призваніе которой онъ вѣрилъ. Онъ вѣрилъ, что у Россіи есть „особенный союзъ съ Богомъ", что „Божья Правда почіетъ на ней", что „Россія призвана произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія". Для достиженія этой цѣли она должна оторваться отъ насильственнаго вліянія на нее, Европы, у которой она заняла богатство образованности, но за которой донынѣ слишкомъ покорно стремилась. Россія,—мечталъ онъ,—должна вступить въ особенный, самимъ Промысломъ ей проложенный путь: она не будетъ Европа, не будетъ Азія, она будетъ Россія—самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой... Исполнить это предназначеніе можетъ Россія, однако, только свято храня начала своей самобытной жизни — церковь православную и самодержавіе. Жуковскій не находилъ словъ, чтобы достойно прославить самодержавіе и его работу на пользу собиранія, укрѣпленія и устроенія Земли Русской. Почти всѣ блестящія страницы нашей военной исторіи имъ воспѣты, и славное прошлое служить ему залогомъ великаго будущаго. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ и разсужденіяхъ онъ обнаружилъ гораздо больше паѳоса и вѣры, чѣмъ строгой исторической мысли. Россія, ея царь, ея вѣра были для него предметомъ культа, который не допускалъ никакой критики ни самыхъ основъ этой вѣры, ни нашего историческаго прошлаго и настоящаго. Поэтъ былъ рѣ-

шительный и послѣдовательный оптимистъ во всемъ, что касалось судебъ нашей родины. Такой оптимизмъ, конечно, не располагалъ поэта къ зоркой оцѣнкѣ достоинствъ и недостатковъ нашей жизни. Онъ безспорно видѣлъ многое злое, несправедливое, что творилось въ Россіи; по мѣрѣ силъ своихъ онъ, какъ частный человѣкъ, старался злу противодѣйствовать, но какъ писатель и поэтъ, онъ оберегалъ свою пѣсню отъ всякихъ темъ общественныхъ или политическихъ. Онъ вѣрилъ въ правительство и думалъ, что оно въ своей борьбѣ со зломъ не нуждается въ помощи писателя:

Быть рабомъ есть несчастіе, происходящее отъ обстоятельствъ,—говорилъ онъ;—любить рабство есть низость; не быть способнымъ къ свободѣ есть испорченность, произведенная рабствомъ. Государь,—въ высокомъ смыслѣ сего слова, отецъ подданныхъ,—также не можетъ любить рабство своего народа и желать продолженія его, какъ отецъ не можетъ любоваться низостью своихъ дѣтей (1847).

Такъ утѣшалъ онъ себя, и чувствовалъ себя спокойнымъ. Самъ—человѣкъ очень добрый и мягко относившійся къ своимъ крестьянамъ, отпускавшій ихъ на волю, онъ о крѣпостномъ положеніи народа совсѣмъ не говорилъ въ своихъ стихахъ и только однажды, въ очень юные годы (1809), обмолвился о немъ въ одной статейкѣ, и то очень осторожно. Какъ гуманный человѣкъ, онъ признавалъ за народомъ право на образованіе, думалъ объ изданіи книгъ для народа, скорбѣлъ что геній народа умерщвленъ „строгою нуждой и цѣпями убожества“, но о главной причинѣ несчастія народа онъ умалчивалъ и, конечно, не потому, что не думалъ о ней, а потому что онъ довѣрялъ власти и не хотѣлъ ей подсказывать никакихъ совѣтовъ.

Вотъ почему въ своей поэзіи онъ также не нашелъ словъ утѣшенія или оправданія для тѣхъ людей, которые, думая объ освобожденіи крестьянъ, рѣшились возстать противъ власти, а именно для декабристовъ, хотя онъ всегда заступался за нихъ въ своихъ частныхъ бесѣдахъ съ императоромъ.

14. Сентиментальное и оптимическое настроеніе, довѣрчивость къ власти и упованіе на Промыслъ Божій заставляли Жуковскаго недружелюбно смотрѣть на вся-

кую попытку человѣка рѣзко протестовать противъ общаго хода или частныхъ явленій того уклада жизни, при которомъ жить приходится. Жуковскій любилъ Россію за то смиреніе, съ какимъ она относится къ своей судьбѣ, и недолюбливалъ Западъ за рѣзкость проявленія его мыслей и его чувствъ. Поэтъ былъ рѣшительный противникъ всякаго „революціоннаго "духа, въ чемъ бы онъ ни сказывался — въ области ли идей или въ области фактовъ. Ему самому пришлось быть довольно близкимъ свидѣтелемъ лишь одного революціоннаго движенія, а именно, въ 1848 году, когда онъ жилъ за границей, и онъ не скрывалъ ни своего негодованія, ни своей растерянности передъ этимъ событіемъ. Онъ былъ страшно напуганъ тѣмъ подъемомъ, какъ онъ называлъ, „коммунизма", который грозилъ тогда подорвать всякую власть; онъ понялъ это движеніе, какъ проявленіе исключительно неправеднаго „бунта", какъ желаніе перескочить изъ понедѣльника прямо въ среду; онъ полагалъ, что истинный создатель есть время, которое никогда не должно упреждать насильственно, что средство не оправдывается цѣлью; что разрушеніе, все-таки, зло, хотя бы оно было благодѣтельно въ своихъ послѣдствіяхъ; что никто не имѣетъ права жертвовать будущему настоящимъ и нарушать вѣрную справедливость для невѣрнаго, возможнаго блага. „Намъ не дано, — говорилъ нашъ смиренный и вѣрующій мыслитель, — ничего строить особеннаго по собственному плану: мы можемъ только дѣлать пристройки къ зданію вѣковъ, котораго планъ не нами начертанъ, и намъ даже неизвѣстенъ въ цѣломъ. Чтобы понимать — гдѣ, какъ и что нужно пристроить, мы должны справляться съ исторіей: она одна раскрываетъ намъ планъ Провидѣнія. Если мы будемъ хотѣть не пристраивать, а самобытно строить, то мы будемъ разстраивать, то есть, набрасывать развалины. Это самовольное набрасываніе развалинъ есть то, что называется „революціею". Изъ этихъ словъ, которыя были написаны Жуковскимъ — какъ все, что онъ писалъ, очень искренно, отъ души, безъ всякой задней мысли,—видно, что онъ во всякой рѣзкой перемѣнѣ жизни хотѣлъ видѣть только разрушительную работу отрицанія и не хотѣлъ признать въ

ней работы созидающей, творческой. Силу творческую онъ приписывалъ не людямъ, а Богу, почему такъ односторонне и посмотрѣлъ на чрезвычайно важный историческій моментъ 1848 года, до котораго дожилъ. Впрочемъ, Василій Андреевичъ вообще не любилъ задумываться надъ тревожными вопросами политической жизни: онъ больше думалъ объ общемъ религіозно-нравственномъ смыслѣ нашей жизни, а всего чаще жилъ въ мірѣ своихъ любимыхъ поэтическихъ грезъ.

15. Мы знаемъ уже, что Жуковскій признавалъ искусство, какъ совсѣмъ особую самостоятельную область духовнаго творчества. „Другія всѣ искусства, — говорилъ онъ устами знаменитаго поэта Камоэнса („Камоэнсъ", 1839), — намъ возможно пріобрѣсть наукою; поэта же творитъ — природа. Геніи родятся сами. „Нисходитъ прямо съ неба то, что къ небу насъ возноситъ". Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли — утверждалъ поэтъ и хотѣлъ сказать этимъ, что какъ Богъ есть полнота всѣхъ совершенствъ въ мірѣ — сліяніе добра, красоты и истины, такъ и поэзія есть воплощеніе всѣхъ этихъ великихъ благъ въ звукахъ и образахъ, воплощеніе безкорыстное, служащее само себѣ цѣлью. Не своеволіе, не тщетный призракъ — поэта зоветъ самъ Богъ, и онъ къ великому долженъ стремиться смиренно. Само творчество есть великая непроницаемая тайна. Кто сможетъ сказать, что такое вдохновеніе и какъ оно нисходитъ на поэта? Оно есть общеніе избраннаго человѣка съ Богомъ, молитва за людей, предвкушеніе лучшей жизни, даръ прозрѣнія въ будущее, даръ пониманія прошлаго. Это великая тайна, безъ которой, однако, наша земная жизнь была бы лишена лучшаго своего украшенія, своего смысла и счастья... Много такихъ хвалебныхъ словъ сказалъ Жуковскій объ искусствѣ, стараясь дать понять и почувствовать людямъ то, что онъ самъ испытывалъ въ минуты вдохновенія. Никто до него не понималъ такъ высоко и глубоко задачи пѣвца въ мірѣ. Такое пониманіе открылось, впрочемъ, Жуковскому не сразу.

Въ свои молодые годы онъ смотрѣлъ на поэзію такъ, какъ его учили предшественники, писатели XVIII вѣка: поэзія была для него веселая богиня — фантазія

прихотливая, безпечно играющая, посланная въ міръ на радость и утѣшеніе людямъ... Поэзія — веселье и любовь всѣхъ пламенныхъ сердецъ, — думалъ въ ранней юности Жуковскій, — она есть тихая прелесть и очарованіе души. Поэтъ — блаженный мечтатель, счастливый и спокойный въ своемъ уединеніи. Онъ — безпечное дитя; онъ съ младенческой беззаботностью, невидимый толпѣ, идетъ туда, куда его влечетъ крылатый теній; душа его свободна и ясна; она — повсюду видитъ красоту и благо. Одинъ только совѣтъ можно дать поэту: подальше отъ суетныхъ людей, отъ искушеній и обольщеній:

Его блаженство прямо съ неба;
Онъ имъ не дѣлится съ толпой:
Его судьи лишь чада Феба!
Ему ли съ пламенной душой
Плоды святаго вдохновенья
Къ ногамъ холоднымъ повергать,
И на колѣнахъ ожидать
Отъ недостойныхъ одобренья?
Одинъ среди песковъ Мемнонъ,
Сидя съ возвышенной главою,
Молчитъ — лишь гордою стопою
Касается ко праху онъ;
Но лишь денницы появленье
Вдали востокъ воспламенитъ —
Въ восторгѣ мраморъ, пѣснь гласитъ.
Таковъ поэтъ, друзья! презрѣнье
Въ пыли таящимся душамъ!

Иногда этотъ веселый тонъ смѣняется болѣе грустнымъ, но задача пѣвца остается попрежнему очень простой и несложной:

Мнѣ рокъ судилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы,
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной,
И, взоръ склонивъ на пѣнны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать.
О пѣсни, чистый плодъ невинности сердечной!
Блаженъ, кому дано цѣвницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, въ тихій утра часъ, когда туманный дымъ
Ложится по полямъ и холмы облачаетъ,

И солнце, восходя, по рощамъ голубымъ
Спокойно блескъ свой разливаетъ.
Спѣшитъ, восторженный, оставя сельскій кровъ,
Въ дубравѣ упредить пернатыхъ пробужденье,
И лиру соглася съ свирѣлью пастуховъ,
Поетъ свѣтила возрожденье!
Такъ пѣть есть мой удѣлъ.

Съ годами, однако, такой взглядъ на поэзію, какъ на мирное занятіе, у Жуковскаго мѣняется: поэтъ начинаетъ понимать, что искусству въ жизни отведена очень серьезная роль:

Поэзія небесной
Религіи сестра земная; свѣтлый
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ буръ не сбились
Съ пути. Поэтъ, на пламени его
Свой факелъ зажигай! Твои всѣ братья
Съ тобою заодно засвѣтятъ каждый
Хранительный свой огнь, и будутъ здѣсь
Они во всѣхъ странахъ и временахъ
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
При блескѣ ихъ, что бъ труженикъ земной
Ни испыталъ — душой онъ не падетъ,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Когда такую роль исполняешь, то нельзя уже думать о счастьи и радостяхъ только:

Нѣтъ, нѣтъ! не счастія, не славы здѣсь
Ищу я: быть хочу крыломъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя мнѣ сердца
На высоту; зарей, побѣду дня
Предвозвѣщающей: великихъ думъ
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ
Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ея красѣ небесной —
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Такъ высоко думалъ Жуковскій о призваніи пѣвца. Понятно, что поэтъ могъ служить только одному сво-

ему дѣлу и не могъ мириться ни съ какой служебной ролью въ обществѣ.

Но, признавая за поэтомъ такое могущество, Жуковскій ставилъ ему одно неизмѣнное условіе. Поэтъ на землѣ долженъ быть насадителемъ добра и религіознаго чувства. Выполнить это условіе было, впрочемъ, поэту не трудно, потому что всякая истинная поэзія, какъ думалъ Жуковскій,—есть въ одно и то же время и обнаруженіе Бога на землѣ, и доброе дѣло.

16. Въ такомъ связномъ и цѣльномъ видѣ представляются взгляды Жуковскаго на жизнь и человѣка. Въ этихъ взглядахъ много искренности, глубины и красоты, но, конечно, они односторонни.

Жуковскій ревниво сторонился отъ всякаго зла, гдѣ только могъ заподозрить его присутствіе, а „зломъ" онъ считалъ всякое душевное волненіе, всякую тревогу, мѣшавшую людямъ отдаваться спокойно нравственному совершенствованію, смиренію и подавленію въ себѣ эгоистическихъ чувствъ. Въ Жуковскомъ отъ природы всегда было больше чувства, чѣмъ наблюдательности и связанной съ ней способности къ строгому разсужденію. Явленія обыденной жизни ускользали отъ него и замѣнялись видѣніями.

Любовь, дружба, преклоненіе передъ добродѣтелью, служеніе искусству и горячая христіанская вѣра нашли въ немъ ревностнаго служителя и искренняго, вдохновеннаго поэта. Вдохновеніе поэта онъ считалъ откровеніемъ Божіимъ, поэзію понималъ, какъ высшее призваніе человѣка; красоту и добро считалъ неразлучными; писателя считалъ апостоломъ нравственности и вѣры. Поэзія, понятая въ такомъ смыслѣ, должна была естественно сторониться отъ всего несовершеннаго, нечистаго, плотскаго, соблазнительнаго и тревожнаго то-есть отъ всей обыденной жизни, и витать въ области идеальнаго и желаемаго. Жуковскій и жилъ въ мірѣ идеализированномъ, гдѣ лица, взятыя изъ дѣйствительности, превращались въ сказочные образы, или онъ жилъ въ мірѣ желаемомъ — въ мірѣ загробномъ, который онъ населялъ образами, взятыми изъ собственныхъ воспоминаній.

Свои общественные взгляцы Жуковскій вывелъ изъ

того же оптимизма, который лежалъ въ основѣ всей его житейской философіи. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ нашихъ славянофиловъ, былъ твердо убѣжденъ въ необходимости самобытной русской цивилизаціи, мечталъ о великомъ міровомъ призваніи Россіи, и всю свою вѣру въ лучшее и счастливое будущее возложилъ на православіе и самодержавіе, которымъ и служилъ искренно, отъ всего своего сердца.

Такой мирный и спокойный взглядъ на жизнь былъ тогда по душѣ очень многимъ — всѣмъ „сентименталистамъ", въ которыхъ строгое критическое отношеніе къ жизни было еще мало развито. И надо сознаться, что въ этомъ религіозномъ, смиренномъ и довѣрчивомъ отношеніи къ жизни было для своего времени много прогрессивнаго и гуманнаго содержанія. Нужно было людямъ привить и любовь, и вѣру въ добро, надо было пробудить и укрѣпить въ нихъ нѣжныя чувства — надо было также внушить имъ уваженіе и любовь къ націи, которую они составляли. Россія двинулась въ началѣ XIX вѣка по пути широкаго общественнаго, гражданскаго и политическаго развитія, ее ожидала большая и трудная работа, при которой подъемъ вѣры въ себя и вовсѣ гуманные идеалы жизни былъ необходимъ и желателенъ. Жуковскій болѣе чѣмъ кто-либо способствовалъ этому подъему, и въ этомъ его гуманная заслуга. Но, отвѣчая на одни запросы времени, онъ не былъ въ силахъ отвѣтить на другіе, столь же законные. Для успѣшнаго общественнаго развитія критика и строгій анализъ жизни такъ же необходимы, какъ вѣра и энтузіазмъ. Къ строгому суду надъ жизнью, къ безпощадному анализу, къ возбужденію въ людяхъ сомнѣній и недовольства — Жуковскій былъ неспособенъ. Его мягкая довѣрчивая натура обучила его только молитвѣ и проповѣди добродѣтели. Разыскивать зло, указывать на него и преслѣдовать его онъ не могъ, въ силу полнаго отсутствія боевой способности въ складѣ его ума и характера.

Его поэзія, прельщая своей художественностью, скоро перестала удовлетворять читателя своимъ настроеніемъ и смысломъ.

Оптимизмъ и тихое мечтательное настроеніе не

могли наполнить всей жизни подраставшихъ молодыхъ поколѣній, какъ они заполняли жизнь самого Жуковскаго. Многіе вопросы, отъ которыхъ Жуковскій сторонился, какъ отъ зла, стали настойчиво требовать рѣшенія, и не могли быть обойдены въ искусствѣ. Самъ Жуковскій понималъ это и не сердился, видя, какъ поэты младшаго поколѣнія его опережаютъ. Со свойственнымъ ему смиреніемъ онъ самъ въ одномъ трогательномъ стихотвореніи („Царскосельскій лебедь") такъ прощался со своими поклонниками:

Лебедь бѣлогрудый, лебедь бѣлокрылый,
Какъ же нелюдимо, ты, отшельникъ хилый,
Здѣсь сидишь на лонѣ водъ уединенныхъ;
Спутниковъ давнишнихъ, прежней современныхъ
Жизни, переживши, сѣтуя глубоко,
Ихъ ты поминаешь думой одинокой;
Сумрачный пустынникъ, изъ уединенья
Ты на молодое смотришь поколѣнье
Грустными очами; прежняго единый
Брошенный обломокъ, въ новый лебединый
Свѣтъ на пиръ веселый гость не приглашенный,
Ты вступить дичишься въ кругъ неблагосклонный
Рѣзвой молодежи...
Старикъ печальный
Молодость ихъ образъ твой монументальный
Рѣзвую пугаетъ, онъ на нихъ наводитъ
Скуку, и въ пріютъ твой ни одинъ не входитъ
Гость, изъ молодежи, вѣтрено летящей
Вслѣдъ за быстрымъ мигомъ жизни настоящей...
. . . . . .
Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таялъ одиноко; а младое племя
Въ шумѣ рѣзвой жизни забывало время...
Разъ среди ихъ шума раздался чудесно
Голосъ, всю пронзившій бездну поднебесной;
Лебеди, услышавъ голосъ, присмирѣли,
И стремимы тайной силой, полетѣли
На голосъ: предъ ними, вновь помолодѣлый,
Радостно вздымая перья груди бѣлой,
Голову на шеѣ гордо распрямленной,
Къ небесамъ подъемля, весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пѣлъ, прощаясь съ жизнью, гимнъ свой лебединый;
А когда допѣлъ онъ, — на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши, —
Къ небу, какъ во время оное бывало,
Онъ съ земли рванулся... и его не стало

Въ высотѣ... и навзничъ съ высоты упалъ онъ;
И прекрасенъ мертвый на хребтѣ лежалъ онъ,
Широко раскинувъ крылья, какъ летящій,
Въ небеса вперяя взоръ, ужъ негорящій.

И, дѣйствительно, когда Жуковскій писалъ эти стихи, пламенная любовь его читателей была уже давно перенесена на его ученика, котораго онъ самъ готовъ былъ признать своимъ учителемъ,—на Пушкина.

III. Ранніе годы Пушкина.

1. Съ тѣхъ поръ какъ русскій народъ себя помнитъ, у него не было болѣе яркаго поэтическаго дарованія. Какъ художникъ Пушкинъ остается великъ и въ наше время, которое можетъ говорить о Гоголѣ, Лермонтовѣ, Тургеневѣ, Достоевскомъ и Толстомъ какъ о своихъ учителяхъ. Если искусству со дня смерти Пушкина открывались все болѣе и болѣе широкіе горизонты, то все-таки самый способъ художественнаго воспріятія жизни и ея претворенія въ поэзію ни у кого не достигаетъ такой степени совершенства какъ у Пушкина. Если искать ему равныхъ писателей по силѣ и глубинѣ художественнаго воспріятія явленій внѣшняго и внутренняго міра, по умѣнію творить людей, творить ихъ души, то ихъ можно найти лишь среди первоклассныхъ талантовъ западныхъ. Данте, Шекспиръ, Гете—вотъ имена, которыя мы всего чаще произносимъ, когда силу Пушкинскаго творчества хотимъ пояснить сравненіемъ. Замѣтьте, что среди этихъ именъ отсутствуютъ такія, какъ Шиллеръ, какъ Байронъ, какъ Викторъ Гюго, не говоря уже о другихъ. Можетъ показаться, что въ насъ говоритъ патріотическое пристрастіе, когда мы Пушкина помѣщаемъ въ столь избранное общество, тѣмъ болѣе, что на Западѣ ему этой чести не оказываютъ; но Западу трудно оцѣнить Пушкина: въ переводѣ пропадаетъ очень многое, и самое цѣнное для

насъ—его національная самобытность—для иностранца скорѣе недостатокъ Пушкинскаго творчества, чѣмъ его заслуга. Нашу жизнь, и прошлую, и настоящую, знаютъ мало—и мѣстный колоритъ мѣшаетъ иногда иностранцу оцѣнить то, что въ Пушкинѣ есть общечеловѣческаго. Насъ это соображеніе смущать не должно.

Мы, русскіе, вышли позже другихъ на арену литературнаго творчества и мы долго учились на образцахъ западнаго искусства, безъ различія національностей; поэтому, быть можетъ, въ нашихъ сужденіяхъ и въ литературныхъ вкусахъ болѣе терпимости и пониманія, чѣмъ у нашихъ сосѣдей. Высокое мнѣніе о Пушкинѣ, какъ о художникѣ, мнѣніе, раздѣляемое у насъ всѣми интеллигентными людьми безъ различія направленій, имѣетъ за собой именно потому столько правды, что оно есть голосъ людей, воспитанныхъ на всемъ богатствѣ западной словесности, людей, которые, въ оцѣнкѣ литературныхъ памятниковъ, одни, пожалуй, во всей Европѣ имѣютъ право назваться космополитами.

Сравнивая однако поэзію Пушкина съ поэзіей Данте, Шекспира, Гете, мы не можемъ не замѣтить, что въ ней нѣтъ многихъ мотивовъ, которые придаютъ творчеству этихъ Пушкину равныхъ художниковъ такое глубокое философское и общественное значеніе.

Мы будемъ крайне несправедливы однако, если въ виду относительной несложности и простоты мотивовъ Пушкинской поэзіи, пожелаемъ умалить поэтическій геній художника. Фантазія каждаго поэта питается тѣмъ, что ему даетъ окружающая его дѣйствительность и условія личной и общественной жизни, среди которой онъ выросъ, всегда налагаютъ извѣстную печать на его творчество.

Поэзія тѣхъ великихъ поэтовъ, имена которыхъ мы только что назвали, была художественнымъ воплощеніемъ очень сложной, широко развитой умственной и нравственной жизни ихъ вѣка, и тотъ фактъ, что они сумѣли возсоздать эту жизнь, если не во всей ея полнотѣ, то въ главнѣйшихъ моментахъ ея развитія, освѣтить ее съ возможно большаго числа сторонъ—и даетъ имъ право на названіе міровыхъ поэтовъ: они—

выразители не только своихъ личныхъ думъ: они истолкователи настроеній и думъ цѣлой эпохи, цѣлаго важнаго этапа, пройденнаго цивилизаціей.

Когда мы произносимъ имя Данте, передъ нами возстаетъ вся средневѣковая жизнь, съ ея философской и богословской мыслью, съ ея вѣковыми политическими ученіями объ имперіи и папствѣ, съ Италіей и Римомъ, какъ столицей всего цивилизованнаго міра, съ воспоминаніями о древней культурѣ и съ надеждами на ея возрожденіе. Поэзія Данте, это—художественный синтезъ одной изъ важнѣйшихъ эпохъ всемірной цивилизаціи. Драмы Шекспира вызываютъ также въ нашей памяти представленіе о сложной политической и гражданской жизни Англіи въ блестящую пору царствованія Елисаветы и ея предшественниковъ, и философское міросозерцаніе этихъ драмъ отражаетъ на себѣ работу новой европейской мысли XVI-го вѣка—той мысли, которая имѣла такое рѣшающее вліяніе на умственную и затѣмъ общественную жизнь послѣдующихъ поколѣній.

Имя Гете тѣсно связано съ эпохой просвѣщенія конца XVIII вѣка, съ эпохой, которая открываетъ собой новую эру всемірной культуры. Освободительная работа въ области философіи, нравственности и общественныхъ условій жизни нашли въ Гете своего толкователя и своего критика. Поэзія Гете была зеркаломъ, въ которомъ отразились всѣ колебанія ума и сердца за этотъ—опять-таки необычайно важный—періодъ въ исторіи культурнаго міра.

И Пушкинъ также былъ свидѣтелемъ знаменательной исторической эпохи, когда на Западѣ люди стали разбираться въ богатѣйшемъ идейномъ и матерьяльномъ наслѣдствѣ великой революціи, но Пушкинъ жилъ въ Россіи, гдѣ все западное движеніе, умственное, полититическое, и соціальное отражалось со страшно уменьшенной силой и получало интересъ болѣе теоретическій, чѣмъ практическій. Пушкинъ не стоялъ въ центрѣ кипѣвшей вокругъ него богатой жизни, онъ созерцалъ ее издалека. Къ тому же и по своему поэтическому темпераменту онъ былъ склоненъ къ спокойному художественному созерцанію. Вотъ почему

его творчество, сохраняя все свое художественное совершенство и свою художественную полноту, не выразило многихъ идей и чувствъ, которыми жили наши сосѣди и которыми они болѣли и волновались. Въ умѣ своемъ Пушкинъ былъ и судьей этихъ идей и ихъ хозяиномъ, но онъ не ощущалъ непосредственно ихъ силы вокругъ себя, въ русской дѣйствительности, и оберегалъ отъ нихъ свое вдохновеніе.

При всемъ этомъ нельзя не удивиться необычайной широтѣ и разносторонности интересовъ Пушкина и широтѣ его поэтическаго кругозора. Онъ обладалъ даромъ усваивать, сживаться съ міросозерцаніемъ и чувствомъ самыхъ различныхъ эпохъ человѣческой жизни. Хотя онъ рѣдко пользовался этимъ даромъ, но, какъ художникъ, успѣлъ доказать, что онъ умѣлъ говорить и думать и какъ язычникъ, и какъ христіанинъ, какъ средневѣковый рыцарь и какъ сынъ эпохи Возрожденія, и какъ ученикъ Руссо и какъ поклонникъ Вольтера.

Но особое значеніе пріобрѣтаетъ его поэзія какъ отраженіе русской жизни. Ни одно литературное, общественное, умственное и даже политическое движеніе въ Россіи не осталось ему—какъ человѣку—чуждо, хотя, конечно, не съ одинаковой полнотой и ясностью отразилось на его творчествѣ.

Литературныя традиціи Екатерининскаго вѣка дали и форму, и содержаніе его юношескимъ стихотвореніямъ. Поклонникъ ложно-классическаго и сентиментальнаго стиля, ученикъ Державина, Батюшкова и Жуковскаго, Пушкинъ въ ранніе годы сумѣлъ не только удачно подражать даннымъ образцамъ, но сумѣлъ по своему, съ особой красотой и легкостью, выразить эти уже отходившія въ прошлое поэтическія настроенія; онъ скоро перешелъ къ другимъ темамъ, и русская сказка съ ея романтическимъ колоритомъ заняла его воображеніе. Жуковскій, который тогда культивировалъ этотъ родъ творчества, призналъ себя побѣжденнымъ. Въ началѣ 20-хъ годовъ поэзія Пушкина начинаетъ касаться темъ, которыя принято называть не совсѣмъ точно „байроническими“. Въ нихъ начинаетъ звучать сильная нота протеста противъ окружающей

дѣйствительности. Либеральный образъ мыслей Пушкина за это время и его дружба съ декабристами указываютъ намъ, что это мнимо-байроническое настроеніе въ его поэзіи было, вовсе не подражаніемъ, а откликомъ на событія дня и воплощеніемъ дѣйствительно переживаемыхъ думъ.

Но по природѣ своей Пушкинъ былъ мало расположенъ къ политикѣ дня, хоть условія его личной жизни, а главнымъ образомъ условія русской дѣйствительности, поддерживали въ немъ этотъ юношескій пламень. Политическая буря 1825 года прошла мимо него, и онъ былъ возвращенъ изъ ссылки съ воцареніемъ Императора Николая Павловича. Въ исторіи жизни и творчества поэта начался новый періодъ—самый зрѣлый. Настроеніе стало эстетически-спокойнымъ и поэтическій кругозоръ все расширялся. Простонародный бытъ, бытъ помѣщичій, въ деревнѣ или въ столицѣ, событія внѣшней политики, національный вопросъ, зарождающійся споръ между старой и новой Россіей, литературныя событія дня, все вошло въ кругъ его поэзіи. Прибавимъ къ этому картины изъ прошлой русской жизни—эпоху Бориса, Петра, Екатерины, не забудемъ, что, покидая на время родную почву, Пушкинъ успѣлъ создать такіе художественные памятники, имѣющіе общечеловѣческое значеніе, какъ „Каменный гость“, „Моцартъ и Сальери“ и „Скупой Рыцарь“;—что будучи поэтомъ, онъ былъ въ то же время историкомъ, редакторомъ литературнаго журнала, что онъ первый помышлялъ у насъ о политической газетѣ и много хлопоталъ о ней—мы должны будемъ признать, что рѣдко можно найти человѣка, духовные интересы котораго были бы такъ широки. Но Пушкинъ не весь въ тѣхъ словахъ, которыя имъ сказаны во всеуслышанье. Чтобы оцѣнить вполнѣ широту его образованія и его ума, для этого нужно познакомиться съ тѣмъ, что сохранено о немъ, его жизни и его бесѣдахъ въ воспоминаніяхъ и запискахъ современниковъ, и также въ его собственныхъ письмахъ. Изучая этотъ матерьялъ, мы видимъ, какъ этотъ человѣкъ, сохраняя спокойствіе художника въ своемъ творчествѣ, ревниво, страстно и безпокойно относился къ „суетѣ“ жизни. Неда-

ромъ онъ всю свою жизнь, въ глазахъ ревностныхъ охранителей порядка, считался опаснымъ человѣкомъ; эти опасенія были, конечно, совершенно излишни, такъ какъ юношескій либерализмъ поэта давно выдохся и никакой оппозиціи, явной или тайной, онъ господствующей власти не оказывалъ и не хотѣлъ оказать: если чего опасались, такъ это его свѣтлаго ума, о которомъ знали, что онъ видитъ многое, и его рѣзкаго остроумнаго слова, которое при случаѣ не кстати могло сорваться.

Считать Пушкина слѣпымъ поклонникомъ своего времени—нельзя, какъ нельзя назвать его и строгимъ судьей своей эпохи. Его поэзія возносилась высоко надъ дѣйствительностью или уходила отъ нея на далекое разстояніе въ прошлое. О своемъ времени она говорить не любила и это потому, что при всей своей способности возсозданія жизни, Пушкинъ былъ все-таки субъективенъ какъ художникъ. Онъ бралъ изъ жизни только тотъ матерьялъ, который будилъ въ немъ чисто эстетическое чувство. Онъ въ своемъ творчествѣ смотрѣлъ на міръ только какъ художникъ, почему многое въ окружавшей его обстановкѣ и не вошло въ его поэтическій кругозоръ.

При безпристрастной оцѣнкѣ поэта какъ таковаго, надо имѣть въ виду то, что онъ даетъ, а не то, что въ его поэзіи отсутствуетъ: произносить судъ надъ его поэзіей надо, становясь на его точку зрѣнія и считаясь съ его вкусами. Но когда судишь объ его творчествѣ, какъ объ историческомъ памятникѣ, и когда самъ поэтъ является истолкователемъ извѣстной исторической эпохи, то указаніе на недочеты въ его міросозерцаніи, на отсутствіе вѣрной оцѣнки окружающей его жизни — вполнѣ умѣстны и ничуть не унижаютъ его творчества.

Такъ и Пушкина неоднократно упрекали въ томъ, что картина русской жизни, какъ она дана въ его произведеніяхъ, страдаетъ неполнотой, такъ какъ, касаясь многихъ вопросовъ, связанныхъ съ нашей жизнью, поэтъ не равномѣрно оттѣнялъ въ нихъ всѣ ихъ стороны. Говорили, что показная сторона жизни привлекала его больше, чѣмъ слѣдуетъ, что его взглядъ на нашу будущность и на наше настоящее былъ недостаточно мотивированъ въ своемъ оптимизмѣ, что внѣш-

ній блескъ свѣтскаго круга, въ которомъ поэтъ вращался, внѣшній успѣхъ Россіи среди другихъ державъ, ея физическая сила и внѣшній порядокъ, который царилъ внутри, помѣшали ему заглянуть поглубже, сознать и высказать свое мнѣніе о тѣхъ многихъ аномаліяхъ, которыя таились въ этой урегулированной жизни. Упрекали его въ томъ, что его патріотизмъ, его любовь къ Россіи страдали отсутствіемъ трезвой критики, что, дворянинъ до мозга костей,—онъ слишкомъ покровительственно и сентиментально смотрѣлъ на простонародье, что, поклонникъ свободы въ теоріи, онъ недостаточно протестовалъ противъ разныхъ формъ произвола, которыя существовали на практикѣ. Всѣ эти упреки справедливы, и Пушкинъ можетъ раздѣлить ихъ со многими наиболѣе культурными и образованными людьми своего вѣка, во главѣ которыхъ мы должны поставить его, какъ лучшаго представителя: онъ былъ дѣйствительно типичнымъ выразителемъ идей и чувствъ высшаго русскаго интеллигентнаго класса, который тогда не любилъ торопиться въ своихъ мнѣніяхъ и судѣ надъ жизнью.

Когда мы теперь, въ началѣ XX-го вѣка, послѣ поэзіи Лермонтова и Некрасова, послѣ всѣхъ тѣхъ картинъ русской жизни, которыя даны намъ въ сочиненіяхъ Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Толстого, Островскаго и другихъ,—возвращаемся, къ поэзіи Пушкина, насъ поражаетъ ея безстрастность... Взглядъ поэта на жизнь художественно спокоенъ, и нѣтъ раздвоенія въ его душѣ. Нѣтъ рефлектирующей, самоистязующей мысли, и отзвуки вѣчнаго трагическаго спора идеала и дѣйствительности почти не слышны въ горней сферѣ его поэзіи.

Время Пушкина—это пока еще ранняя заря нашей сознательной жизни. Лучи свѣта озарили пока только однѣ вершины общества; что творилось внизу—было покрыто туманомъ. Эта тьма рѣдѣла лишь постепенно, и много разочарованій готовила русская жизнь тѣмъ людямъ, которые судили о ней, стоя на этихъ освѣщенныхъ вершинахъ. Всѣ эти люди съ Пушкинымъ во главѣ, были наполнены глубокой любовью къ Россіи, но конечно они ее недостаточно знали; воспитаніе, которое они получили съ дѣтства, избранный интелли-

гентный кругъ, въ которомъ они вращались, привычка судить о жизни съ самыхъ общихъ точекъ зрѣнія, сентиментальные идеалы, завѣщанные имъ предшествующимъ поколѣніемъ, внѣшній успѣхъ Россіи и, наконецъ, сильная и энергичная личность Императора Николая Павловича, въ котораго они вѣрили, все поддерживало въ ихъ сердцѣ оптимистическій взглядъ не только на будущее, но и на настоящее. Для того чтобы этотъ оптимизмъ поколебался или, по крайней мѣрѣ, былъ подвергнутъ строгому испытанію, для этого нужно было, чтобы громче заговорила сама жизнь въ лицѣ разныхъ своихъ представителей, вышедшихъ изъ разныхъ ея слоевъ, а также, чтобы писатель, изображавшій эту жизнь, отнесся съ большой строгостью къ ея содержанію. Такъ дѣйствительно и случилось впослѣдствіи, когда ряды русскихъ писателей стали пополняться, когда каждый изъ этихъ писателей приносилъ съ собою богатый запасъ живого матерьяла, собраннаго со всѣхъ концовъ Россіи и во всѣхъ слояхъ общества, и когда строгая безъ прикрасъ правда жизни получила въ глазахъ писателя такую высокую цѣну.

Пушкинъ только начиналъ эту работу; самый тяжелый трудъ выпалъ на долю его послѣдователей, тѣхъ самыхъ, которые центръ своихъ интересовъ перенесли со своей личности художника на разнообразье всей раскинувшейся вокругъ нихъ жизни.

Такое самосознанье въ литературѣ развивалось, конечно, въ ущербъ душевному покою писателя.

Много и часто было говорено о томъ, что Пушкинъ и его поколѣніе относились съ аристократическимъ презрѣніемъ къ непросвѣщенной толпѣ, которая ихъ окружала. Имъ дѣлали упрекъ въ отсутствіи широкого и правильнаго пониманія той гражданской и культурной роли, которую поэтъ призванъ играть среди своего народа. Въ этихъ упрекахъ малое зерно истины; слово „толпа“ въ устахъ Пушкина и его сверстниковъ никогда не означало „народной массы“, „народа“, стоявшаго на соціальной лѣстницѣ ниже того сословія, къ которому принадлежалъ поэтъ. Презрѣннымъ именемъ толпы Пушкинъ клеймилъ всѣхъ враговъ всего возвышеннаго въ жизни—рабовъ пошлости, суеты, людей,

презирающихъ всякую мысль и чувство, которыя возвышаютъ человѣка надъ данной минутой и освобождаютъ его отъ слѣпого служенія ей;—и Пушкинъ былъ правъ въ своемъ презрѣніи къ такимъ людямъ. Русскій народъ къ этой „толпѣ“ причисленъ не былъ, и самъ поэтъ неоднократно черпалъ матеріалъ для своей поэзіи изъ народной жизни и народнаго творчества.

Но тѣмъ не менѣе, связь между поэтомъ и его народомъ была въ тѣ годы не такой тѣсной, какой она стала потомъ, когда общественная солидарность между отдѣльными классами общества развилась и повысилась.

Отличительный признакъ правильно функціонирующей народной жизни — солидарность интересовъ всѣхъ соціальныхъ группъ, входящихъ въ составъ этой народности. Такая солидарность мыслима лишь при взаимномъ пониманіи и при извѣстномъ равенствѣ умственнаго и нравственнаго развитія. До этого идеала далеко, но жизнь идетъ впередъ, и мы на эту дорогу вступили.

Сознаніе одной общей національной жизни—жизни, которая была бы скрѣплена не одной внѣшней силой и внѣшнимъ порядкомъ, а покоилась бы на согласіи интересовъ, на взаимномъ вниманіи и уваженіи всѣхъ—вотъ одна изъ главныхъ гуманныхъ идей, которая двигала и двигаетъ передовыми людьми нашего общества. Среди этихъ людей стоятъ и наши писатели. Понятно, что по мѣрѣ того, какъ эта идея все болѣе и болѣе проникала въ жизнь, по мѣрѣ того, какъ она требовала отъ человѣка все болѣе и болѣе энергичной и интенсивной борьбы съ тѣми условіями внѣшней и внутренней жизни, которыя съ этой идеей враждовали,—росло въ писателѣ и сознанье своей нравственной отвѣтственности передъ обществомъ, и прежній самодовольный покой ума и сердца былъ въ немъ нарушенъ.

2. Поэтическій талантъ Пушкина развился очень быстро. Въ 1820-мъ году, когда поэма „Русланъ и Людмила“ увидѣла свѣтъ, двадцатилѣтній юноша былъ уже вождемъ цѣлаго молодого литературнаго поколѣнія, передъ которымъ старики съ почтеньемъ посторонились.

Такимъ раннимъ развитіемъ поэтъ былъ обязанъ, конечно, прежде всего необычайно счастливымъ условіямъ, въ какихъ протекали его дѣтство и юность. Семья, въ которой онъ выросъ, была не только знатной и относительно богатой, но—что важнѣе—очень интеллигентной семьей: образованіе въ широкомъ смыслѣ и искусство цѣнились въ ней высоко, во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ служебное положеніе—предметъ страстей и желаній большинства изъ нашихъ тогдашнихъ аристократическихъ семей. И питомецъ этой семьи—нашъ поэтъ—получилъ по наслѣдству это уваженіе къ богатству духовному, которому онъ отдавалъ всегда предпочтеніе передъ всякимъ инымъ. Онъ сознавалъ и цѣнилъ себя высоко какъ художника и работника на нивѣ умственной, за что, какъ извѣстно, въ своемъ кругу ему приходилось страдать не мало. Аристократы по положенію не всегда готовы были склониться передъ аристократомъ по вдохновенію и потому заставляли нашего поэта иногда слишкомъ рѣзко подчеркивать свои права на родовитость и знатность. Часто упрекали Пушкина за его дворянскую спесь и гордыню, забывая, что эти непріятныя рѣчи въ устахъ поэта были самообороной художника, въ извѣстномъ кругу недостаточно признаннаго.

3. Дѣтство свое Пушкинъ провелъ въ Москвѣ и въ родной деревнѣ, въ близкомъ общеніи съ тѣми слоями народа, о которыхъ русскій писатель тогда мало думалъ. Нельзя сказать и про Пушкина, что онъ объ этихъ слояхъ думалъ много, но случай заставилъ его, и въ дѣтствѣ, и въ юности долго жить съ ними одной тѣсной жизнью. Глубокой душѣ поэта рано открылись неприглядная красота народной жизни, ея религіозный смыслъ, нравственная выдержка и нравственное чутье, сохранившіеся вопреки развращающимъ внѣшнимъ условіямъ, въ которыхъ жила эта народная масса.

Одиннадцати лѣтъ, въ 1811 году, мальчикъ былъ отданъ въ Царскосельскій лицей—закрытое учебное заведеніе, аристократическое и привилегированное. По мысли Императора, лицей долженъ былъ стать разсадникомъ государственныхъ мужей, и онъ оправдалъ эти надежды. Онъ былъ серьезной школой, хорошо приноровленной

къ тому, чтобы всесторонне воспитать и развить способности своихъ воспитанниковъ. Культъ искусства въ лицеѣ процвѣталъ пожалуй больше, чѣмъ культъ науки. Если лицей далъ родинѣ многихъ выдающихся государственныхъ дѣятелей, то еще болѣе славныя литературныя имена записалъ онъ въ свои лѣтописи. Пушкинъ былъ не изъ первыхъ учениковъ по успѣхамъ. Его горячая, съ примѣсью африканской, кровь, его темпераментъ поэта и размахъ мечты мало согласовались съ усидчивой выдержкой, которая необходима для успѣшной научной работы. Но лицей все-таки заставилъ Пушкина работать надъ собой, и много работать. Среди профессоровъ были люди съ философскимъ и широкимъ литературнымъ образованіемъ; среди товарищей—много лицъ съ умственными интересами и большой любовью къ художественному творчеству, наконецъ, среди знакомыхъ—самые выдающіеся писатели того времени. Мальчикъ быстро расширялъ кругъ своего литературнаго чтенія, и французская, нѣмецкая и англійская словесность подняли его скоро до уровня европейски образованнаго человѣка. Конечно, глубины въ этомъ образованіи не было, была одна только широта, но она-то именно и дѣйствовала благотворно на развивающійся съ непомѣрной быстротой художественный талантъ Пушкина.

Литературное чтеніе въ лицеѣ обогатило его массой отраженныхъ впечатлѣній жизни, въ ожиданіи, что они будутъ дополнены прямымъ его вмѣшательствомъ въ ея теченіе. Такъ и случилось, когда въ 1817 году Пушкинъ былъ выпущенъ изъ лицея. Правда, онъ пошелъ „на службу“, но она, кажется, совсѣмъ его не стѣсняла, и онъ смотрѣлъ на нее, какъ на придатокъ къ тому, чему онъ тогда служилъ на самомъ дѣлѣ. А служилъ онъ своему таланту, который пользовался каждымъ днемъ, чтобы запасаться новыми впечатлѣніями. Общественное положеніе семьи Пушкина, лицейскій дипломъ, привлекательность и талантливость его личности, относительный достатокъ—облегчали ему его движеніе и круженіе во всевозможныхъ кругахъ того времени и ознакомленіе съ тѣмъ богатымъ запасомъ идей и чувствъ, какимъ въ началѣ XIX столѣтія жило наше интеллигентное общество. Указывалось часто на разсѣянный образъ

жизни, какой Пушкинъ велъ по выходѣ изъ лицея; онъ жилъ, дѣйствительно, жизнью шумной; свѣтскія развлеченія, салонные обряды, холостое веселье со всѣми принятающимися нескромными удовольствіями—все это брало много времени, но въ концѣ концовъ все шло на пользу поэтической души и вдохновенія. Не надо забывать также, что въ этотъ періодъ разсѣянныхъ увлеченій Пушкинъ былъ уже хоть и незначительной пока, но все-таки литературной силой, которая въ разныхъ литературныхъ кружкахъ и обществахъ съ успѣхомъ выступала. Талантъ однако требовалъ все-таки извѣстной экономіи силъ и, вѣроятно, онъ пострадалъ бы въ концѣ концовъ отъ такого лирическаго безпорядка жизни, если бы случай не озаботился дать поэту необходимую передышку. Въ своей погонѣ за всевозможными мыслями, впечатлѣніями и ощущеніями, Пушкинъ попалъ въ полосу не столько идейнаго, сколько сентиментальнаго увлеченія политическими вопросами и въ обнаруженіи этого увлеченія не соблюдалъ должной мѣры. Въ 1820 году его сослали на югъ въ довольно почетную ссылку, которая неожиданно оборвала одинъ періодъ его развитія, какъ поэта, но зато тотчасъ же направило его творчество по новому пути.

Все, что Пушкинъ создалъ въ лицеѣ и въ первые три года своей вольной жизни, теперь значительно устарѣло, но въ то время было литературнымъ событіемъ, съ которымъ современники считались какъ съ многообѣщающимъ словомъ. Опредѣлить историческую цѣнность „лицейскихъ“ стихотвореній и другихъ стиховъ Пушкина первыхъ годовъ его творчества не такъ легко: только подробное ознакомленіе съ литературными теченіями того времени позволяетъ установить ее. Эта стоимость—временная, а не вѣчная, какую имѣютъ истинно художественныя созданія.

Первая и неизбѣжная черта этого юношескаго творчества—смѣшеніе въ немъ самыхъ разнообразныхъ стилей. Поэтъ учится на хорошихъ образцахъ, но какъ ученикъ съ громаднымъ талантомъ онъ не подражаетъ слѣпо (за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда просто переводитъ), а старается пережить съ любимымъ авторомъ настроенія, которыя ему открылись. Перечислять эти

образцы, къ которымъ Пушкинъ приглядывался,—нѣтъ нужды; всѣ самые видные художники западные (преимущественно англійскіе и французскіе), классическаго стиля и сентиментальнаго интересовали Пушкина и были безспорно предметомъ добросовѣстнаго изученія, судя по тому, какъ умѣло онъ усвоилъ ихъ манеру письма и ихъ пріемы мастерства. Изъ русскихъ писателей можно указать на Державина, Богдановича, Жуковскаго, Батюшкова и Карамзина, слѣды вліянія которыхъ остались на этихъ первыхъ опытахъ Пушкина.

Намъ нѣтъ, впрочемъ, необходимости устанавливать зависимость раннихъ стихотвореній Пушкина отъ произведеній того или другого автора, достаточно будетъ обозрѣть въ его цѣломъ то міросозерцаніе, которое въ нихъ открывается. Оно, конечно, юношеское, неглубокое, частями напѣтанное чтеніемъ, но оно облечено въ красивую форму, которая указываетъ уже на силу поэтическаго чувства, необычайно быстро зрѣющаго.

Религіозныхъ мотивовъ въ этихъ раннихъ стихахъ Пушкина—нѣтъ: наоборотъ, встрѣчается нерѣдко очень поверхностное, шутливое отношеніе къ этому порядку чувствъ, которыя, скажемъ кстати, очень глубоко коренились въ душѣ поэта. Что въ эти юные годы Пушкинъ, вопреки тогдашней сентиментальной модѣ, оставался холоденъ къ религіознымъ мотивамъ—то это объясняется вольнодумнымъ, извнѣ усвоеннымъ направленіемъ, вычитаннымъ изъ французскихъ авторовъ XVIII вѣка,—которые были въ большемъ почетѣ и въ его родной семьѣ и въ кругу его знакомыхъ. Пушкинъ зналъ эту просвѣтительную литературу лучше, чѣмъ всѣ его сверстники. Онъ былъ однако не менѣе ихъ предрасположенъ къ мечтательному настроенію, и не избѣгъ „томленія души“, столь характернаго для его сентиментальнаго вѣка.

Но, поплакавъ надъ ранней своей могилой, надъ мимолетной радостью, обманами любви въ ея быстромъ бѣгѣ, погрустивъ при „оссіановской“ лунѣ и воздавъ должную хвалу одиночеству, — Пушкинъ возвращался къ излюбленнымъ своимъ ощущеніямъ жизнерадостнымъ и игривымъ, къ которымъ по природѣ былъ склоненъ и въ которыхъ его поддерживала вокругъ него кипѣв-

шая жизнь, въ тѣ годы юношески довѣрчивая и вѣрующая въ счастье. Такихъ жизнерадостныхъ настроеній въ раннихъ стихахъ Пушкина очень много, и они чрезвычайно разнообразны. По примѣру французскихъ поэтовъ XVIII вѣка, а также непосредственно подъ вліяніемъ латинскихъ лириковъ, которыхъ онъ почитывалъ внимательно, Пушкинъ низвелъ въ своихъ стихахъ на землю весь веселый Олимпъ и преимущественно, конечно, Вакха и Киприду. Мастеръ былъ онъ и любовныхъ, и застольныхъ пѣсенъ, веселыхъ посланій и шутокъ въ стихахъ, эпиграммъ и экспромптовъ. Иногда это веселье становилось совсѣмъ холостымъ, и большая нескромность облекалась тогда въ красивую форму.

Но были и серьезныя темы въ раннихъ стихахъ Пушкина. Отечественная война наводила его на возвышенныя патріотическія и историческія думы. Патріотизмъ военный былъ тогда въ большемъ ходу, и послѣ только что одержанныхъ побѣдъ надъ Наполеономъ нельзя было требовать отъ этого патріотизма какого-нибудь критическаго самосознанія. Онъ самонаслаждался, и Пушкинъ въ этомъ поддерживалъ его своими стихами. Много красивыхъ стиховъ написалъ онъ во славу Императора и побѣдоноснаго войска и много патетическихъ на тему объ упавшемъ гигантѣ.

Но этотъ патріотизмъ, что очень характерно для юнаго, жизнерадостнаго весельчака, иногда,—правда, не надолго и неожиданно,—отъ военныхъ темъ переходилъ къ темамъ гражданскимъ и обнаруживалъ тогда способность какъ будто трезвой оцѣнки столь повидимому успокоительной дѣйствительности.

Много было заимствованнаго, но кое-что и оригинальнаго въ раннемъ періодѣ творчества Пушкина. Когда поэтъ списывалъ съ натуры картинки природы и попадавшіеся на глаза силуэты изъ русской жизни (въ родѣ, напр., „Казака“ и „Гусара“); когда онъ писалъ свои личныя воспоминанія (напр., о „Деревнѣ“) или писалъ откровенныя посланія (напр., „Къ Галичу“, „Къ Батюшкову“, „Къ Чаадаеву“) или пѣлъ свои веселыя застольныя пѣсни,—онъ былъ почти что самостоятеленъ. Ни развитіе сюжета, ни фактура стиха не указывали ни на какого учителя. Но въ общемъ ранніе стихи Пушкина—

конечно, звучный отголосокъ лучшихъ образцовъ западной словесности классическаго и сентиментальнаго стиля. Свой собственный стиль пока еще только вырабатывался *).

4. Для каждаго молодого поэта мысль написать нѣчто крупное, сочиненіе почтенныхъ размѣровъ — одна изъ самыхъ заманчивыхъ мыслей.

Трудность выполненія широкаго поэтическаго замысла не сразу ясна начинающему писателю, и біографія любого поэта показываетъ намъ, какъ много такихъ широкихъ плановъ, задуманныхъ въ юности, остаются невыполненными. И у Пушкина рано родилось желаніе написать что-нибудь „достойное" поэта или во всякомъ случаѣ болѣе достойное, чѣмъ мелкіе стихи, какихъ онъ успѣлъ написать уже не малое количество.

---

*) Читать всѣ юношескіе стихи Пушкина подрядъ значило бы ослабить ихъ впечатлѣніе; и потому необходимо выбрать изъ нихъ лишь наиболѣе характерныя.

Интимныя чувства, несомнѣнно, пережитыя поэтомъ, очень отчетливо отразились на слѣдующихъ стихотвореніяхъ: „Опытность" 1814. „Блаженство" 1814. „Къ Батюшкову" 1814. „Къ Батюшкову" 1815. „Посланіе къ кн. А. М. Горчакову" 1815. Элегія: „Опять я вашъ" 1816. „Къ Жуковскому" 1817. „Безвѣріе" 1817. „Упоеніе" 1819. „Мнѣ бой знакомъ" 1820.

О внѣшнемъ образѣ жизни поэта даютъ вѣрное понятіе стихотворенія: „Пирующіе студенты" 1814. „Городокъ" 1814. „Воспоминанія въ Царскомъ селѣ" 1815. „Разлука" 1817.

Стиль сентиментальный общеевропейскаго типа хорошо сохраненъ въ стихахъ: „Мечтатель" 1815. „Желаніе" 1815. Элегія: „Счастливъ, кто въ страсти" 1816. „Окно" 1815.

Попытки обработать русскія темы въ стилѣ, взятомъ изъ образцовъ иностранной словесности, даны въ стихахъ: „Романсъ" 1814. „Русалка" 1819.

Хорошее возсозданіе античнаго стиля дано въ стихахъ: „Гробъ Анакреона" 1815. „Фіалъ Анакреона" 1816. „Торжество Вакха" 1817.

Очень важны стихи, въ которыхъ впервые прорывается у поэта желаніе произнести свой судъ надъ общественнымъ и политическимъ положеніемъ родины. Къ такимъ относятся: „Къ Чаадаеву" 1818. „Деревня" 1819. Ода „Вольность" 1817. „На Аракчеева" 1820.

Какъ на наиболѣе совершенные стихи по отдѣлкѣ и по выдержанности настроенія, стихи, въ которыхъ чувствуется уже мастеръ формы внѣшней и внутренней, можно указать на стихотворенія: „Сраженный рыцарь" 1815. „Пуншевая пѣсня" (изъ Шиллера) 1816. „Пѣвецъ" 1816. „Возрожденіе" 1819.

Художественный инстинктъ заставилъ молодого поэта взяться за тему, которая была тогда вполнѣ въ его средствахъ, за тему широкую по размѣру, но совсѣмъ не глубокую по мысли. Началъ Пушкинъ работу надъ этимъ первымъ своимъ крупнымъ произведеніемъ еще въ лицеѣ и закончилъ его въ 1820 году. Это была столь извѣстная поэма „Русланъ и Людмила". Ее и въ настоящее время прочитать пріятно въ виду необычайной граціозности стиха, какимъ она написана, и въ виду отдѣльныхъ вставокъ и отступленій, въ которыхъ молодой поэтъ обнаружилъ большое остроуміе и игривую наблюдательность.

Въ исторіи развитія творчества Пушкина „Руслану" принадлежитъ роль очень видная.

Теперь доказано, что все содержаніе этой поэмы въ общемъ и даже въ частностяхъ взято Пушкинымъ изъ очень распространенныхъ въ его время разсказовъ и романовъ съ фантастическимъ колоритомъ. Поэтъ ничего не выдумывалъ, не „сочинялъ", а просто пересказывалъ ходячія сказки, которыя онъ вдобавокъ подслушалъ не у простого народа, а у книжниковъ.

Естественъ вопросъ—какую же цѣну такой пересказъ могъ имѣть въ глазахъ поэта, стремившагося создать нѣчто „достойное" и „крупное"?

Сознавалъ ли самъ поэтъ всю несамостоятельность своего произведенія? и почему никто изъ критиковъ не указалъ тогда еще на полную зависимость этого произведенія отъ общеизвѣстныхъ романовъ, и почему, наконецъ, „Русланъ" былъ такъ восторженно всѣми принятъ, такъ восторженно, какъ пожалуй ни одно изъ произведеній Пушкина? Дѣло въ томъ, что и завязка и развязка поэмы имѣли совершенно второстепенное значеніе, и для поэта, и для читателя. Самое главное въ ней и самое для того времени цѣнное было ея настроеніе, настроеніе, положимъ, тоже не новое, но впервые получавшее художественное облаченіе. Поэма была написана въ *мажорномъ* тонѣ, и этотъ мажорный тонъ, дополнявшій тотъ сентиментальный, минорный, который такъ художественно былъ выраженъ Жуковскимъ, теперь, въ поэмѣ Пушкина, являлся съ требованіемъ полнаго своего признанія въ искусствѣ. Онъ получалъ

права гражданства въ изящной литературѣ, права, которыхъ онъ раньше не имѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, если въ тѣ годы печальная сторона нашей жизни была такъ мелодично выражена у Жуковскаго, то гдѣ мы найдемъ такое же выраженіе ея веселой стороны до „Руслана"?

„Русланъ" былъ жизнерадостный гимнъ въ хвалу Провидѣнья, въ честь земныхъ радостей и благъ и всяческихъ доблестей человѣка, которыя должны ему дать желанное и заслуженное счастье. Вся поэма — пѣснь любви, отъ любви родительской вплоть до любви мечтательной и безпредметной.

И это пѣснь любви торжествующей, одерживающей побѣду надъ всѣми испытаніями. Правда, рядомъ съ этимъ мотивомъ любви, готовой на жертвы, въ поэмѣ слышится пѣсня любви очень игривой и нескромной,— но вѣдь и этотъ видъ любви одно изъ законныхъ веселій жизни.

Мораль поэмы, если уже говорить непремѣнно о морали (а о ней въ тѣ годы художникъ очень много думалъ),—проведена необычайно послѣдовательно и ярко. Она—въ торжествѣ всѣхъ видовъ добра надъ всѣми видами зла: торжество свободнаго чувства надъ насиліемъ, свѣтлыхъ духовъ надъ злыми, истинной храбрости надъ ложью, торжество даже запоздалой справедливости надъ преступленіемъ (какъ въ сценѣ съ головою). Наконецъ, поэма — пѣснь во славу истиннаго русскаго рыцаря безъ страха и упрека, своего рода русскаго Баярда, неустрашимость, честность и величіе котораго пріобрѣтаютъ ему симпатіи всѣхъ инородцевъ отъ финна до хазарскаго хана. Самымъ безбрежнымъ оптимизмомъ и жизнерадостностью проникнута эта юношеская поэма. Недаромъ она послужила какъ либретто для музыки самой веселой, которая когда-либо была написана, такъ какъ передъ бравурнымъ весельемъ оперы Глинки блѣднѣетъ веселье и Моцарта, и Россини.

Понятно, почему всѣ были безъ ума отъ „Руслана". Всѣмъ хотѣлось имѣть полное и художественное выраженіе того чувства довѣрія къ жизни, которымъ столь многіе, въ особенности юныя сердца, были тогда переполнены. Если поэзія Жуковскаго оттѣняла нѣжную

меланхолическую сторону религіознаго и примиреннаго съ людьми сентиментальнаго міросозерцанія, если поэзія, подкрашенная подъ античную, рядомъ съ весельемъ очень настойчиво подчеркивала печальныя стороны бытія, то такая игривая поэзія, какъ поэзія молодого Пушкина, была выраженіемъ кипучей воли къ жизни, полной силъ, выраженіемъ жажды счастья, полной довѣрія къ себѣ и людямъ.

Конечно, и Пушкину случалось впадать въ хандру, когда ему міръ становился не милъ (есть очень искреннія слова на эту тему въ его юношескихъ стихотвореніяхъ); случалось ему по примѣру иноземнаго образца или со словъ Жуковскаго пропѣть иной разъ очень печальную пѣсню, но общій тонъ его юношескихъ стихотвореній и въ особенности тонъ „Руслана",—въ которомъ эта юность поэта высказала свои самыя задушевныя чувства,—жизнерадостный мажорный тонъ, иногда легкомысленный и шаловливый, но въ общемъ серьезный въ томъ смыслѣ, что онъ былъ вполнѣ искрененъ и отражалъ правду души поэта.

5. Особую форму приняла эта жизнерадостность Пушкина въ его знаменитыхъ „вольнолюбивыхъ" стихахъ, которыя сыграли такую фатальную роль въ его жизни. Много объ этихъ стихахъ спорили; въ нихъ хотѣли видѣть неопровержимое доказательство зрѣющей общественной мысли Пушкина, мысли явно оппозиціонной и либеральной. Существовало и обратное мнѣніе, которое эти безспорно либеральные и боевые стихи ставило на счетъ легкомыслія поэта и простого озорства. Вѣрнѣе будетъ, если мы ихъ объяснимъ живостью его веселаго настроенія и его довѣрчиваго взгляда на жизнь. Смѣлость бываетъ двухъ родовъ: смѣлость, знающая съ кѣмъ и съ чѣмъ она имѣетъ дѣло, и смѣлость, не угадывающая силы врага, противъ котораго воюетъ. Эту послѣднюю смѣлость часто обнаруживаютъ люди веселые по темпераменту и полные вѣры въ жизнь, тогда какъ смѣлость испытанная всегда налагаетъ нѣкоторую печать сосредоточенной грусти на міросозерцаніе человѣка. У Пушкина въ его политическихъ словахъ и выходкахъ такой сосредоточенности незамѣтно: все больше порывы филантропи-

ческой надежды или вспышки кипучаго веселья и веселой смѣлости, выражающіяся въ забрасываніи противника эпиграммами; или, наконецъ, подъемъ духа до яснаго вызова, тѣмъ болѣе смѣлаго, чѣмъ болѣе онъ неожиданъ, чѣмъ болѣе онъ ласкаетъ въ человѣкѣ самолюбивую мечту о собственной его силѣ.

Поэтъ могъ закончить мирную идиллію „Деревня"— сентиментальнымъ пожеланіемъ скорѣйшаго раскрѣпощенія народа:

Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее тащится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ,
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя;
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя;
Опора милая старѣющихъ отцовъ,
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
О, если-бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Онъ могъ въ шутливую минуту заострить рядъ эпиграммъ противъ Аракчеева и попутно противъ Карамзина, котораго онъ очень любилъ и уважалъ; онъ могъ бравурничать въ театрѣ и показывать портретъ убійцы герцога Беррійскаго, проявляя этимъ актомъ вовсе не симпатіи къ террору, а просто давая случайный исходъ своей веселой смѣлости.

Отчего ему было не помечтать о какомъ-нибудь истинно героическомъ подвигѣ, очень смѣломъ, очень головоломномъ, хотя, конечно, неясномъ въ своихъ очертаніяхъ,—и тогда онъ могъ сказать, и, вѣроятно, воодушевленно сказать Чаадаеву:

Любви, надежды, гордой славы
Недолго тѣшилъ насъ обманъ:
Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипятъ еще желанья:
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья,
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души прекрасные порывы.
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья;
Россія вспрянетъ ото сна
И на обломкахъ самовластья
Напишетъ наши имена.

Можно было также, будучи еще совсѣмъ юнымъ, еще сидя на школьной скамьѣ (1817), сочинить по всѣмъ правиламъ одописанія—оду „Вольности“ и обнаружить въ этой одѣ большой подъемъ поэтическаго настроенія и очень малый подъемъ политической мысли. Можно было одновременно грозить царямъ—и тѣмъ, которые ихъ сводили съ престола, призывать Брута и Андрея Шенье, плакать объ участи Людовика XVI, проклинать Наполеона и задумчиво глядѣть на замокъ, въ которомъ жилъ императоръ Павелъ I.

Можно было попутно переложить въ стихи и Монтескье:

Увы, куда ни брошу взоръ,
Вездѣ бичи, вездѣ желѣзы,
Законовъ гибельный позоръ,
Неволи немощныя слезы.
Вездѣ неправедная власть
Въ сгущенной мглѣ предразсужденій,

Вездѣ неволи грозный геній,
И къ славѣ роковая страсть.
Лишь тамъ. . . . . .
Не слышится людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностью святой
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ твердый щитъ,
Гдѣ сжатый вѣрными руками,
Гражданъ надъ равными главами,
Ихъ мечъ безъ выбора скользитъ.
Гдѣ преступленье свысока
Сражаетъ праведнымъ размахомъ,
Гдѣ неподкупна ихъ рука
Ни къ злату алчностью, ни страхомъ.
. . . . . .

Всѣ подобные стихи можно было написать и разныя вольныя выходки сдѣлать, повинуясь поэтическому впечатлѣнію, какое производитъ на всякаго чуткаго человѣка слова „вольность“ и „свобода“—слова, которыя всегда возбуждаютъ несравненно больше эмоцій, чѣмъ мыслей. Такъ волновался ими, вѣроятно, и молодой Пушкинъ,—въ тѣ годы большой весельчакъ и достаточно беззаботный юноша, геніальная натура, любующаяся своей геніальностью и смѣлая въ своемъ полномъ невѣдѣніи жизни. Ко всему этому нужно добавить, что въ то время, а именно, приблизительно до 1820 года,—либеральная мысль и либеральное слово носили на себѣ пока еще штемпель высочайшаго одобренія и потому не могли казаться уже столь дерзкими и свидѣтельствовать объ особенно вдумчивомъ отношеніи человѣка къ окружавшей его дѣйствительности.

Должно быть это обстоятельство и отвело отъ Пушкина тотъ жестокій ударъ, какимъ императоръ Александръ собирался его наказать когда узналъ, что юноша наговорилъ и какія выходки себѣ позволилъ. Царю было, конечно, неудобно ссылать Пушкина въ Сибирь или заточать въ Соловецкую обитель за то, что онъ на словахъ пошелъ дальше въ томъ направленіи, которое своимъ подданнымъ указалъ самъ властитель. И Пушкинъ былъ удаленъ изъ Петербурга на югъ.

6. Первый періодъ развитія таланта Пушкина закончился, и вмѣстѣ съ этимъ періодомъ заключена была

и особая глава въ исторіи развитія нашего словеснаго творчества.

Быстро созрѣвалъ новый художникъ, дарованіемъ своимъ сильнѣе всѣхъ, кто до него служилъ у насъ словесному искусству. Онъ былъ еще очень юнъ, этотъ поэтъ, но уже въ первыхъ своихъ стихахъ обнаружилъ поразительную способность откликаться на самыя разнообразныя впечатлѣнія жизни и съ одинаковой художественной полнотой передавать противорѣчивыя настроенія. Изъ нихъ одинъ порядокъ былъ особенно ему свойственъ и милъ его душѣ, а именно—всѣ тѣ настроенія и чувства, въ которыхъ выражалась жизнерадостность и жизнеспособность. На жизнь поэтъ смотрѣлъ пока бѣглымъ всеозираюшимъ взглядомъ, не задумываясь, но ловя новыя впечатлѣнія, которыхъ было такъ много и которыя онъ могъ ловить быстро, благодаря независимому и привилегированному своему положенію въ обществѣ. Онъ былъ крайне субъективенъ во всемъ, что онъ писалъ, онъ говорилъ только о томъ, какъ онъ относится къ картинѣ жизни, которая передъ нимъ стала развертываться, и если онъ иногда начиналъ критиковать эту жизнь и очень рѣзко выражался о нѣкоторыхъ ея сторонахъ, то онъ это дѣлалъ подъ наплывомъ настроенія мимолетнаго и также очень субъективнаго или подъ впечатлѣніемъ поэтичности той или другой идеи или чувства.

Во всей этой юношеской поэзіи совсѣмъ не было замѣтно пока никакой душевной тревоги, никакого разлада ума или сердца, ни одного изъ тѣхъ диссонансовъ, которые неизбѣжно должны получаться по мѣрѣ того какъ человѣкъ отъ созерцанія жизни и художественнаго наслажденія ею начинаетъ переходить къ наблюденію надъ ней и посильной ея оцѣнкѣ.

Судьба позаботилась о томъ, чтобы поскорѣй подвергнуть жизнерадостность Пушкина неожиданному испытанію.

IV. Первые художественные ростки русскаго романтизма.

1. Ссылка на югъ была испытаніемъ и для характера и темперамента Пушкина, и для его таланта. И надо признать, что и человѣкъ, и писатель выиграли немало отъ перемѣны обстановки. Самъ Пушкинъ вынужденъ былъ стать къ жизни въ совершенно новое положеніе, и слѣдствіемъ этого было обогащеніе его творчества новыми поэтическими мотивами.

Преувеличивать отрицательныя стороны „изгнанія" Пушкина не слѣдуетъ: ссылка была въ сущности почетной, а иногда совсѣмъ походила на прогулку. Въ кругу добрыхъ знакомыхъ, и очень интеллигентныхъ, Пушкинъ пожилъ на Кавказѣ, затѣмъ въ Крыму; потомъ попалъ въ Кишиневъ подъ надзоръ и начало очень мягкаго человѣка; изъ Кишинева дѣлалъ частыя экскурсіи, гостилъ у друзей въ деревнѣ и, наконецъ, былъ переведенъ на службу въ Одессу—какъ никакъ, въ столицу. Здѣсь, въ Одессѣ онъ велъ образъ жизни разсѣянный и вольный, и въ концѣ концовъ между нимъ и главнымъ его начальникомъ графомъ Воронцовымъ сложились такія отношенія, при которыхъ дальнѣйшая совмѣстная служба стала немыслимой. Пушкинъ былъ вторично сосланъ, на этотъ разъ съ юга на сѣверъ, въ свое родовое имѣнье Псковской губерніи.

Четыре года жизни на югѣ (1820—1824) для художника были, конечно, большимъ выигрышемъ. Онъ увидалъ

новую природу,—а онъ любилъ ее, и она его вдохновляла; онъ столкнулся съ массою новыхъ лицъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества,—лицъ, съ которыми онъ никогда бы не встрѣтился на сѣверѣ. Эти встрѣчи безспорно расширяли поэтическій кругозоръ художника. Наконецъ, на югѣ онъ очутился довольно близко отъ арены, на которой шла политическая борьба: по сосѣдству—борьба Греціи за независимость, а у насъ въ Россіи первая политическая агитація въ войскахъ южной арміи.

Конечно, и Кавказъ съ его преданіями и „вольной жизнью", его „свободой" стали для поэта новымъ источникомъ раздумья. Безспорно, что отъ всей этой новизны, и писатель, и человѣкъ много выигрывали. Но ссылка Пушкина имѣла и свои отрицательныя стороны, и отъ этихъ сторонъ, и писатель, и человѣкъ выиграли пожалуй еще больше.

Дѣло въ томъ, что ссылка нарушила душевное равновѣсіе поэта, подорвала въ немъ его благодушіе, довѣрчивое отношеніе къ людямъ и жизни, сильно минутами понижала его жизнерадостность и нерѣдко озлобляла его,—однимъ словомъ, она поколебала въ немъ то сентиментальное настроеніе, въ какомъ онъ былъ воспитанъ. Этотъ переломъ обогатилъ его психику новымъ движеніемъ чувствъ и мыслей и кромѣ того сдѣлалъ его очень воспріимчивымъ къ усвоенію такихъ настроеній, на которыя раньше онъ не могъ откликнуться.

Въ самомъ дѣлѣ, одно чувство не покидало его за все это время—совсѣмъ новое для него чувство обиды. Пушкинъ могъ считать себя невинно гонимымъ, такъ какъ онъ не совершилъ никакого государственнаго проступка, а либо выражалъ благія пожеланія, либо повторялъ то, что вокругъ него говорилось довольно громко и безнаказанно многими. Съ другой стороны, онъ не могъ не понимать, что во всемъ, что онъ говорилъ, онъ въ сущности былъ правъ, что онъ клеймилъ эпиграммой человѣка, заслуживающаго ее, что онъ декламировалъ противъ самовластья, которое тогда довольно гласно подвергалось очень серьезнымъ нападкамъ, что онъ взывалъ къ „вольности", которая, понимаемая хоть и въ туманномъ смыслѣ, вполнѣ заслуживала гимна, что

онъ наконецъ былъ вполнѣ лойяленъ въ своемъ либерализмѣ. Всѣ эти доводы будили въ поэтѣ чувство обиды, несмотря на легкія условія его ссылки. Вмѣстѣ съ чувствомъ обиды въ немъ возрастала и гордость. Изгнаніе льстило ему — это несомнѣнно. Оно возвышало его въ его собственныхъ глазахъ, и собственная его личность стала ему рисоваться въ болѣе яркихъ, колоритныхъ краскахъ, а потому и въ краскахъ серьезно-печальныхъ. Онъ сталъ ухаживать за своей личностью—чего онъ раньше не дѣлалъ, когда любилъ рисовать себя безпечнымъ веселымъ гостемъ на пиру у жизни. Тогда онъ все говорилъ о своемъ родствѣ съ Анакреонтомъ, съ Тибулломъ, Катулломъ и Парни; теперь онъ сталъ разыскивать другихъ родственниковъ — не столь легкомысленныхъ. Онъ вспоминалъ объ изгнанникѣ Овидіи и чтилъ въ немъ брата по несчастію; онъ любилъ говорить объ Андреѣ Шенье, котораго сказнили тираны, и когда ему въ руки попалъ, наконецъ, Байронъ, то естественно, что онъ нашелъ въ немъ настоящаго своего героя, въ котораго и влюбился.

Этотъ поворотъ отъ мимолетной тихой грусти, почти безпрерывнаго веселья и созерцанія жизни къ болѣе глубокой печали, къ любованію собой какъ личностью исключительной, незаслуженно оскорбленной и, стало быть, непонятой, къ раздумью надъ своимъ трагическимъ положеніемъ—происходилъ въ душѣ поэта медленно и упорно, прерываясь, впрочемъ, состояніями духа болѣе ровными и спокойными, и всего чаще состояніемъ человѣка влюбленнаго. Пушкинъ на югѣ былъ, дѣйствительно, влюбленъ хронически, но процессъ „омраченія души“ поэта продолжался и доходилъ иногда до острыхъ кризисовъ, и тогда Пушкинъ писалъ почти-что человѣконенавистническія письма (какъ напр., знаменитое его письмо къ брату Льву).

Въ развитіи этихъ мрачныхъ чувствъ и тревожнаго настроенія играли, быть можетъ, нѣкоторую роль мелочи жизни: какъ-то—скука въ минуты одиночества, служебная рутина, неизбѣжная возня съ людьми сѣрыми и пошлыми, непріязненныя отношенія съ графомъ Воронцовымъ, который въ своемъ неаккуратномъ чиновникѣ никакъ не хотѣлъ признавать поэта, и многое

другое, неизбѣжное во всякой жизни. Конечно, всѣ эти мелочи не сердили бы Пушкина въ такой степени раньше, когда онъ о себѣ былъ болѣе скромнаго мнѣнія и когда никто его не „гналъ“. Теперь каждый уколъ ощущался очень болѣзненно.

Ко всей этой личной исторіи, которая многое объясняетъ въ такъ называемомъ „байронизмѣ“ Пушкина, нужно добавить еще тѣ, чисто уже случайные, толчки, которые разныя историческія событія давали тогда его мысли и наводили ее на серьезныя и отнюдь не веселыя размышленія. Наслаждаясь картинами Кавказа, нельзя было не подумать о столкновеніи культуры съ первобытной вольной жизнью и пройти мимо самаго глубокаго родника пессимистической мысли. Узнавъ о смерти Наполеона, можно было также задуматься надъ міровой трагедіей. Нельзя было уберечь себя отъ мысли о „возстаніи“—когда оно совершалось по сосѣдству, въ Греціи. Наконецъ, нужно же было многое передумать послѣ долгой бесѣды съ П. И. Пестелемъ, прежде чѣмъ написать ему извѣстное привѣтствіе: „Снесемъ иль нѣтъ главу свою“.

Такимъ образомъ, и личная драма, и нѣкоторые эпизоды міровой драмы вызвали въ душѣ Пушкина ту бурю, которая его изъ мирнаго подражателя веселымъ классикамъ и сентименталиста сдѣлала на время „романтикомъ“.

2. Стихи, написанные Пушкинымъ за эти знаменательные годы его жизни, позволяютъ намъ вполнѣ отчетливо и ясно слѣдить за тѣмъ, какъ нарастало, крѣпло и улеглось въ немъ это неожиданное душевное волненіе.

Въ стихахъ поэта отразились ясно всѣ перебои его настроенія, но среди душевной бури онъ все-таки всегда сохранялъ способность владѣть собой какъ художникъ.

Волненіе сразу охватило его, какъ только онъ попытался дать себѣ отчетъ въ томъ, что съ нимъ случилось. Переѣзжая на кораблѣ изъ Ѳеодосіи въ Гурзуфъ и приближаясь къ мѣсту своей ссылки, онъ пи-

салъ въ знаменитомъ стихотвореніи „Погасло дневное свѣтило“ (1820):

Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнымъ
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей,
Страны, гдѣ пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались,
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла
Моя потерянная младость,
Гдѣ легкокрылая мнѣ измѣнила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новыхъ впечатлѣній,
Я васъ бѣжалъ, отечески края,
Я васъ бѣжалъ,питомцы наслажденій,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочныхъ заблужденій,
Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, измѣнницы младыя.
Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!..

Какъ неясна была ему самому пока тревога его духа! О какой отцвѣтшей и потерянной молодости могъ онъ вспоминать? Когда какая радость ему измѣняла и когда онъ бѣжалъ отъ наслажденій? Онъ смутно ощущалъ только, что подъ наплывомъ новыхъ тревожныхъ чувствъ въ немъ начинаетъ пропадать любовь къ беззаботному наслажденію и взглядъ его на жизнь начинаетъ туманиться—и все, что въ душѣ было смутнаго, ему показалось какъ будто бы яснымъ и на яву совершившимся. Это преувеличеніе „мрачныхъ“ сторонъ его жизни растетъ, и если, дѣйствительно, стихотвореніе „Элегія“ (1821) есть личное признаніе, то на душу поэта начинатъ ложиться густой мракъ. Онъ пишетъ:

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты!
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ!
Живу печальный, одинокій,
И жду! придетъ ли мой конецъ?

Такъ, позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,
Одинъ на вѣткѣ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.

Самовольный изгнанникъ, какъ онъ почему-то себя называетъ, „недовольный и свѣтомъ, и собой, и жизнью", онъ находитъ нѣкоторое утѣшеніе въ той мысли, что были люди, которые не меньше его страдали и такъ же, какъ и онъ, влачили незаслуженно свои дни въ изгнаніи,—и онъ пишетъ свое посланіе „Къ Овидію" (1821).

Наконецъ жалоба какъ будто начинаетъ утомлять поэта: онъ на свою неволю сердится и въ немъ рождается мысль — хорошо было бы вырваться на свободу, и эту мысль онъ выражаетъ необычайно поэтично въ стихотвореніи „Узникъ" (1822).

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой.
Вскормленный на волѣ орелъ молодой,
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ.
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,
Какъ будто со мною задумалъ одно;
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ
И вымолвить хочетъ: „Давай улетимъ!
Мы—вольныя птицы; пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ... да я"...

Но кромѣ злобной и смѣлой мечты—которая лишь увеличиваетъ раздраженіе, есть еще и другое чувство, въ которомъ узникъ можетъ найти утѣшеніе. Это—чувство презрѣнія къ толпѣ и чувство удовлетворенія въ признаніи со стороны людей, которыхъ уважаешь и любишь,—и это утѣшеніе доставилъ себѣ Пушкинъ въ своемъ посланіи „Ѳ. Н. Глинкѣ" (1822).

Когда средь оргій жизни шумной
Меня постигнулъ остракизмъ,
Увидѣлъ я толпы безумной
Презрѣнный, робкій эгоизмъ;
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой
Вѣнки пировъ и блескъ Аѳинъ
Но голосъ твой мнѣ былъ отрадой,
Великодушный гражданинъ!
Пускай судьба опредѣлила
Гоненья грозныя мнѣ вновь,

Пускай мнѣ дружба измѣнила,
Какъ измѣнила мнѣ любовь —
Въ моемъ изгнаньи позабуду
Несправедливость ихъ обидъ:
Онѣ ничтожны, если буду
Тобой оправданъ, Аристидъ!

Среди стихотвореній, написанныхъ Пушкинымъ въ эти годы, есть одно очень загадочное и необычайно сильное. Это—знаменитый „Демонъ“ (1823).

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія—
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья;
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь—
Часы надеждъ и наслажденій
Тоской внезапной осѣня,
Тогда какой-то злобный геній
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Имѣются данныя, по которымъ можно предположить, что это лишь портретъ одного изъ друзей поэта—портретъ, конечно, идеализированный въ сторону грознаго и страшнаго. Но художественная цѣлостность стихотворенія и необычайная яркость демоническаго типа наводятъ на мысль, что нѣчто родственное этому типу Пушкинъ носилъ тогда въ своей душѣ, но только не тогда, „когда ему были новы всѣ впечатлѣнія бытія“, а именно теперь, когда съ этими впечатлѣніями онъ уже въ достаточной мѣрѣ свыкся. Во всякомъ случаѣ, чтобы изобразить этого демона, нужно было научиться понимать его, а къ такому пониманію Пушкина могла

подготовить только та тревога духа, которую онъ самъ переживалъ въ тѣ годы.

Эта тревога отразилась не только на чисто личныхъ стихотвореніяхъ поэта, но и на многихъ другихъ, которыя не имѣли прямого, непосредственнаго отношенія къ его психикѣ, хотя и отражали его личныя мнѣнія и настроенія.

Къ числу такихъ надо отнести, напримѣръ, мрачную балладу „Черная шаль“ (1820) и глубоко трагическую „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ“ (1822) съ ея фаталистической тенденціей.

Трагическое и патетическое жизни стало теперь также все болѣе и болѣе приковывать къ себѣ вниманіе поэта, который до этого времени предпочиталъ мотивы игривые, нѣжные, въ рѣдкихъ случаяхъ меланхолическіе или столь обычные тогда военно-патріотическіе. Какой серьезной мыслью проникнуты, напримѣръ, стихотвореніе обращенное къ Дочери Карагеоргія (1820) и къ возставшимъ Грекамъ („Возстань, о Греція, возстань!“ 1823). Глубокая историческая мысль видна въ стихахъ, посвященныхъ Наполеону (1821). Прежде поэтъ разрабатывалъ эту тему въ традиціонномъ національномъ стилѣ, теперь онъ возвышался до цѣлой исторической картины, до философской оцѣнки событій:

О, ты, чьей памятью кровавой
Міръ долго, долго будетъ полнъ,
Пріосѣненъ твоею славой,
Почій среди пустынныхъ волнъ!
Великолѣпная могила...
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмертія горитъ.
Давно ль орлы твои летали
Надъ обезславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громахъ силы роковой?
Послушны силѣ своенравной,
Бѣдой шумѣли знамена,
И налагалъ яремъ державный
Ты на земныя племена.
Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,
И галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ;
Когда на площади мятежной

Во прахѣ царскій трупъ лежалъ,
И день великій, неизбѣжный,
Свободы яркій день вставалъ;
Тогда въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удѣлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человѣчество презрѣлъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой вѣровалъ душой;
Тебя плѣняло самовластье
Разочарованной красой,
И обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ;
Новорожденная свобода,
Вдругъ онѣмѣвъ, лишилась силъ.
Среди рабовъ до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цѣпи лаврами обвилъ.
И Франція, добыча славы,
Плѣненный устремила взоръ,
Забывъ надежды величавы,
На свой блистательный позоръ.
Ты велъ мечи на пиръ обильный;
Все пало съ шумомъ предъ тобой:
Европа гибла; сонъ могильный
Носился надъ ея главой.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его увѣнчанную тѣнь!
Хвала!.. Онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

Въ стихотвореніи „Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ порогѣ“ эта же тема проведена съ мистическимъ паѳосомъ.

Не уберегъ себя Пушкинъ за это время и отъ стихотвореній чисто политическихъ, несмотря на все, что съ нимъ случилось. До насъ дошло только два такихъ стихотворенія, но уже по нимъ видно, насколько повысилось въ поэтѣ чувство раздраженія. Хотя Пушкинъ и увѣрялъ, что „Кинжалъ“ (1821) написанъ не противъ правительства, но это вѣрно лишь въ томъ смыслѣ, что противъ русскаго правительства не сказано въ стихотвореніи ни одного слова, а много

очень рѣзкихъ словъ, и притомъ съ очень крайней тенденціей, обращено къ „правительству“ вообще, подъ которымъ можно разумѣть однако какое угодно. Но и передъ русскими порядками поэтъ въ долгу не остался. Что-то очень сильное хотѣлъ Пушкинъ сказать въ стихотвореніи „Свободы сѣятель пустынный“.

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя;
Но потерялъ я только время,
Благіе мысли и труды...
Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь;
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды—
Ярмо съ гремушками да бичъ.

Смыслъ этихъ словъ несовсѣмъ ясенъ: раздраженъ ли поэтъ противъ народа или противъ власти, которая держитъ народъ въ такомъ звѣриномъ состояніи? Придавалъ ли художникъ своимъ словамъ тѣсный политическій смыслъ или вообще писалъ скорбное стихотвореніе, въ которомъ оплакивалъ паденіе человѣка? Себя ли онъ разумѣлъ подъ словами „сѣятель свободы“, да и вообще о какихъ народахъ идетъ рѣчь—о народѣ въ собирательномъ смыслѣ или о народѣ русскомъ? Вѣроятнѣе всего, что это стихотвореніе есть отвѣтъ на начинавшую тревожить поэта мысль о томъ, что всякій народъ заслуживаетъ то правительство, которое имъ правитъ, — мысль, которая въ двадцатыхъ годахъ, въ эпоху реакціи, часто повторялась публицистами на Западѣ.

Итакъ, мы видимъ, какъ неспокойна была душа поэта за эти годы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта тревога нисколько не мѣшала ему совершенствоваться какъ художнику и притомъ какъ пѣвцу самыхъ нѣжныхъ, незлобивыхъ чувствъ. Стоитъ только перелистать написанные Пушкинымъ за эти годы любовные стихи, чтобы увидѣть, какъ чисто личное чувство всецѣло имъ овладѣвало и заставляло забыть всякую иную тревогу,

кромѣ любовной, ясной, свѣтлой и счастливой. Стихи эти требуютъ большого къ себѣ вниманія [„Нереида“ (1820). „Рѣдѣетъ облаковъ“ (1820). „Дѣва“ (1821). „Подражаніе“ Пѣснь пѣсней (1821). „Элегія“ (1823). „Ночь“ (1823)].

И не одни только любовные стихи говорятъ намъ о томъ, что душевная тревога не смогла всецѣло завладѣть поэтомъ; если рядомъ со всѣми выше перечисленными тревожными стихотвореніями поставить другія, написанныя въ это же время, — то ясно видно, какъ колебалось настроеніе художника, какъ всякій порывъ недовольства, осужденія, раздраженія находилъ себѣ поправку въ иной разъ совсѣмъ мирномъ чувствѣ.

Тому самому Чаадаеву, съ которымъ вмѣстѣ онъ хотѣлъ „развалить самовластіе“, онъ пишетъ теперь [„Чаадаеву“ (1820)].

Чадаевъ, помнишь ли былое?
Давно ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь, и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ,
На камнѣ дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Сердце оказалось „усмиреннымъ бурей“; да вѣдь только такое сердце и могло продиктовать стихотвореніе „Муза“ (1821):

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ;—

или радоваться, утѣшаться и отказываться отъ всякаго ропота, даровавъ птичкѣ то, чего не въ силахъ даровать ближнему:

Въ чужбинѣ свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При свѣтломъ праздникѣ весны.
Я сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?

Очень откровенно и искренно писалъ Пушкинъ о себѣ опять-таки Чаадаеву:

Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ;
Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья,
И, сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій;
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.
Богини мира, вновь явились музы мнѣ
И независимымъ досугамъ улыбнулись;
Цѣвницы брошенной уста мои коснулись,
Старинный звукъ меня обрадовалъ,—и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу вѣрную, и милые предметы,
Плѣнявшіе меня въ младенческія лѣты,
Въ тѣ дни, когда, еще незнаемый никѣмъ,
Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ,
Я пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни
И царскосельскія хранительныя сѣни.

Расширяя этотъ мирный и спокойный взглядъ на личную свою жизнь до широкаго взгляда на жизнь человѣческую вообще, Пушкинъ говорилъ, наконецъ, въ стихотвореніи „Телѣга жизни“ (1823):

Хоть тяжело подчасъ въ ней бремя,
Телѣга на ходу легка;
Ямщикъ лихой, сѣдое время,
Везетъ, не слѣзетъ съ облучка.

Съ утра садимся мы въ телѣгу;
Мы погоняемъ съ ямщикомъ
И, презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: валяй по всѣмъ по тремъ!..
Но въ полдень нѣтъ ужъ той отваги,—
Порастрясло насъ, намъ страшнѣй
И косогоры, и овраги...
Кричимъ: полегче, дуралей!
Катитъ попрежнему телѣга.
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И дремля ѣдемъ до ночлега,
А время гонитъ лошадей.

Никакъ нельзя предположить, что подобные стихи могли быть написаны въ годы сильныхъ душевныхъ волненій, когда ничто такъ не возмущаетъ человѣческую душу, какъ „дремота“, да и еще привычная.

Но Пушкинъ, какъ давно уже замѣчено всѣми, кто имѣлъ случай говорить о немъ, былъ прежде всего художникъ, и только то настроеніе долго держалось въ его душѣ, которое было способно на художественное облеченіе. Всякій душевный разладъ, непримиренное противорѣчіе, всякое длительное возстаніе духа, не завершившееся побѣдой — тяготило его, потому что никакъ или съ трудомъ поддавалось художественному воплощенію. И очень скоро художникъ возмутился противъ той тревоги, которая на первыхъ порахъ обѣщала для него столь многое. А между тѣмъ обстоятельства личной жизни слагались такъ, что тревога повидимому должна была усилиться.

Поэту была второй разъ нанесена обида и пожалуй болѣе чувствительная чѣмъ та, съ которой онъ уѣхалъ изъ Петербурга. Безъ всякихъ прегрѣшеній съ его стороны, просто потому, что онъ сталъ неудобенъ для главнаго своего начальника, — его съ юга переслали на сѣверъ и интернировали въ деревнѣ безъ права выѣзда. Прощаясь съ югомъ поэтъ опять обратился со своими стихами къ морю, „къ свободной стихіи“, къ той самой, которую онъ привѣтствовалъ, когда съ сѣвера вынужденъ былъ перекочевать на югъ. И онъ писалъ [„Къ морю“ (1824)]:

Прощай, свободная стихія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещешь гордою красой.

Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его въ прощальный часъ,
Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный
Услышалъ я въ послѣдній разъ.
Моей души предѣлъ желанный!
Какъ часто по брегамъ твоимъ
Бродилъ я тихій и туманный,
Завѣтнымъ умысломъ томимъ.
Какъ я любилъ твои отзывы,
Глухіе звуки, бездны гласъ,
И тишину въ вечерній часъ,
И своенравные порывы!
Міръ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль самовластье, иль тиранъ.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гулъ въ вечерніе часы.
Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

Опять поэту припомнился и Наполеонъ, и Байронъ, опять его собственная личность стала передъ нимъ на особый пьедесталъ,—и все же какъ спокойны были его слова! Въ нихъ нѣтъ даже жалобы. Прежде Пушкинъ ставилъ людямъ въ виду огорченія, которыя они ему причинили, разныя „измѣны“, теперь онъ какъ будто забылъ о людяхъ и желаетъ унести съ собой въ новое изгнаніе лишь память о красотахъ природы, о блескѣ, о тѣни, о говорѣ волнъ.

3. Только что было указано на то, какъ много для Пушкина значила въ каждомъ настроеніи его „художественность“, т. е. способность этого настроенія быть художественно схваченнымъ и побѣжденнымъ въ искусствѣ. Настроенія, не поддававшіяся такой художественной отдѣлкѣ, Пушкина быстро покидали. Это лучше всего можно провѣрить на тѣхъ крупныхъ произведеніяхъ художника, которыхъ онъ написалъ нѣсколько за эти годы и въ которыхъ, несмотря на ихъ эпическую форму, онъ остался все тѣмъ же субъективнымъ лирикомъ, какимъ былъ во всѣхъ остальныхъ своихъ стихотвореніяхъ.

Эти поэмы Пушкина—„Кавказскій плѣнникъ“ (1821), „Братья-Разбойники“ (1821), „Вадимъ“ (1822), „Бахчисарайскій фонтанъ“ (1822), „Цыгане“ (1824)—имѣютъ для насъ двоякое значеніе. Онѣ очень наглядно показываютъ, какъ Пушкинъ-художникъ силился овладѣть тревогой своего духа, какъ онъ неоднократно пытался закрѣпить ее въ художественномъ цѣльномъ образѣ и какъ ему это не давалось. Съ другой стороны поэмы эти имѣютъ для насъ громадное значеніе, какъ первые ростки русскаго художественнаго „романтизма“—пресловутаго, туманнаго, привлекательнаго, столь много нашумѣвшаго „романтизма“.

Трудъ всякаго историка литературы былъ бы очень облегченъ, если бы можно было совсѣмъ избѣжать этого рокового слова „романтизмъ“, который всегда и во всѣхъ объясненіяхъ остается большимъ туманнымъ пятномъ. Но избѣжать его нельзя, такъ какъ въ старину о немъ велись нескончаемые споры, и они имѣли хотя туманный, но глубокій смыслъ для цѣлыхъ литературныхъ направленій и школъ.

Родина этого термина на Западѣ: къ намъ это слово было занесено и получило у насъ еще болѣе неопредѣленный смыслъ, чѣмъ тамъ, гдѣ оно родилось. Замѣтимъ прежде всего, что и на Западѣ оно имѣло разный смыслъ въ разныхъ странахъ, такъ какъ каждый народъ налагалъ на него печать своего индивидуальнаго темперамента и склада своей мысли. Такимъ образомъ, романтическія теченія въ литературѣ нѣмецкой, французской, англійской, итальянской другъ на друга очень мало похожи, хотя всѣ они и выросли на единой психологической почвѣ. Если ограничиться лишь послѣднимъ прожитымъ нами столѣтіемъ, т. е. XIX вѣкомъ, то романтизмомъ принято называть тѣ литературныя направленія, которыя возобладали непосредственно послѣ великаго кризиса въ концѣ XVIII столѣтія, послѣ вѣка торжествующаго разума и непосредственно съ нимъ связанной великой революціи. Но, конечно, и до этого кризиса тѣ основныя психическія положенія, на которыхъ выросъ романтизмъ, были уже ясно замѣтны въ литературѣ. Такимъ образомъ, романтизмъ *какъ литературная форма* художественнаго творчества есть нѣчто своеобразное, внесенное

въ искусство лишь послѣднимъ столѣтіемъ. Но если имѣть въ виду тѣ чувства и настроенія, которыя въ эту новую форму выливались, то романтизмъ, *какъ психическое движеніе*—вѣченъ и можетъ быть найденъ гдѣ угодно и въ какую угодно эпоху, такъ какъ за все имъ прожитое время человѣкъ какъ мыслящая и чувствующая сила измѣнился очень мало.

Оставимъ въ сторонѣ вопросъ объ историческомъ развитіи романтизма на Западѣ, который для исторіи русскаго романтизма имѣетъ второстепенное значеніе, и обратимся къ тѣмъ основнымъ психическимъ движеніямъ, на которыхъ всякій романтизмъ покоится.

Если разложить романтическое настроеніе на самые основные его элементы, то въ основѣ его окажется очень простое чувство недовольства дѣйствительностью. Оно заставляетъ человѣка ставить неизмѣримо выше надъ самой жизнью ея просвѣтленный идеалъ, ту дорогую мечту объ иномъ мірѣ, въ которомъ столько гармоніи, красоты, столько свѣта,—мірѣ, о которомъ тоскуетъ человѣкъ, нравственно неудовлетворенный. Это тяготѣніе къ идеалу, конечно, всегда неопредѣленному и туманному, неизбѣжно реагируетъ на оцѣнку той дѣйствительной жизни, которая окружаетъ человѣка. Вмѣсто того, чтобы приближать жизнь къ идеалу и, вникая въ ея мелочи, попытаться найти въ нихъ смыслъ и понять ихъ необходимое значеніе, человѣкъ готовъ пренебречь ими, готовъ всецѣло замкнуться въ сферѣ своей мечты и мысли и этимъ только усилить противорѣчіе между идеаломъ и жизнью. И, дѣйствительно, какъ часто заблуждался романтикъ, думая, что онъ сможетъ найти свой идеалъ готовымъ и воплощеннымъ здѣсь, на землѣ, въ данную минуту, и среди людей, которые его окружали! Какъ часто такая надежда была обманута, и какъ часто въ силу этого обмана человѣкъ порывалъ свою живую связь съ жизнью! Разладъ съ дѣйствительностью нерѣдко отнималъ у него энергію и силу воли, туманилъ его трезвый умъ и, вмѣсто того, чтобы служить стимуломъ дѣятельности, былъ причиной апатіи и меланхоліи, тоски по чему-то и стремленія куда-то.

Романтическое настроеніе принимало, однако, далеко

не всегда такую форму пассивнаго протеста; въ немъ кромѣ меланхоліи и томленія была своя, иногда необузданная энергія, порывъ страсти, который могъ раскалить сердце человѣка и дать его фантазіи самый смѣлый полетъ; этотъ активный, бурный элементъ романтическаго настроенія составлялъ его культурную силу и дѣлалъ его важнымъ факторомъ прогресса. Но въ обоихъ случаяхъ, когда романтикъ рвался такъ необузданно впередъ или когда онъ изнемогалъ въ томленіи, онъ виталъ надъ жизнью: либо опережалъ ее, либо отставалъ отъ нея; и потому бóльшая часть его силы и энергіи терялись для этой жизни даромъ. Романтикъ не попадалъ какъ-то въ общую колею, требовалъ отъ жизни либо слишкомъ многаго, либо слишкомъ малаго.

Какъ видимъ, разница между романтизмомъ и сентиментализмомъ, какъ мы его опредѣлили, почти исчезаетъ и, дѣйствительно, во всѣхъ литературахъ переходъ отъ теченія сентиментальнаго къ романтическому неуловимъ. Это справедливо и въ отношеніи литературы нашей. Если ужъ говорить объ отличіи этихъ двухъ направленій, то оно будетъ заключаться лишь въ степени тревоги духа, какой подпадаетъ человѣкъ при своей ссорѣ съ жизнью. Если онъ, разссорившись съ ней, сохраняетъ вѣру въ Бога и въ человѣка, вѣру въ разрѣшеніе своей ссоры—здѣсь ли на землѣ, или за гробомъ, то онъ болѣе склоненъ смотрѣть на міръ сентиментально-грустно; если же эта вѣра въ немъ подорвана и въ разочарованности своей и въ отчаяніи онъ не видитъ примиряющаго исхода или ищетъ его пока безуспѣшно—то онъ гораздо болѣе склоненъ къ вызывающему, гнѣвному, скорбному иногда страшно пессимистическому отношенію къ жизни, и тогда онъ съ полнымъ правомъ можетъ назваться „романтикомъ“. Романтизмъ есть, такимъ образомъ, лишь повышенный въ тревогѣ сентиментализмъ. Само собой понятно, что эта тревога можетъ выражаться весьма различно и въ своемъ развитіи проходить черезъ весьма разнообразныя полосы настроенія и питать себя самыми разнообразными мыслями.

При приближеніи революціонной грозы, въ концѣ XVIII вѣка, во время нея и непосредственно послѣ

повышенная тревога духа разъединила людей и каждый сталъ изыскивать способы выйти изъ этого томительнаго душевнаго разлада и какъ-нибудь согласовать идеалъ съ жизнью. Въ разныхъ странахъ это соглашеніе произошло въ различныхъ формахъ. У нѣмцевъ романтическое раздвоеніе жизни и идеала разрѣшилось въ отвлеченно-философскомъ и эстетическомъ созерцаніи; у французовъ оно привело къ чисто эстетическому міропоминанію, оттѣнявшему преимущественно героическую сторону жизни, у англичанъ, гдѣ этотъ разладъ мечты и дѣйствительности ощущался всего меньше, онъ достигъ высшаго мірового своего выраженія въ разочарованномъ индивидуализмѣ Байрона и исчезъ изъ литературы вмѣстѣ съ нимъ. Вотъ эти-то различныя формы разрѣшенія сердечныхъ и идейныхъ диссонансовъ въ искусствѣ и извѣстны подъ именемъ „романтическихъ теченій"—единыхъ по своей психической основѣ и весьма различныхъ по формѣ выраженія и по окончательнымъ взглядамъ на міръ и человѣка, къ какимъ они приводили художника.

4. У насъ въ Россіи эта сердечная и умственная тревога, охватившая умы на Западѣ,—ощущалась, конечно, очень слабо, но все-таки ощущалась, въ виду все болѣе и болѣе тѣснаго духовнаго общенія нашего съ сосѣдями. Но у нашихъ сосѣдей романтизмъ былъ настроеніемъ общественнымъ, которое возникло на почвѣ реальныхъ фактовъ и въ свою очередь на эти факты вліяло. У насъ же романтизмъ такой широкой общественной основы не имѣлъ. Наша сознательная жизнь еще только начиналась, когда на Западѣ она была въ полномъ цвѣту. Тотъ пахучій и красивый цвѣтокъ романтизма, который на Западѣ распустился подъ открытымъ небомъ, у насъ былъ выведенъ въ теплицѣ. Заранѣе можно было предсказать, что его жизнь будетъ кратковременна, что у него не будетъ ни сильнаго запаха, ни яркихъ красокъ. Такъ, дѣйствительно, и случилось. Въ русскомъ романтизмѣ были и страстные порывы, и нѣжныя движенія сердца, и стремленіе опередить жизнь, и желаніе спастись отъ нея въ область видѣній; въ немъ были и слезы меланхолической печали, и слезы досады, и прощеніе, и гнѣвъ; въ немъ вообще была смѣна разно-

образныхъ настроеній и чувствъ; но всѣ эти психическія движенія овладѣвали русскимъ романтикомъ не вполнѣ, а какъ-то наполовину; онъ не находился всецѣло въ ихъ власти, и потому онъ могъ легко и быстро пережить это романтическое настроеніе, забыть его, даже удариться въ другую крайность — стать совсѣмъ спокойнымъ мыслителемъ и созерцателемъ той самой жизни, которая его сначала такъ волновала. И на самомъ дѣлѣ русскій человѣкъ отъ „романтизма“ отдѣлался очень быстро и даже въ самый разгаръ его не утратилъ способности критическаго къ нему отношенія.

Но пусть романтизмъ какъ выраженіе особаго психическаго состоянія и игралъ относительно бѣдную роль въ исторіи нашего самосознанія, онъ былъ достаточно распространенъ какъ литературная форма и въ продолженіе двухъ поколѣній служилъ предметомъ самыхъ оживленныхъ споровъ въ литературныхъ лагеряхъ.

Итакъ, какова же исторія развитія этого настроенія у насъ въ Россіи? Въ краткомъ бѣгломъ очеркѣ она представляется въ такомъ видѣ.

Еще съ конца XVIII вѣка подъ вліяніемъ иностранной мысли и художественнаго творчества, а также въ силу развивающагося въ насъ сознанія общественнаго, въ силу поднятія нашего умственнаго уровня, въ нашей публицистикѣ и литературѣ стало ясно сказываться сентиментальное отношеніе къ проблемамъ жизни. Идеалъ былъ высоко поставленъ надъ этой несовершенной жизнью, мрачныя стороны которой явственно ощущались, но вѣра въ Бога, въ Его особую опеку надъ нами, вѣра въ земную власть правителя и вообще вѣра въ человѣка, какъ въ существо разумное и доброе, умиротворяли всякій разладъ духа и настраивали людей, хоть порой и грустно, но довѣрчиво. Это—то самое настроеніе, которое намъ уже хорошо знакомо и которое въ Карамзинѣ нашло себѣ лучшаго публициста, а въ нашемъ первомъ поэтѣ, въ Жуковскомъ,—своего художника.

Во все царствованіе Императора Александра Павловича это настроеніе продержалось въ обществѣ, несмотря на то, что ходъ жизни все больше и больше подчеркивалъ разладъ мечты и дѣйствительности, и несмо-

тря на зрѣющее въ насъ самосознаніе и потому болѣе критическое отношеніе къ минутѣ. Драма, разыгравшаяся на Западѣ въ концѣ XVIII вѣка, насъ почти не задѣла, хотя, конечно, на самыя чуткія сердца она не могла остаться безъ вліянія; но у насъ зрѣла собственная драма, и конецъ свѣтлыхъ дней александровскаго царствованія приближался.

Сентиментальное настроеніе начало постепенно осложняться тревогой, для самихъ людей сначала мало понятной. Но тѣ люди, характеръ и міросозерцаніе которыхъ сложилось въ благодушныя времена торжествующаго сентиментализма, для такой тревоги не были созданы: она могла охватить ихъ на нѣкоторое время, но она долго держать ихъ въ плѣну была не въ силахъ. Она тяготила людей, и они стремились подавить ее. У Жуковскаго, напримѣръ, эта тревога сказалась, какъ мы видѣли, лишь въ повышеніи патетическаго тона и въ любви къ особенно драматическимъ положеніямъ. Въ душѣ Пушкина, какъ только что указано, несмотря на очень благопріятныя для нея условія личной его жизни, эта тревога духа никакъ не могла удержаться, и очень быстро пошла на убыль, возвращая поэта къ прежнему ровному и довольно благодушному міросозерцанію. Вообще всѣ современники Пушкина—какъ увидимъ—для истиннаго романтизма не были созданы, и даже у самыхъ настоящихъ романтиковъ того времени, какими были, напримѣръ, декабристы, т. е. у людей, которыхъ эта тревога духа подвинула на прямое возмущеніе и возстаніе, романтическая буря души улеглась очень скоро послѣ нервнаго кризиса.

Настоящія времена русскаго романтизма наступили позднѣе, когда послѣ декабрьскаго возмущенія, съ перемѣною царствованія, водворился тотъ режимъ правительственной опеки надъ мыслью и чувствомъ, который заставилъ забыть о всякихъ сентиментальныхъ идеалахъ. И вотъ тогда-то настоящая тревога ума и сердца могла органически вырасти на русской почвѣ—самобытно, безъ всякаго толчка извнѣ. Разладъ между жизнью и идеаломъ сталъ такъ ощутителенъ, и всякая болѣе или менѣе энергическая натура чувствовала себя такъ не по себѣ въ этой атмосферѣ, что протестъ про-

тивъ дѣйствительности сталъ естественнымъ явленіемъ, и выразился очень ярко. Вотъ тогда-то въ нашей словесности появились самобытныя романтическія произведенія, созданныя людьми, которые сами на себѣ испытали власть душевной тревоги, возникшей на почвѣ полной невозможности примирить то, что видишь вокругъ себя, съ тѣмъ, что желалъ бы видѣть.

Во времена Пушкина нашъ художникъ былъ еще далекъ отъ такой трагедіи: въ немъ было еще много смиренія и кротости передъ жизнью, много вѣры въ разныя власти—земныя и небесныя,—много довѣрія къ человѣку.

Вотъ почему, когда романтизмъ, ставшій на Западѣ уже истиной жизни, нахлынулъ къ намъ въ Россію въ началѣ XIX столѣтія, онъ засталъ насъ совершенно неподготовленными для его пониманія и его воспріятія. Шиллеръ, Гёте, французскіе и англійскіе сентименталисты подготовляли насъ къ его пріему; затѣмъ пришелъ къ намъ Шатобріанъ и наконецъ Байронъ, который довершилъ побѣду романтизма надъ нашими сердцами. Разобраться во всемъ богатствѣ этой поэзіи, какъ бы сразу съ небесъ на насъ упавшей, мы, конечно, не могли; уловить разницу между настроеніями сентиментальныхъ писателей и точно отмежевать ихъ поэзію отъ поэзіи настоящихъ романтиковъ мы тоже были не въ состояніи за малымъ литературнымъ образованіемъ; но мы почувствовали въ этихъ писателяхъ большую силу и красоту, они всѣ сразу увлекли насъ, и мы всѣхъ ихъ сразу готовы были окрестить этимъ таинственно-привлекательнымъ словомъ „романтикъ“. Если порыться въ нашей литературной критикѣ начала XIX столѣтія, то мы увидимъ, что каждый критикъ понималъ нѣчто свое подъ этими терминами „романтизмъ“ и „романтикъ“ и такъ произвольно обращался съ ними, что въ концѣ концовъ этимъ словомъ стали обозначать вообще всякое произведеніе, которое было настолько художественно и сильно, что производило впечатлѣніе и не смахивало на рутину. Происходило же такое произвольное обращеніе съ понятіемъ потому, что сама психическая основа, на которой романтизмъ выросталъ на Западѣ,—эта страшная трагедія разлада между идеаломъ и жизнью—была

намъ, русскимъ, въ тѣ юные годы нашего самосознанія мало понятна, за малымъ нашимъ историческимъ опытомъ.

Само собою разумѣется, что когда нашъ писатель, даже самый сильный по таланту, брался въ тѣ годы самостоятельно создать нѣчто въ „романтическомъ“ родѣ, воплотить въ художественномъ образѣ ту тревогу души, которой онъ любовался у иностранныхъ писателей, то такія попытки должны были терпѣть неудачу. И, дѣйствительно, если пересмотрѣть всѣ романтическія поэмы, которыя писались въ двадцатыхъ годахъ (а ихъ писалось не мало), то лучшими въ художественномъ смыслѣ окажутся переводы съ иностраннаго, и очень слабыми почти всѣ оригинальныя попытки.

5. И Пушкинъ не избѣжалъ соблазна. На югѣ его фантазія была занята планами довольно широкихъ и крупныхъ произведеній. Ему навертывались историческія, легендарныя и бытовыя темы. Любопытно, что бытовыя темы, для выполненія которыхъ требовалось извѣстное объективное отношеніе къ предмету,—не двинулись дальше короткихъ набросковъ, по которымъ нельзя составить о нихъ никакого яснаго представленія. Попытка написать историческую поэму или драму изъ старославянской жизни („Вадимъ“ 1822), съ ясной политической и либеральной тенденціей, тоже не пошла дальше отрывковъ, довольно вялыхъ и традиціонныхъ по формѣ и стилю. Очевидно, что интересъ къ политической идеѣ не былъ достаточно силенъ въ авторѣ, чтобы вынести на себѣ тяжесть цѣлаго большого произведенія. Закончены были Пушкинымъ только четыре поэмы, легендарныя по содержанію и крайне субъективныя по настроенію: „Кавказскій плѣнникъ“ (1821), „Братья-Разбойники“ (1821), „Бахчисарайскій фонтанъ“ (1822) и „Цыгане“ (1824).

Одна изъ поэмъ „Бахчисарайскій фонтанъ“—пѣснь любви, пѣснь личныхъ, интимныхъ воспоминаній—своего рода перлъ любовной лирики, вставленный въ оправу художественныхъ описаній природы. Поэма цѣнна какъ очень колоритная картина Востока, картина, списанная съ натуры, а не съ иностранной гравюры. Но что касается самого драматическаго положенія, то для

той эпохи жизни Пушкина, о которой мы говоримъ, въ немъ мало характернаго... Если не считать вообще мрачнаго колорита всей поэмы,—то душевная тревога дѣйствующихъ лицъ не таитъ въ себѣ ничего особеннаго: обычная женская ревность, обычное мрачное настроеніе человѣка, любовь котораго отвергнута, и сентиментальный силуэтъ угнетенной невинности. Субъективность художника сказывается въ глубокомъ пониманіи психологіи любви, любви то страстной, то примиренной съ отказомъ, то нѣжной и воздушной, неуловимо тонкой. Характерно лишь то, что среди всѣхъ до сихъ поръ пропѣтыхъ Пушкинымъ любовныхъ пѣсенъ это первая съ глубоко трагической развязкой. Въ этомъ только и сказалась та тревога духа, какой художникъ былъ временно охваченъ.

Гораздо больше матерьяла для опредѣленія тогдашняго душевнаго настроенія Пушкина даютъ поэмы „Братья-Разбойники“ и „Кавказскій плѣнникъ“. Въ „Разбойникахъ“ надо отличать двѣ тенденціи, не безъ умысла одинаково освѣщенныя авторомъ. Одна тенденція—чисто моральная: осужденіе, высказанное разбою, и частыя упоминанія о совѣсти, которая въ концѣ концовъ должна восторжествовать надъ порокомъ. Но мы очень ошибемся, если подумаемъ, что именно для этой морали поэма написана. Она съ нескрываемой симпатіей относится къ преступнику,—не за темныя его дѣла, конечно, которыхъ она совсѣмъ не оправдываетъ, а за то настроеніе бунта и протеста, какимъ живетъ преступникъ, за его отказъ примириться съ своей судьбой, за любовь къ волѣ, за укоренившееся въ немъ сознаніе силы своей личности. Это все мотивы, которые въ романтической душѣ будили большую симпатію и на Западѣ создали цѣлый циклъ художественныхъ поэмъ. Пушкинъ не хотѣлъ подражать этимъ поэмамъ и потому взялъ сюжетъ изъ бытовой русской жизни и справился съ этой бытовой стороной очень удачно. Но весь смыслъ поэмы все-таки въ субъективномъ ея настроеніи, въ этой вскипѣвшей тревогѣ души, въ этомъ чувствѣ протеста, которое толкаетъ человѣка на преступленіе. Но характерно, что такой романтическій подъемъ души нашъ авторъ стремится тотчасъ же охладить своей моралью. Иначе не могъ поступить чело-

вѣкъ его времени—сентименталистъ въ душѣ и въ основѣ своего темперамента жизнерадостный и благодушный. Въ обществѣ разбойника такому человѣку было неловко, но должно признаться, что и въ обществѣ человѣка гораздо болѣе смирнаго, никакимъ преступленіемъ не отягощеннаго, но по натурѣ своей тревожнаго и мрачнаго, поэтъ также чувствовалъ себя не свободно.

Такъ случилось съ Пушкинымъ, когда онъ писалъ своего „Кавказскаго плѣнника“ (1821). Авторъ съ задачей не справился, и поэма вышла неудачна. Это сознавали читатели, да и самъ поэтъ не протестовалъ и признавался, что недоволенъ своей поэмой. Однако несовершенство поэмы надо признать съ большими оговорками. Описанія природы были превосходны, мѣстный колоритъ былъ переданъ правильно, черкесская пѣсня была совершенствомъ, неясенъ вышелъ только типъ самого плѣнника, но онъ и долженъ былъ выйти неяснымъ, потому что художникъ хотѣлъ въ конкретномъ образѣ выразить тѣ чувства, которыя еще совершенно не сформировались въ его душѣ и тревожили ее очень неяснымъ волненіемъ. Плѣнникъ долженъ былъ говорить за Пушкина, за поэта, который впервые ощущалъ наплывъ тревожныхъ думъ и чувствъ, въ которыхъ не разобрался, въ которыхъ и не могъ разобраться, потому что они органически не вязались со всей его психикой. Романтическое волненіе прошло зыбью по его сердцу, и эта легкая зыбь, перелетная и мѣняющая постоянно свою форму, и должна была въ поэмѣ найти свое отраженіе. Задача была для художника непомѣрно трудная. Когда онъ имѣлъ дѣло съ какимъ-нибудь разбойникомъ, то передъ его глазами былъ хотя условный, но традиціонный и закругленный типъ. Теперь же надлежало ловить неуловимое и создавать типъ, руководясь лишь той тревогой, которой душа была охвачена. Все шло хорошо, пока не пришлось отвѣчать на вопросъ—какая именно тревога сердца заставила русскаго молодого интеллигентнаго человѣка ѣхать на Кавказъ и вступить въ ряды усмирителей и покорителей вольнаго племени? Въ мотивахъ этого поступка и должно было лежать объясненіе тайны сердца самого Пушкина.

Въ Россію дальній путь ведетъ,—
Въ страну, гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гдѣ первую позналъ онъ радость,
Гдѣ много милаго любилъ,
Гдѣ обнялъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.
Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,—
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ,
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.
Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ.
Страстями сердце погубя,
Охолодѣвъ къ мечтамъ и лирѣ,
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленныя тобою,
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ.

Но развѣ эти стихи объясняютъ намъ что-нибудь? Въ нихъ авторъ скорѣе стремится отвести наши глаза отъ главнаго вопроса, давая сразу цѣлую массу условныхъ объясненій, изъ которыхъ, замѣтимъ кстати, ни одно не согласуется съ удостовѣренными фактами жизни самого автора. Въ объясненіи тревоги своей души Пушкинъ не могъ опереться ни на одинъ изъ выставленныхъ мотивовъ. Оставалось прибѣгнуть къ крайнему средству и свалить всю вину на несчастную любовь. Такъ Пушкинъ и сдѣлалъ:

„Забудь меня: твоей любви,
Твоихъ восторговъ я не стою;
Безцѣнныхъ дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебѣ замѣнитъ
Моей души печальный хладъ;
Онъ будетъ вѣренъ, онъ оцѣнитъ
Твою красу, твой милый взглядъ,

И жаръ младенческихъ лобзаній,
И нѣжность пламенныхъ рѣчей;
Безъ упоенья, безъ желаній,
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь слѣдъ любви несчастной,
Душевной бури слѣдъ ужасный;
Оставь меня, но пожалѣй
О скорбной участи моей!
Несчастный другъ, зачѣмъ не прежде
Явилась ты моимъ очамъ,—
Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надеждѣ
И упоительнымъ мечтамъ!
Въ тѣ дни, когда луна, дубравы,
Морей и бури вольный шумъ,
Дѣвичій голосъ, гимны славы
Еще плѣняли жадный умъ!
Но поздно... умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетѣлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья.
Для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ...

„Какъ тяжко мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвѣчать,
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встрѣчать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятіяхъ подруги страстной,
Какъ тяжко мыслить о другой!..

„Когда такъ медленно, такъ нѣжно,
Ты пьешь лобзанія мои,
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно:
Снѣдая слезы въ тишинѣ,
Тогда разсѣянный, унылый,
Передъ собою, какъ во снѣ,
Я вижу образъ вѣчно милый;
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебѣ въ забвеньи предаюсь
И тайный призракъ обнимаю;
О немъ въ пустынѣ слезы лью;
Повсюду онъ со мною бродитъ,
И мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою.

„Оставь же мнѣ мои желѣзы,
Уединенныя мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы—
Ихъ раздѣлить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости!..

Но свести все къ несчастной любви, не значило ли это упростить тему до крайности и отнять у ней права на сложную, серьезную и идейную мотивировку? А вѣдь романтическая тревога имѣла всѣ права расчитывать на такое серьезное объясненіе. И опять-таки—несчастная любовь: она для Пушкина была тогда невѣдома и если онъ заговорилъ о ней, то, очевидно, съ авторскаго отчаянія.

Отданный хоть и временно во власть чувства, которое онъ побороть въ себѣ не могъ, и также не могъ объяснить себѣ, поэтъ кончилъ тѣмъ, что сталъ враждебно относиться къ этому чувству тревоги, къ этому „романтизму“ души, взволнованной и мрачной. Онъ сталъ искать случая отомстить ей за всѣ огорченія, которыя она ему причинила, и, дѣйствительно, налюбовавшись какъ художникъ, красивыми позами, въ какія носитель этого романтическаго чувства порой становился, онъ совершилъ надъ нимъ публичную казнь въ „Цыганахъ“.

„Цыгане“, какъ художественное произведеніе, самая выдержанная изъ раннихъ поэмъ Пушкина.—И понятно почему. Художнику пришлось судить и критиковать то состояніе духа, которое раньше онъ хотѣлъ объяснить и оправдать. Это состояніе никакъ не могло быть согласовано съ его собственной натурой, и потому объясненія его или оправданія не могли быть проведены успѣшно. Судъ же и жестокій судъ былъ вполнѣ возможенъ.

Въ поэмѣ „Цыгане“ чувствуется прежде всего значительно созрѣвшій мастеръ. Удивительно ярко и образно передана бытовая сценировка и не менѣе замѣчательны и драматическое движеніе поэмы, и драматическая форма діалога—форма, которою въ первый разъ пользуется нашъ художникъ, современемъ достигшій въ ней высокаго совершенства.

Но кто же этотъ таинственный Алеко, промѣнявшій добровольно Петербургъ на южныя степи, какъ его долженъ былъ промѣнять противъ своей воли Пушкинъ? Онъ—олицетвореніе нѣкоторыхъ романтическихъ порывовъ души—насколько они были понятны и доступны автору. Необузданъ онъ въ своихъ страстяхъ,

и кажется, что онѣ натолкнули его на какое-то преступленіе, потому что „законъ его преслѣдуетъ“; онъ фанатичный поклонникъ своей личности и не прощаетъ обидъ:

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О, нѣтъ! когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя:
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Онъ „любитъ горестно и трудно“, потому что онъ эгоистъ чистой крови. Онъ ищетъ свободы, но тѣхъ нравственныхъ обязательствъ, которыя налагаетъ на человѣка свобода онъ не признаетъ. Людямъ онъ предъявляетъ цѣлый обвинительный актъ:

О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей.
Что бросилъ я? Измѣнъ волненье
Предразсужденій приговоръ,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позоръ.

Но съ чѣмъ онъ самъ пришелъ къ людямъ, что̀ онъ для нихъ сдѣлалъ—мы не знаемъ. Если онъ призналъ за собой право обвинять ихъ, то и они имѣли полное право съ нимъ не считаться.

Единственный разъ, когда онъ предложилъ людямъ свою любовь и самъ пошелъ къ нимъ навстрѣчу, онъ поставилъ имъ такія условія, на которыя они не могли согласиться. Онъ за ними сталъ отрицать право

на свободное чувство—право, котораго однако требовалъ для себя. Въ подтвержденіе этого права онъ пошелъ, наконецъ, на убійство.

Тогда старикъ, приближась, рекъ:
„Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли;
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ.
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ—оставь же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою".

Такъ прощался Пушкинъ съ Алеко и, конечно, слова его относились не къ этому неудавшемуся цыгану, а къ тому демону, который смущалъ его самого въ эти годы. Само собою разумѣется, что Алеко не можетъ быть понятъ какъ воплощеніе всѣхъ романтическихъ чувствъ и настроеній. Онъ—очень несовершенный и узкій романтикъ и притомъ экземпляръ съ большимъ изъяномъ. Вѣдь не всегда же романтическая буря души была такъ насыщена эгоизмомъ. Для насъ, впрочемъ, совсѣмъ не важенъ вопросъ, насколько полно Пушкинъ изобразилъ въ Алеко романтическую тревогу духа: важно то, что онъ осудилъ своего героя безъ попытки оправданія его, не давъ ему даже снисхожденія. Это показываетъ, что изъ сферы этихъ романтическихъ волненій художникъ уже вышелъ, что онъ призналъ себя способнымъ судить ихъ, даже ускореннымъ, а потому не вполнѣ справедливымъ судомъ.

„Цыгане" были послѣдней романтической поэмой Пушкина. Художникъ больше къ этому настроенію не возвращался, одержавъ побѣду надъ той тревогой ума и сердца, которую ему нужно было пережить какъ сыну своего вѣка, но на которой онъ не могъ долго остановиться въ силу несоотвѣтствія этой тревоги со всѣми основными чертами его собственной психики.

6. Часто возбуждался вопросъ, насколько Пушкинъ былъ самостоятеленъ въ своихъ раннихъ поэмахъ. Изъ біографіи поэта извѣстно, что въ бытность свою

на югѣ онъ сталъ учиться англійскому языку, сталъ читать Байрона и, какъ всѣ молодые люди его поколѣнія, былъ имъ растроганъ, увлеченъ и побѣжденъ. Еще современники стали обращать вниманіе на то, что въ поэзіи Пушкина какъ будто слышатся мотивы „англійскаго барда"; одни стали опасаться за его независимость, другіе же были рады тому, что онъ вступаетъ въ состязаніе съ такимъ соперникомъ. Затѣмъ этотъ вопросъ о „байронизмѣ" Пушкина сталъ достояніемъ критиковъ и историковъ литературы и безчисленное количество разъ дебатировался. Выводъ этихъ споровъ и изслѣдованій установилъ несомнѣнное вліяніе Байрона на нашего художника. До мельчайшихъ подробностей были исчислены всѣ заимствованія или то, что могло показаться заимствованіемъ. Признать однако Пушкина-романтика ученикомъ Байрона не пожелали—изъ національной гордости,—но съ другой стороны, сказать, что онъ ничѣмъ Байрону не былъ обязанъ,—тоже не рѣшились. Споръ принялъ поэтому крайне уклончивый характеръ. Не лучше обстояло дѣло, когда въ самое послѣднее время стали утверждать, что не только Байронъ, но и Шатобріанъ оказалъ на Пушкина, какъ на поэта, рѣшительное вліяніе.

Вопросъ этотъ, конечно, имѣетъ свое историко-литературное значеніе въ оцѣнкѣ творчества Пушкина, но, думается намъ, это значеніе не слѣдуетъ преувеличивать. Всякій писатель, даже очень крупный, въ началѣ своей дѣятельности всегда находится подъ вліяніемъ извѣстныхъ готовыхъ литературныхъ образцовъ и быстро отъ этого вліянія освобождается. Весь вопросъ въ томъ, насколько писатель обязанъ образцу дальнѣйшимъ развитіемъ формы въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ или вообще своимъ поэтическимъ міросозерцаніемъ. Только при такой длительной зависимости отъ образца можетъ быть рѣчь о вліяніи. Ни художественная форма стихотвореній Пушкина, ни тѣмъ болѣе его поэтическое міросозерцаніе не имѣютъ ничего общаго съ поэзіей Байрона. Если въ юности Пушкину пришлось на короткій срокъ полюбить Байрона больше другихъ поэтовъ, то, какъ мы знаемъ, этому во многомъ помогли условія личной его жизни и общее

настроеніе исторической эпохи. Въ еще болѣе ранніе годы Пушкинъ увлекался, какъ извѣстно, стихами Парни опять-таки потому, что они соотвѣтствовали его настроенію, и увлекался онъ этимъ французомъ не меньше, чѣмъ Байрономъ, а можетъ быть, и больше. Однако едва ли можно говорить о вліяніи Парни на поэзію Пушкина. Намъ кажется, что столь же справедливо будетъ признать безспорное увлеченіе Пушкина Руссо, Байрономъ или Шатобріаномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться отъ мысли опредѣлить точно степень ихъ *вліянія* на него. Тотъ фактъ, что нѣкоторыя драматическія положенія въ стихотвореніяхъ Пушкина, иногда цѣлыя фразы или отдѣльныя выраженія напоминаютъ аналогичныя положенія и обороты у иностранныхъ писателей—мало что доказываетъ: есть масса примѣровъ такихъ совпаденій у писателей, другъ отъ друга совсѣмъ независимыхъ. Наконецъ, трудно предположить, чтобы какой-нибудь оригинальный и сильный поэтъ, при процессѣ своей творческой работы дѣлалъ сознательные заимствованія.

Байронъ не помогъ Пушкину разобраться въ той неопредѣленной романтической тревогѣ, какую поэтъ сталъ ощущать въ своемъ сердцѣ, потому что источникъ и смыслъ печали Байрона имѣли очень мало сходнаго съ душевными волненіями нашего поэта. Но что поэзія Байрона и поэзія Шатобріана дали Пушкину, какъ художнику, почувствовать какой богатѣйшій родникъ красоты заключенъ въ этой романтической тревогѣ души человѣческой—это не подлежитъ никакому сомнѣнію.

V. Примиреніе съ жизнью на почвѣ художественнаго созерцанія.

---

1. Когда сравниваешь условія жизни, въ какихъ Пушкину приходилось жить на югѣ, съ тѣми, въ какихъ онъ очутился въ родномъ своемъ гнѣздѣ — въ Михайловскомъ, невольно думаешь о томъ, какъ должно было въ немъ повыситься тревожное чувство протеста противъ властей, противъ людей близкихъ, вообще противъ людей... Изъ-за пустого предлога (неосторожнаго слова въ частномъ письмѣ), а въ сущности изъ-за личныхъ счетовъ съ начальствомъ и его интригъ попадалъ Пушкинъ теперь въ настоящую ссылку, въ глушь, въ даль отъ всякихъ литературныхъ центровъ. Ему былъ запрещенъ выѣздъ изъ деревни даже въ сосѣдній губернскій городъ, за нимъ былъ установленъ настоящій полицейскій надзоръ, и участникомъ этого надзора становился его собственный родитель. Къ безправному положенію вообще присоединялись такимъ образомъ еще семейныя непріятности. Говорятъ, что онѣ доходили до дикихъ сценъ. Отъѣздъ семьи изъ деревни какъ будто улучшилъ положеніе Пушкина, но на смѣну крикливымъ ссорамъ явилось теперь одиночество. Правда, оно скрашивалось знакомствомъ съ сосѣдями—людьми очень интеллигентными, и пріѣздомъ нѣкоторыхъ друзей изъ Петербурга.

Горечь вторичной обиды и несправедливаго обраще-

нія, только что пережитый кризисъ романтической тревоги—все какъ будто указывало на то, что одиночество въ такую минуту только повыситъ раздраженіе и печаль поэта, а отнюдь не умиротворитъ ее. Нужно припомнить также, что къ этому времени (1824) въ кругахъ литературной и военной молодежи политическое настроеніе было сильно приподнято, и активное вмѣшательство въ политику дня было въ принципѣ рѣшеннымъ дѣломъ. Положимъ, ссылка держала Пушкина вдали отъ этого движенія, но и на югѣ онъ имѣлъ возможность встрѣтиться съ людьми, которые подготовляли это движеніе и въ немъ участвовали. Съ нѣкоторыми онъ, дѣйствительно, и встрѣчался. Теперь, живя въ Псковской губерніи, онъ придвинулся къ центру этого движенія. Наконецъ, къ нему въ деревню пріѣхалъ Пущинъ, одинъ изъ участниковъ политической агитаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ его близкій пріятель. Находился Пушкинъ также въ весьма оживленной перепискѣ съ А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ—съ двумя наиболѣе рьяными политиканами. О чемъ они переписывались, намъ доподлинно неизвѣстно, такъ какъ Пушкинъ сжегъ свои бумаги, когда узналъ о возмущеніи 14 декабря. Во всякомъ случаѣ, хотя мы и не имѣемъ точныхъ данныхъ, но мы можемъ предположить, что надвигавшаяся политическая буря чуялась Пушкину и что, конечно, его друзья и корреспонденты не умалчивали передъ нимъ о томъ, о чемъ они довольно громко говорили даже съ посторонними. Можно было думать, что присутствіе въ воздухѣ этого боевого настроенія и этотъ ростъ ярко оппозиціонной мысли повыситъ тревогу души Пушкина, того самаго Пушкина, который еще мальчикомъ былъ такъ смѣлъ въ политическихъ рѣчахъ, шуткахъ и выходкахъ. Какъ теперь этими вопросами волновался Пушкинъ въ тайникѣ души—этого мы не знаемъ, но только на поверхность это волненіе не всплывало и вопреки ожиданіямъ нашимъ поэтъ не отозвался на этотъ довольно громкій призывъ своего времени.

2. Усталость ли отъ впечатлѣній и волненій, только что пережитыхъ, надежда ли найти въ родномъ углу покой, миръ и тишину, необходимыя для всякой передышки,—но поэтъ привѣтствовалъ свое Михайловское

стихотвореніемъ необычайно мирнымъ, спокойнымъ и полнымъ довѣрія къ будущему:

Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ,
Тростникъ болотный долу клонишь?
Зачѣмъ на дальній небосклонъ
Ты облако столь гнѣвно гонишь?
Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облекался;
Недавно дубъ надъ высотой
Въ красѣ надменной величался.
Но ты поднялся, ты взыгралъ,
Ты прошумѣлъ грозой и славой—
И бурны тучи разогналъ,
И дубъ низвергнулъ величавый.
Пускай же солнца ясный ликъ
Отнынѣ радостью блистаетъ,
И облакомъ зефиръ играетъ,
И тихо зыблется тростникъ.

Стихотвореніе это, конечно, не говоритъ о полномъ примиреніи и прощеньи; и въ посланіи къ Н. Языкову, которое Пушкинъ написалъ приблизительно въ это же время, онъ очень откровенно сѣтуетъ на свое подневольное положеніе.

Злобно мной играетъ счастье:
Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье.
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь
Всегда гонимъ, всегда въ изгнаньѣ,
Влачу закованные дни...

Но объ этихъ „закованныхъ“ дняхъ Пушкинъ въ своей поэзіи больше не вспоминаетъ. Въ его стихахъ водворяется удивительно гармоничное и величавое спокойствіе, которое такъ и остается въ нихъ до самой смерти поэта. Положимъ, когда онъ берется за сатирическое посланіе или за столь любимую имъ эпиграмму, онъ бываетъ золъ и остеръ до безпощадности, но онъ всегда владѣетъ собой и своей страстью, и нѣтъ примѣра, гдѣ бы чувство его такъ покоряло, что туманило бы и портило художественное выраженіе.

За годы жизни въ деревнѣ Пушкинъ иногда позволялъ себѣ въ стихахъ наскакивать на своихъ враговъ, но это были теперь, главнымъ образомъ, враги литературные. Къ этому времени относятся, напримѣръ, два зна-

менитыхъ „Посланія къ Цензору“—остроумнѣйшая публицистическая статья въ двухъ главахъ. Въ исторіи нашей цензуры этому стихотворенію должно быть отведено самое почетное мѣсто. Оно направлено не противъ власти, оно въ принципѣ признаетъ „санъ“ цензора священнымъ, видитъ въ немъ защитника алтаря и трона, но оно безпощадно обрушивается на недостойнаго носителя этого сана.

Симпатія и преклоненіе передъ достойными представителями власти начинаютъ теперь смѣнять въ стихахъ Пушкина его недавніе нападки на тѣхъ, кто этой властью злоупотребляетъ. Во второмъ посланіи къ цензору мы читаемъ хвалебный гимнъ министру народнаго просвѣщенія Шишкову, и цѣлая ода посвящена прославленію гражданскихъ доблестей извѣстнаго адмирала Мордвинова. („Н. С. Мордвинову“ 1825). Такія слова, исполненныя довѣрія къ власти, вполнѣ гармонируютъ съ политической мыслью поэта, которая въ это время стала обнаруживать большую уравновѣшенность и спокойствіе.

Для оцѣнки политическаго настроенія Пушкина за это время очень характерно извѣстное его стихотвореніе „Андрей Шенье“ (1825), надѣлавшее въ свое время много шуму. Оно причинило Пушкину много непріятностей, такъ какъ было понято какъ привѣтствіе, написанное будто бы декабристамъ. Стихи написаны были раньше декабрьскихъ событій, и Пушкинъ очень возмущался тѣмъ, что въ нихъ могли заподозрить антиправительственную тенденцію. Въ стихотвореніи этомъ, дѣйствительно, ничего противоправительственнаго не было, но политическая мысль въ немъ была, и притомъ мысль очень зрѣлая и спокойная. Знаменитый французскій лирикъ, погибшій на эшафотѣ жертвой революціоннаго деспотизма, устами Пушкина говорилъ о своемъ политическомъ идеалѣ: „Свобода!“ восклицалъ онъ,—

„Привѣтствую тебя, мое свѣтило!
Я славилъ твой небесный ликъ,
Когда онъ искрою возникъ,
Когда ты въ бурѣ восходило;
Я славилъ твой священный громъ,

Когда онъ разметалъ позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Разсѣялъ пепломъ и стыдомъ;
Я зрѣлъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,
Я слышалъ братскій ихъ обѣтъ,
Великодушную присягу
И самовластію безтрепетный отвѣтъ;
Я зрѣлъ, какъ ихъ могучи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибунъ предрекъ, восторга полный,
Перерожденіе земли.
Уже сіялъ твой мудрый геній,
Уже въ безсмертный Пантеонъ
Святыхъ изгнанниковъ всходили славны тѣни;
Отъ пелены предубѣжденій
Разоблачался ветхій тронъ,
Оковы падали. Законъ,
На вольность опершись, провозгласилъ равенство,
И мы воскликнули: „Блаженство!"...
О горе! о, безумный сонъ!
Гдѣ вольность и законъ? Надъ нами
Единый властвуетъ топоръ.
Мы свергнули царей? Убійцу съ палачами
Избрали мы въ цари! О, ужасъ, о, позоръ!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! нѣтъ, не виновна ты:
Въ порывахъ буйной слѣпоты,
Въ презрѣнномъ бѣшенствѣ народа—
Сокрылась ты отъ насъ. Цѣлебный твой сосудъ
Завѣшенъ пеленой кровавой...
Но ты придешь опять со мщеніемъ и славой—
И вновь твои враги падутъ.
Народъ, вкусившій разъ твой нектаръ освященный,
Все ищетъ вновь упиться имъ;
Какъ будто Вакхомъ разъяренный,
Онъ бредитъ, жаждою томимъ...
Такъ! онъ найдетъ тебя. Подъ сѣнію равенства
Въ объятіяхъ твоихъ онъ сладко отдохнетъ,
И буря мрачная минетъ...

Какъ мало въ этихъ словахъ задора и воинственнаго чувства! Они полны сожалѣнія и жалости къ людямъ, осквернившимъ святыню. Призывъ къ борьбѣ за свободу, борьбѣ неотложной, замѣненъ въ нихъ пѣснью въ честь надежды на грядущее ея торжество. Поэту кажется даже, что онъ, вмѣшавшись въ политическій споръ, совершилъ надъ собой насиліе:

„Куда, куда завлекъ меня враждебный геній?
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній,
Зачѣмъ я покидалъ безвѣстной жизни сѣнь,
Свободу и друзей, и сладостную лѣнь?

Судьба лелѣяла мою златую младость,
Безпечною рукой меня вѣнчала радость,
И муза чистая дѣлила мой досугъ.
На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ,
Я сладко оглашалъ и смѣхомъ, и стихами
Сѣнь, охраненную домашними богами.
Когда-жъ вакхической тревогой утомясь
И новымъ пламенемъ внезапно воспалясь,
Я утромъ, наконецъ, являлся къ милой дѣвѣ
И находилъ ее въ смятеніи и гнѣвѣ;
Когда съ угрозами, и слезы на глазахъ,
Мой проклиная вѣкъ, утраченный въ пирахъ,
Она меня гнала, бранила и прощала,
Какъ сладко жизнь моя лилась и утекала!
Зачѣмъ отъ жизни сей, лѣнивой и простой,
Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой,
Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные невѣжды,
И злоба и корысть! Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что дѣлать было мнѣ,
Мнѣ, вѣрному любви, стихамъ и тишинѣ,
На низкомъ поприщѣ съ презрѣнными бойцами?
Мнѣ-ль было управлять строптивыми конями
И круто направлять безсильныя бразды?
И что-жъ оставлю я? Забытые слѣды
Безумной ревности и дерзости ничтожной!
Погибни, голосъ мой, и ты, о призракъ ложный,
Ты, слово, звукъ пустой...

Но, конечно, такое самообвиненіе—очень характерное въ устахъ Шенье-Пушкина—только минутный наплывъ сомнѣнья. Поэтъ понимаетъ, что, слагая пѣсни въ честь свободы, онъ не измѣнилъ своему назначенію, а искренно и честно высказалъ то, что думалъ; онъ знаетъ, что никто не смѣетъ оспаривать права поэта быть судьей великихъ дѣлъ, совершающихся на его глазахъ:

О! нѣтъ!
Умолкни, ропотъ малодушный!
Гордись и радуйся, поэтъ:
Ты не поникъ главой послушной
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ,
Ты презрѣлъ мощнаго злодѣя;
Твой свѣточъ, грозно пламенѣя,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
Совѣтъ правителей безславныхъ,
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ
Сихъ палачей самодержавныхъ;
Твой стихъ свисталъ по ихъ главамъ;
Ты звалъ на нихъ, ты славилъ Немезиду;
Ты пѣлъ Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дѣву-эвмениду:

Когда святой старикъ отъ плахи отрывалъ
Вѣнчанную главу рукой оцѣпенѣлой,
Ты смѣло имъ обоимъ руку далъ,
И передъ вами трепеталъ
Ареопагъ остервенѣлый.
Гордись, гордись пѣвецъ! а ты, свирѣпый звѣрь,
Моей главой играй теперь:
Она въ твоихъ когтяхъ. Но слушай, знай безбожный:
Мой крикъ, мой ярый смѣхъ преслѣдуетъ тебя!
Пей нашу кровь, живи губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный!

Въ этихъ словахъ многое напоминаетъ уже сказанное Пушкинымъ въ его юношескомъ „Кинжалѣ“, но какъ отличны эти два стихотворенія по темпу и, главное, по тону. Въ томъ юношескомъ призывѣ—все, буря страстей, необузданное волненіе; здѣсь—строгій и грустный итогъ политической мысли, много поработавшей и въ этой работѣ утратившей всѣ страсти, кромѣ убѣжденности въ своей правотѣ.

Стихотвореніе Пушкина „Андрей Шенье“, помимо роста политической мысли художника, заключаетъ въ себѣ указаніе на развитіе и еще одной мысли, очень существенной для творчества поэта, а именно — мысли о назначеніи художника, объ его отношеніи къ тревогѣ дня и въ частности къ людямъ, къ толпѣ людской, производящей эту тревогу. Надъ этимъ отношеніемъ Пушкинъ до сихъ поръ думалъ мало. Судя по юношескимъ стихотвореніямъ, высшимъ блаженствомъ поэта считалъ онъ невмѣшательство въ дѣла мірскія и беззаботное уединеніе. Затѣмъ, какъ мы видѣли, это беззаботное уединеніе было нарушено открытымъ вмѣшательствомъ въ мірскія дѣла, за что и пришлось понести не соотвѣтствующее винѣ наказаніе. Теперь поэтъ вновь былъ занятъ мыслью о своей общественной миссіи и—судя по стихотворенію „Шенье“—поздравилъ себя съ тѣмъ, что онъ откликнулся на серьезную сторону житейской драмы, хотя и высказалъ мимолетное сожалѣніе о томъ, что въ эту борьбу вмѣшался. Желаніе идти въ этомъ направленіи у Пушкина однако быстро исчезло, и скоро (1828) онъ пришелъ въ этомъ вопросѣ къ тому законченному и цѣльному выводу, который многими его недоброжелате-

лями былъ истолкованъ какъ спесивое и горделивое презрѣніе къ толпѣ.

Въ стихахъ того времени, о которомъ говоримъ мы, Пушкинъ ближе всего подошелъ къ этой темѣ въ извѣстномъ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“ (1824), который онъ предпослалъ первой главѣ своего „Онѣгина“. Въ „Разговорѣ“ остались слѣды недавнихъ тревогъ: поэтъ разочарованъ, угрюмъ, отъ людей держится въ сторонѣ и совсѣмъ безъ увлеченія смотритъ на свое собственное творчество. На вопросъ, въ чемъ кроется причина такого унылаго состоянія духа, художникъ—совсѣмъ какъ въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“—отвѣчаетъ ссылкой на отвергнутую любовь женщины, какъ на главнѣйшій источникъ своего разочарованія. Но мы можемъ ему не повѣрить. Причина, конечно, лежитъ глубже. Она въ томъ, что онъ въ людяхъ не нашелъ того отклика, на который разсчитывалъ. Книгопродавецъ говоритъ ему:

Но слава замѣнила вамъ
Мечтанья тайнаго отрады—
Вы разошлися по рукамъ,
Межъ тѣмъ какъ пыльныя громады
Лежалой прозы и стиховъ
Напрасно ждутъ себѣ чтецовъ
И вѣтреной ея награды.

И поэтъ отвѣчаетъ:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья!
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ,
И терномъ славы не увитый,
Презрѣнной чернію забытый,
Безъ имени покинулъ свѣтъ!
Обманчивѣй и сновъ надежды,
Что̀ слава? Шопотъ ли чтеца?
Гоненье-ль низкаго невѣжды?
Иль восхищеніе глупца?

На вопросъ, что же остается ему, „утомленному любовью“, „ему, которому наскучилъ лепетъ молвы?“ онъ отвѣчаетъ однимъ словомъ: „Свобода“. Поэтъ произнесъ то многозначительное слово, которое потомъ

такъ часто повторялось при нескончаемыхъ спорахъ, о „свободѣ искусства“. Пушкинъ не пояснилъ, что онъ въ данномъ случаѣ подъ этимъ словомъ разумѣетъ, но несомнѣнно, что это не была пустая отговорка. Въ очень туманныхъ очертаніяхъ возникала передъ поэтомъ необычайно сложная проблема. Надлежало рѣшить вопросъ о томъ, насколько поэтъ можетъ быть свободенъ въ своемъ творчествѣ, т. е. насколько для него обязательны тѣ условія гражданской жизни, среди которой ему жить приходится. Имѣетъ ли онъ право остаться самимъ собой, не выходя изъ круга чувствъ и понятій, которыя ему, какъ художнику, милы, или, сознавая свою исключительную роль въ обществѣ, онъ долженъ худо ли, хорошо ли, но откликаться на явленія, которыя могутъ совсѣмъ не интересовать его, какъ художника? Вопросъ этотъ былъ долгое время больнымъ вопросомъ, обиднымъ для художника, который никакъ не могъ допустить насилія надъ собой, и также обиднымъ для читателя, который, любя поэта, не хотѣлъ согласиться съ тѣмъ, что онъ не имѣетъ права требовать отъ художника отвѣта на всѣ вопросы, которые его, читателя, интересуютъ. Время этотъ споръ рѣшило. Когда преимущественно субъективное отношеніе художника къ міру и къ себѣ смѣнилось объективнымъ, когда чувство общественной солидарности возросло въ обществѣ, тогда и художникъ, приблизившійся къ злобѣ дня, пересталъ смотрѣть на эту злобу какъ на насиліе надъ своимъ талантомъ и начиналъ находить поэзію тамъ, гдѣ раньше предполагалъ одну лишь прозу. Въ эпоху, о которой говоримъ мы, въ эпоху еще только слагавшагося эстетическаго отношенія нашего къ жизни, въ періодъ крайняго субъективизма художника, а также въ годы сентиментальной довѣрчивости къ жизни—нельзя было требовать отъ поэта всесторонняго отклика. Многія стороны жизни онъ самовольно исключалъ изъ сферы своего интереса какъ „недостойныя“ поэзіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ художникъ не могъ отдѣлаться отъ мысли, что онъ—учитель и насадитель добрыхъ нравовъ. Эта мысль досталась ему по наслѣдству отъ XVIII вѣка и кромѣ того поддерживалась въ немъ его сентиментальнымъ міропониманіемъ. Какъ же по-

мирить это наставничество съ игнорированіемъ тѣхъ многихъ сторонъ жизни, гдѣ такое наставничество могло быть болѣе чѣмъ у мѣста, какъ напримѣръ, въ области общественныхъ и политическихъ дѣлъ? Вопросъ былъ очень трудный, и его на первыхъ порахъ старались рѣшить на почвѣ чистой отвлеченной философской мысли. Но не всѣ къ такому рѣшенію были склонны, и Пушкинъ, напримѣръ, имъ всегда тяготился. И онъ предпочиталъ какъ можно рѣже думать объ этомъ вопросѣ и шелъ своей дорогой, не насилуя своего таланта, а въ полномъ смыслѣ слова „отдаваясь вдохновенію". — Вотъ почему во всѣхъ его стихотвореніяхъ, гдѣ онъ говоритъ объ отношеніи поэта къ толпѣ, къ ея нуждамъ, ко всей прозѣ жизни, въ томъ числѣ и къ политикѣ дня, —очень мало продуманной теоріи и очень много сознанія своей свободы, сознанія, которое при началѣ знакомства съ Пушкинымъ и съ его эпохой можетъ показаться просто гордыней или индифферентизмомъ. Въ ранней юности былъ онъ безпеченъ и очень веселъ и мало думалъ о какихъ-то обязанностяхъ поэта, затѣмъ онъ вмѣшался въ политику дня и одно время ему нравилась роль воинствующаго поборника либерализма—именно нравилась, а не то, чтобы онъ ставилъ себѣ ее въ обязанность,—и вотъ теперь, въ Михайловскомъ, онъ отъ этой политики отошелъ очень спокойно, и отошелъ въ то время, когда вокругъ него политическія страсти его друзей разгорались. Свободное творчество влекло его въ другомъ направленіи, все дальше и дальше отъ окружавшей его жизни, въ міръ видѣній или въ міръ прошлый, а всего чаще въ міръ личныхъ настроеній и чувствъ.

Удивительно художественно становится теперь выраженіе этихъ личныхъ ощущеній. Первое мѣсто въ нихъ попрежнему принадлежитъ любви, опять ясной, хоть и грустной минутами („Признаніе", 1824. „Сожженное письмо", 1825. „Желаніе славы", 1825. „Къ А. П. Кернъ", 1825). Наибольшей душевной теплоты достигаетъ эта лирика въ тѣхъ стихахъ, въ которыхъ свѣтится грусть одиночества. Въ этомъ отношеніи „Зимній вечеръ" (1825): „Буря мглою небо кроетъ"—верхъ совершенства художественной передачи въ конкретныхъ об-

разахъ едва уловимаго настроенія. Это настроеніе одиночества, но свѣтлаго и полнаго надеждъ, передано отчетливо и въ знаменитомъ стихотвореніи „19 октября 1825“.

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

И жизнь поэта, дѣйствительно, какъ будто скрылась на время подъ сѣнь уединенія. Не надо только думать, что это уединеніе всегда будило въ художникѣ грустныя чувства. Несмотря на далеко не благопріятную для веселья обстановку, Пушкина охватывало иногда удивительно жизнерадостное настроеніе. Ему обязаны мы, напримѣръ, стихотвореніемъ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись!
Въ день унынія смирись:
День веселья, вѣрь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило; (1825)

и той „Вакхической пѣснью“, передъ которой блѣднѣютъ всѣ диѳирамбы веселью:

Чтò смолкнулъ веселія гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы
И юныя жены, любившія насъ!
Полнѣе стаканъ наливайте!
На звонкое дно,
Въ густое вино
Завѣтныя кольца бросайте!
Поднимемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма! (1825)

Въ одну изъ спокойныхъ и торжественныхъ минутъ, прожитыхъ въ уединеніи, рѣшился Пушкинъ облечь въ стихотворную форму одинъ порядокъ чувствъ, довольно

сильныхъ въ его душѣ, которымъ онъ однако въ своемъ творчествѣ удѣлилъ въ общемъ очень мало мѣста. Мы разумѣемъ чувства религіозныя. Пушкинъ по натурѣ своей былъ человѣкъ религіозный; это подтверждаютъ всѣ его знавшіе, и притомъ онъ былъ вѣрующій христіанинъ и православный. Эта религіозность—черта, общая всему его поколѣнію. Въ молодости, подъ вліяніемъ французской литературы и изъ юношескаго задора онъ позволялъ себѣ не мало богохульныхъ рѣчей и стиховъ, которые были ни болѣе, ни менѣе какъ игра воображенія и острословіе—для внутренняго его религіознаго чувства совсѣмъ неопасное. Самъ онъ очень раскаивался въ этихъ своихъ прегрѣшеніяхъ и отказывался признать своими стихи, несомнѣнно, ему принадлежащіе. Когда, живя на югѣ, онъ по собственнымъ его словамъ, сталъ брать уроки настоящаго „аѳеизма", то и это вольнодумство не поколебало въ немъ его вѣры. Въ своихъ стихахъ онъ однако избѣгалъ религіозныхъ темъ и въ особенности темъ христіанскихъ, потому ли, что они были слишкомъ интимны и могли озадачить читателя, которому хорошо были знакомы богохульные стихи Пушкина, потому ли, что поэту не давалась художественная форма, достойная этихъ мотивовъ, — неизвѣстно. Но теперь онъ позволилъ себѣ этихъ темъ коснуться въ своихъ „Подражаніяхъ Корану" (1824). Коранъ — книга религіозная и воинственная, но воинственнаго настроенія въ душѣ Пушкина не было, когда онъ принялся перелагать эту книгу въ стихи; онъ взялъ изъ книги только нѣсколько религіозныхъ мотивовъ. Если въ этихъ стихотвореніяхъ отбросить строфы, въ которыхъ поэтъ удержалъ мѣстный, восточный колоритъ, достаточно чувственный, то получится необычайно выдержанный гимнъ Богу, вознесенному надъ всѣми исповѣданіями.

„Подражанія" начинаются со стихотворенія, которое можетъ быть отнесено къ самому Пушкину:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звѣздой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нѣтъ, не покинулъ я тебя.
Кого же въ сѣнь успокоенья
Я ввелъ, главу его любя,
И скрылъ отъ зоркаго гоненья?

Не я ль въ день жажды напоилъ
Тебя пустынными водами?
Не я ль языкъ твой одарилъ
Могучей властью надъ умами?
Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезею правды бодро слѣдуй,
Люби сиротъ, и мой коранъ
Дрожащей твари проповѣдуй!—

и затѣмъ слѣдуютъ прославленіе Бога и молитвы:

Почто жъ кичится человѣкъ?
За то ль, что нагъ на свѣтъ явился,
Что дышитъ онъ недолгій вѣкъ,
Что слабъ умретъ, какъ слабъ родился?
За то ль, что Богъ и умертвитъ,
И воскреситъ его по волѣ?
Что съ неба дни его хранитъ
И въ радостяхъ, и въ горькой долѣ?
За то ль, что далъ ему плоды,
И хлѣбъ, и финикъ, и оливу,
Благословивъ его труды
И вертоградъ, и холмъ, и ниву?
Но дважды ангелъ вострубитъ;
На землю громъ небесный грянетъ:
И братъ отъ брата побѣжитъ,
И сынъ отъ матери отпрянетъ.
И всѣ предъ Бога притекутъ,
Обезображенные страхомъ:
И нечестивые падутъ,
Покрыты пламенемъ и прахомъ.
Земля недвижна; неба своды,
Творецъ, поддержаны тобой,
Да не падутъ на сушь и воды
И не подавятъ насъ собой.

Зажегъ ты солнце во вселенной,
Да свѣтитъ небу и землѣ,
Какъ ленъ, елеемъ напоенный,
Въ лампадномъ свѣтитъ хрусталѣ.
Творцу молитесь; онъ—могучій;
Онъ правитъ вѣтромъ въ знойный день,
На небо посылаетъ тучи;
Даетъ землѣ древесну сѣнь.
Онъ милосердъ: онъ Магомету
Открылъ сіяющій коранъ,
Да притечемъ и мы ко свѣту,
И да падетъ съ очей туманъ.

Есть и нравственныя сентенціи:

Торгуя совѣстью предъ блѣдной нищетою,
Не сыпь своихъ даровъ разсчетливой рукою;
Щедрота полная угодна небесамъ.
Въ день грознаго суда, подобно нивѣ тучной,
О, сѣятель благополучный,
Сторицею воздастъ она твоимъ трудамъ.
Но если, пожалѣвъ трудовъ земныхъ стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань,
Знай: всѣ твои дары подобно горсти пыльной,
Что съ камня моетъ дождь обильный,
Исчезнутъ,—Господомъ отверженная дань.

И кончается этотъ сборникъ стиховъ великолѣпной картиной, полной религіознаго смысла и настроенія:

И путникъ усталый на Бога роптал.
Онъ жаждой томился и тѣни алкалъ,
Въ пустынѣ блуждая три дня и три ночи.
И зноемъ, и пылью тягчимыя очи
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ...
И кладезь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ.
И къ пальмѣ пустынной онъ бѣгъ устремилъ,
И жадно холодной струей освѣжилъ
Горѣвшіе тяжко языкъ и зѣницы,
И легъ, и заснулъ онъ близъ вѣрной ослицы;
И многіе годы надъ нимъ протекли,
По волѣ владыки небесъ и земли.
Насталъ пробужденья для путника часъ;
Встаетъ онъ и слышитъ невѣдомый гласъ:
„Давно ли въ пустынѣ заснулъ ты глубоко?“
И онъ отвѣчаетъ:—Ужъ солнце высоко
На утреннемъ небѣ сіяло вчера:
Съ утра я глубоко проспалъ до утра.—
Но голосъ: „О, путникъ, ты долѣе спалъ;
Взгляни: легъ ты молодъ, а старцемъ возсталъ;
Ужъ пальма истлѣла, а кладезь холодный
Изсякъ и засохнулъ въ пустынѣ безводной
Давно занесенный песками степей;
И кости бѣлѣютъ ослицы твоей“.
И горемъ объятый, мгновенный старикъ,
Рыдая, дрожащей главою поникъ...
И чудо въ пустынѣ тогда совершилось:
Минувшее въ новой красѣ оживилось;
Вновь зыблется пальма тѣнистой главой;
Вновь кладезь наполненъ прохладой и мглой.
И ветхія кости ослицы встаютъ,
И тѣломъ одѣлись, и ревъ издаютъ;
И чувствуетъ путникъ и силу, и радость;

Въ крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь,
И съ Богомъ онъ далѣ пускается въ путь.

3. Въ селѣ Михайловскомъ былъ написанъ Пушкинымъ и „Борисъ Годуновъ". Задумана была и создалась эта драма быстро, и самъ авторъ остался, кажется, вполнѣ доволенъ своимъ произведеніемъ. Онъ понималъ, что онъ создалъ нѣчто великое, совсѣмъ самобытное и своеобразное.

У Пушкина былъ прирожденный вкусъ къ народной старинѣ; онъ не переставалъ ею заниматься всю жизнь, и она всегда поддавалась подъ его перомъ необычайно художественной обработкѣ. Въ Михайловскомъ онъ былъ занятъ собираніемъ народныхъ пѣсенъ, причемъ его очень интересовалъ циклъ легендъ о Стенькѣ Разинѣ,—интересъ, вполнѣ объяснимый, если мы припомнимъ, что поэтъ только что пережилъ настроеніе, при которомъ ему такъ нравились братья-разбойники. Работа надъ народнымъ творчествомъ прибавила много красокъ на палитру художника и помогла ему выковать особый языкъ—народный по оборотамъ и выраженіямъ, образный и мѣткій, которымъ одинъ только онъ изъ всѣхъ своихъ современниковъ умѣлъ владѣть вполнѣ непринужденно.

У насъ очень мало свѣдѣній о томъ, какъ двигалась работа Пушкина надъ „Борисомъ Годуновымъ". Извѣстно, что онъ читалъ усердно исторію Карамзина и что именно тотъ томъ, гдѣ Карамзинъ говоритъ о Борисѣ, произвелъ на поэта столь сильное впечатлѣніе, что онъ въ своей драмѣ повторилъ сентенціи исторіографа. Связь между исторіей Карамзина и „Борисомъ" несомнѣнна, хотя къ основной политической мысли драмы, мысли,—которую можно выразить приблизительно такъ: *„Самодержавная власть должна быть дарована свыше, а не исторгнута силой, хотя бы эта сила опиралась на большой умъ и доброжелательные помыслы"* — Пушкинъ могъ прійти и самостоятельно.

Смутное время было въ нашемъ прошломъ эпохой наибольшаго политическаго и общественнаго броженія и пожалуй самымъ драматическимъ моментомъ нашей

старины. Трагедія самодержавнаго деспотизма въ лицѣ Іоанна, безвольнаго мягкосердечія и сентиментальнаго добродушія въ лицѣ Ѳеодора—трагедія крупнаго государственнаго дѣятеля, который долженъ пройти черезъ преступленіе, чтобы сдѣлать добро и спасти государство отъ разложенія; немыслимое сочетаніе такого преступленія съ понятіемъ о власти, дарованной отъ Бога, и потому недовѣріе народа и ропотъ его на владыку, на царя-узурпатора; Немезида въ лицѣ какого-то самозванца и, наконецъ, вдали соборъ народный, который избираетъ себѣ царя и какъ бы. вмѣстѣ съ Богомъ ставитъ его на царство,—всѣ эти мысли, образы, картины, мечты и факты не могли не поразить воображенія и не вызвать творческой фантазіи истиннаго художника; и мы знаемъ, что почти всѣ наши драматурги и до Пушкина, и послѣ Пушкина всегда, худо ли, хорошо ли, черпали свои драматическія завязки и положенія именно изъ эпизодовъ этой „смутной“ эпохи.

Но, кажется намъ, были еще и иныя причины, которыя эту тему дѣлали для Пушкина особенно интересной. Въ основѣ своей тема была политическая, какъ бы мы ни старались выдвигать на первый планъ ея чисто моральную сторону. Психологія царя-деспота, царя-просвѣтителя, царя-сентименталиста, психологія народа покорнаго, суевѣрнаго, затѣмъ мятежнаго, и, наконецъ, въ извѣстномъ смыслѣ законодательствующаго и выбирающаго себѣ правителя,—это были темы, о которыхъ въ тѣ годы много говорилось, такъ какъ онѣ были очередными темами Александровскаго царствованія. И Пушкинъ объ этихъ темахъ бесѣдовалъ много, и если вспомнить, что идею и даже планъ „Бориса Годунова“ Пушкинъ обдумывалъ еще на югѣ, въ періодъ своихъ „бурныхъ стремленій“, то можно предположить, что эта тема привлекла его не однимъ только своимъ драматизмомъ и тѣмъ урокомъ, который изъ нея можно было вычитать по Карамзину.

Какой вышла бы драма, если бы она была закончена именно въ періодъ „бурныхъ стремленій“,—гадать безполезно, но въ томъ видѣ, какъ она теперь передъ нами, она свидѣтельствуетъ о пониженіи всякаго боевого настроенія у писателя. Изъ трагедіи исторической, а стало

быть, и политической, она превратилась въ изложенный въ драматической формѣ разсказъ о преступленіи царя, мученіяхъ его совѣсти и его трагическомъ концѣ... Моральная сторона трагедіи выдвинута съ удивительной полнотой и ясностью, которая даже, можетъ быть, грѣшитъ противъ исторіи, такъ какъ степень участія Бориса въ убіеніи Димитрія-царевича наврядъ ли можетъ быть опредѣлена съ точностью. Все, что способствуетъ выясненію этой трагедіи кающейся и караемой души очерчено очень выпукло... Быть можетъ, въ интересахъ морали, и посланникъ Немезиды, Самозванецъ—личность довольно-таки темная — вырисованъ въ такихъ смѣлыхъ, привлекательныхъ, рыцарскихъ краскахъ. Но соціальный и политическій фонъ въ драмѣ отсутствуетъ, и одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, народъ—„молчитъ". Нельзя забывать, конечно, о цензурныхъ условіяхъ, о которыхъ поэтъ долженъ былъ думать столько же, сколько о планѣ своей драмы; нужно припомнить также, что и тѣ нѣсколько возгласовъ, которые въ драмѣ произноситъ своими устами народъ, причиняли Пушкину большое безпокойство, но все-таки характерно для исторіи развитія настроенія поэта то, что государственная драма свелась для него къ драмѣ семейной, и вопросъ политическій преобразился въ чисто нравственный. Радость, которую Пушкинъ неоднократно выражалъ въ своихъ письмахъ по поводу „Бориса", увлеченіе своей драмой и увѣренность въ ея высокой стоимости показываютъ намъ, кромѣ того, что художникъ былъ убѣжденъ, что сюжетъ имъ использованъ въ полной мѣрѣ.

„Борисъ „Годуновъ" помимо значенія, которое онъ имѣетъ какъ показатель извѣстнаго направленія мыслей поэта—имѣетъ громадную цѣнность историко-литературную. Это—наша первая художественная драма, и каковы бы ни были ея недостатки именно какъ драмы, она первая дала намъ право говорить о нашемъ національномъ историческомъ театрѣ.

Наша трагедія и комедія XVIII вѣка была либо чисто подражательная, либо подражательная наполовину. Мы втискивали въ формы французской тра-

гедіи и комедіи, или въ формы нѣмецкой сентиментальной драмы—сюжеты, которые намъ давала наша старина и тѣ поверхностныя наблюденія, которыя намъ случалось дѣлать надъ повседневной нашей жизнью. Даже крупный талантъ фонъ-Визина не смогъ освободиться отъ литературныхъ традицій и создать самобытную комедію. Онъ успѣлъ создать только нѣсколько самобытныхъ сценъ, которыя вставилъ въ комедію заимствованной формы съ ярко дидактической тенденціей. Онъ былъ сатирикъ больше, чѣмъ драматургъ, какъ и вообще всѣ его современники, писавшіе для театра... Вплоть до Пушкина мы не имѣли писателя драматурга, который, презрѣвъ всякія извнѣ навязанныя теоріи, владѣя художественнымъ языкомъ, вывелъ бы намъ на сцену русскую жизнь, про которую мы могли бы сказать, что въ ней нѣтъ и слѣда поддѣлки подъ какую нибудь иную жизнь, чуждую намъ или подъ какую-нибудь общую формулу жизни вообще. „Борисъ Годуновъ“ самобытенъ въ полномъ смыслѣ этого слова, потому что въ немъ нѣтъ ни общихъ собирательныхъ типовъ, ни чужихъ типовъ, одѣтыхъ въ русскіе костюмы. Пушкинъ могъ старину идеализировать или подкрасить, но она—русская, а не какая-нибудь иная. Онъ могъ у Шекспира учиться техникѣ построенія исторической хроники—какъ онъ въ этомъ открыто и признавался,—но въ драмѣ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда подражанія Шекспиру. Пушкинъ могъ читать наставленіе, проводить извѣстную нравственную идею, но нигдѣ у него эта идея не давила, не искажала формы, нигдѣ не нарушала правдоподобія въ ходѣ дѣйствія или въ разговорахъ. Пушкинымъ была создана художественная драматическая хроника, и съ нея началась исторія нашего *художественнаго* театра. Что эта художественность на первыхъ порахъ облеклась въ формы старинной жизни, а не современности, то это было въ духѣ того времени, когда художникъ вообще избѣгалъ современныхъ темъ, предохранялъ свою поэзію отъ близкаго соприкосновенія съ текущей жизнью и предпочиталъ говорить все больше о себѣ, облекая свои чувства, настроенія и мысли въ форму либо личной лирики, либо легендарныхъ и историческихъ сюжетовъ. Настоящую реальную

художественную комедію далъ намъ только Гоголь, десять лѣтъ спустя послѣ того, какъ „Борисъ Годуновъ“ былъ написанъ.

4. Обозрѣвая ростъ таланта Пушкина за тѣ восемь лѣтъ, которыя протекли со времени выхода поэта изъ лицея, нельзя не подивиться быстротѣ, съ какой въ немъ зрѣлъ художникъ. Въ селѣ Михайловскомъ дарованіе его достигло полнаго расцвѣта: правда, онъ успѣлъ написать еще сравнительно немного, — но онъ былъ уже вполнѣ сложившійся художникъ.

Отличительной чертой этого художника была многогранность, если такъ можно выразиться, его вдохновенія. Онъ былъ способенъ, какъ поэтъ, овладѣвалъ самыми разнообразными настроеніями и чувствами — переживая ихъ и потому такъ художественно ихъ воплощая. Онъ рано обнаружилъ способность — чувствовать себя своимъ въ разныхъ положеніяхъ, въ какихъ стоялъ человѣкъ иногда въ очень отдаленную отъ поэта эпоху, среди условій, совсѣмъ не походившихъ на тѣ, въ которыхъ жилъ художникъ. Эта способность придавала поэзіи Пушкина тотъ характеръ универсальности, которую иногда принимали за его полную будто бы „объективность“ какъ художника. Но объективенъ въ настоящемъ смыслѣ слова Пушкинъ не былъ: онъ въ минуту творчества себя не забывалъ; онъ иносказательно, но всегда говорилъ о себѣ, о своемъ внутреннемъ мірѣ, который былъ очень глубокъ и широкъ, но все-таки исключалъ цѣлый рядъ понятій и чувствъ, которыя поэтъ и не включалъ въ свою поэзію. Мы знаемъ, какіе это были понятія и чувства. Всѣ чувства, которыя вырастаютъ на почвѣ разлада съ жизнью, на почвѣ острой душевной тревоги, которыя принимаютъ форму рѣзкаго протеста противъ человѣка, общества или Бога, всѣ эти „романтическія“ чувства Пушкина, какъ художника, покорить не могли. Онъ заплатилъ имъ извѣстную дань въ годы своей молодости, попытался дать имъ художественную форму — что даже при его громадномъ талантѣ удалось ему лишь на-половину,—и затѣмъ онъ навсегда отошелъ отъ нихъ. Въ его власти какъ художника осталась вся

гармоничная сторона жизни—отъ трагической вплоть до веселой—и эту сторону жизни, которая такъ согласовалась съ его художественно-уравновѣшенной душой, онъ воспроизводилъ въ совершенствѣ.

Этотъ субъективизмъ уравновѣшеннаго художника можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ и на одинъ очень туманный эпизодъ молодой жизни Пушкина. Извѣстно, что къ дѣлу по возстанію 14 декабря, въ которомъ участвовало очень много личныхъ друзей Пушкина, онъ привлеченъ не былъ. Если принять во вниманіе, что по этому дѣлу привлекали многихъ людей, которые имѣли къ нему лишь самое отдаленное прикосновеніе, то остается предположить, что Пушкинъ рѣшительно ничего не зналъ объ этомъ возстаніи и что знакомые его, въ своихъ показаніяхъ очень откровенные, рѣшительно ничего не могли сказать о Пушкинѣ какъ о соучастникѣ, даже отдаленномъ, въ ихъ дѣлѣ, потому что вообще ничего ему объ этомъ дѣлѣ не говорили. Установилось даже предположеніе, почему именно эти друзья Пушкину ничего не сказали о своихъ планахъ: думаютъ, что они либо не могли положиться на него, какъ на слишкомъ „легкомысленнаго“ человѣка, либо не хотѣли вовлекать его въ опасное дѣло, щадя въ немъ генія. Эти объясненія едва ли могутъ быть приняты, такъ какъ декабристы въ свое общество привлекали людей, которые могли имъ казаться и были, дѣйствительно, гораздо болѣе „легкомысленны“, чѣмъ Пушкинъ, и такъ какъ при всей своей славѣ Пушкинъ еще не могъ казаться имъ такимъ геніемъ, какимъ онъ теперь стоитъ передъ нами: вѣдь ухаживали же декабристы за Грибоѣдовымъ и числили въ своей средѣ писателей, которыхъ они тогда очень высоко ставили. Если припомнить къ тому же, что Пушкинъ сжегъ свои бумаги, когда узналъ о событіяхъ 14 декабря, что онъ—какъ разсказываютъ—почему-то вдругъ наканунѣ рокового числа собрался въ Петербургъ и съ дороги вернулся обратно въ деревню,—то едва ли можно допустить его полное невѣдѣніе того, что замышлялось. И остается тогда предположить, что онъ своимъ друзьямъ далъ понять, на словахъ ли или молчаливо, что онъ въ этомъ дѣлѣ не съ ними. И они молчали о немъ, какъ и онъ молчалъ о нихъ, пока ихъ

VI. „Плеяда“.

1. Обзоръ творчества Пушкина показалъ намъ какого художественнаго совершенства достигла его лирическая пѣсня. Если имѣть въ виду одну только художественность выполненія, то всѣ сверстники Пушкина, конечно, блѣднѣютъ передъ нимъ, и почти всѣ ихъ пѣсни находятъ себѣ въ его творчествѣ параллели, не только равныя имъ по достоинству, но всего чаще и превосходящія ихъ. Однако обойти молчаніемъ этихъ лириковъ, пѣвцовъ своей радости и печали, было бы несправедливо.

Характерно, во-первыхъ, ихъ массовое появленіе. Ихъ очень много, и всѣ они, безспорно, люди съ талантомъ; они гораздо болѣе талантливы, чѣмъ современные имъ прозаики, которые берутся за трудную тему бытописанія окружающей ихъ жизни. Въ то время какъ эти начинающіе бытописатели-романисты и разсказчики либо повторяютъ старый литературный шаблонъ въ своихъ повѣстяхъ и романахъ, либо очень неумѣло, съ нескрываемой дидактической и моральной тенденціей, пытаются создать нѣчто похожее на русскую жизнь—что́ имъ совсѣмъ не удается — наши лирики, пѣвцы личныхъ чувствъ, всегда искренни, всегда владѣютъ своимъ матерьяломъ и почти всѣ достигаютъ въ художественной его обработкѣ довольно высокой степени оригинальности и совершенства. Этотъ фактъ лишній разъ доказываетъ намъ, насколько художникъ, субъективно относящійся къ жизни, былъ въ тѣ годы

сильнѣе писателя, дѣлавшаго попытки скрыть свою личность за изображаемымъ предметомъ. Лирическое настроеніе — господствующее настроеніе той эпохи.

Кромѣ своей численности наши лирики двадцатыхъ годовъ импонируютъ и своей силой. Пусть Пушкинъ самый разносторонній и сильный изъ нихъ, но область лирическихъ чувствъ широка, и одно и то же чувство таитъ въ себѣ столько разнообразныхъ оттѣнковъ, что оно почти неисчерпаемо, и повтореній въ лирическихъ стихахъ не бываетъ. Что-нибудь свое вноситъ каждый лирикъ.

Наконецъ, — и это самое главное—лирика Пушкина все-таки при всей своей широтѣ обходила нѣкоторыя настроенія или очень неполно ихъ выражала. Мы уже знаемъ, что, напримѣръ, печальная сторона жизни въ лирикѣ Пушкина этихъ годовъ была выражена недостаточно полно, безъ той глубины, которая есть въ истинно скорбномъ взглядѣ на жизнь. Мотивъ гражданскій и политическій, мы помнимъ, былъ также случайностью въ творчествѣ Пушкина и исчезъ очень быстро. А между тѣмъ область чисто гражданскихъ чувствъ можетъ стать богатымъ родникомъ для лирическаго настроенія и подъема. Наконецъ, есть и еще область лирическихъ чувствъ, которыя Пушкину были почти чужды. Это—то восторженное чувство, какое въ человѣкѣ будитъ отвлеченная мысль на извѣстной своей высотѣ. Есть философское созерцаніе жизни, которое настраиваетъ душу поэта очень патетически, въ особенности когда въ сферу этихъ отвлеченныхъ мыслей входитъ раздумье поэта надъ собственнымъ своимъ міровымъ призваніемъ. Пушкинъ не имѣлъ склонности къ отвлеченному мышленію, и слѣды такого настроенія въ стихахъ его еле замѣтны.

Современные Пушкину лирики дополняли исповѣдь души своей эпохи всѣми этими мотивами, въ Пушкинской поэзіи слабо развитыми.

Эта характерная исповѣдь вѣка, искренняя и очень красивая, открывается намъ, такимъ образомъ, въ лирикѣ Пушкина и въ пѣсняхъ, какъ принято говорить, его „плеяды“. Въ составъ этой плеяды входятъ (чтобы назвать лишь самыхъ сильныхъ) Баратынскій, Языковъ, Веневитиновъ и Рылѣевъ.

2. Слово „плеяда“ передаетъ очень вѣрно то отношеніе, въ какомъ эти писатели стоятъ къ Пушкину. Они, дѣйствительно, группируются вокругъ него, какъ звѣзды меньшей величины около большой звѣзды. Они горятъ своимъ свѣтомъ и учениками Пушкина ни въ какомъ смыслѣ названы быть не могутъ. Сами они, отдавая Пушкину должное, считали себя вполнѣ независимыми, да и онъ самъ признавалъ ихъ самобытность, и про нѣкоторыхъ изъ нихъ говорилъ, и вполнѣ искренно, что они—настоящіе „поэты“. Дѣйствительно, вмѣстѣ съ Пушкинымъ всѣ они сыны своей эпохи и на каждомъ изъ нихъ довольно своеобразно отразился вѣкъ со всѣми особенностями господствовавшаго тогда религіознаго, патріотическаго, гуманистическаго, морализирующаго, веселаго или грустнаго, но въ общемъ спокойнаго настроенія. Если говорить объ ихъ учителяхъ, то у Пушкина и у нихъ учителя окажутся общіе — и учителя жизни, и учителя литературныхъ формъ.

Что касается этихъ литературныхъ формъ, то, конечно, на „плеяду“ вліялъ прежде всего Жуковскій, талантъ котораго вполнѣ развился къ тому времени, когда молодые лирики только что выступали. Вмѣстѣ съ Жуковскимъ на нихъ оказывали сильное вліяніе и всѣ тѣ западные мастера, которыхъ русскими сдѣлалъ Жуковскій. Во всѣхъ раннихъ стихотвореніяхъ нашихъ лириковъ мы найдемъ отзвуки нѣмецкой и англійской музы вмѣстѣ съ воспоминаніями о французской поэзіи XVIII вѣка, съ которой ихъ знакомила школа и семья.

Кромѣ этого французскаго и нѣмецкаго стиля, т. е., стиля ложно-классическаго и сентиментальнаго наши молодые лирики тѣхъ лѣтъ долго увлекались стилемъ античнымъ, который они заимствовали у литературы древне-греческой и римской. Этотъ подражательный стиль одно время, какъ мы помнимъ, нравился и Пушкину, хотя Пушкинъ въ раннихъ своихъ стихахъ отдавалъ предпочтеніе французской передѣлкѣ античныхъ памятниковъ передъ самими оригиналами. Въ зрѣлые свои годы онъ въ этомъ античномъ стилѣ писалъ очень рѣдко. У пѣвцовъ „плеяды“ къ этому стилю было гораздо больше симпатій. Читая эту русскую лирику съ ея эпистолами, эпиграммами, мадригалами, сатирами,

элегіями, идилліями, видишь, какъ наши поэты были хорошо знакомы съ классическимъ Парнасомъ.

Горацій, Ювеналъ, Тибуллъ, Катуллъ, Марціалъ, Виргилій и въ особенности Овидій, даже Апулей, читались охотно и, какъ говорилъ Пушкинъ, вѣроятно, въ ущербъ Цицерону. Такимъ образомъ, русская лирика при рожденіи своемъ была крещена въ языческую вѣру и долго молилась всѣмъ греко-римскимъ богамъ. Боги и полубоги, герои, нимфы, сатиры, фавны, Аглаи, Хлои и другія прелестницы очень занимали воображеніе нашихъ поэтовъ, и мы ошибемся, если скажемъ, что всѣ эти имена и связанные съ ними образы были лишь риторическими украшеніями или звонкими риѳмами.

Поэтъ Александровской эпохи любилъ классическую древность, и по весьма многимъ причинамъ. Онъ любилъ ее за ея символизмъ и ея идеальную красоту. Она въ своемъ весельѣ, въ своей грусти, своемъ гнѣвѣ и радости, слезахъ и смѣхѣ, была такъ величественна, спокойна и, повидимому, стояла такъ высоко надъ жизнью. Конечно, при историческомъ взглядѣ на нее и она оказалась бы „злобой“ своего дня, но историческій взглядъ былъ для поэта въ тѣ времена большой роскошью. Лирикъ двадцатыхъ годовъ находилъ въ классической поэзіи наиболѣе подходящее выраженіе многихъ своихъ чувствъ, выраженіе „поэтическое“, передававшее всю сущность его настроенія и не затрогивавшее мелочей жизни, изъ которыхъ данное настроеніе вытекало. Сказать: меня разсердилъ такой-то непонятливый критикъ—значило унизить священное чувство поэтическаго гнѣва, а потому и красивѣе, и сильнѣе—возгласить вмѣстѣ съ Гораціемъ: „Прочь, непросвѣщенная чернь!“ Возвести свѣтскую даму или просто любую изъ своихъ знакомыхъ въ званіе Деліи или Хлои и написать ей посланіе, гдѣ упомянуть объ ея соперничествѣ съ Кипридой или Граціями, значило возвысить, освятить свое чувство и пріобщить свою возлюбленную къ сонму богинь. Въ застольной пѣснѣ помянуть Вакха и Киприду было также какъ будто благороднѣе, чѣмъ прямо написать тостъ въ честь шампанскаго.

Но кромѣ этой традиціонной красоты и идеальной возвышенности, какія въ готовыхъ образцахъ были да-

ны въ классической литературѣ, само міросозерцаніе римской и греческой поэзіи одной своей стороной подходило къ жизни нашихъ лириковъ начала XIX столѣтія. Хваленая гармонія духа, о которой такъ много говорится, когда рѣчь заходитъ о классической литературѣ, вполнѣ соотвѣтствовала тому благодушному настроенію, въ какомъ обрѣтались наши лирики начала XIX столѣтія. Эта гармонія не исключала ни меланхоліи, ни тоски, ни даже очень глубокой скорби, какую мы иногда подмѣчаемъ въ лирическихъ пѣсняхъ этихъ молодыхъ поэтовъ.

Страннымъ можетъ показаться такое смѣшеніе необузданнаго веселья съ искренней и глубокой скорбью. Съ одной стороны, полное упоеніе жизнью, ея надеждами и радостями, съ другой—неотвязная мысль о тщетѣ всего земного, скорбные помыслы о непостоянствѣ всѣхъ благъ. Это противорѣчіе вполнѣ естественно, и нѣтъ необходимости предполагать, что въ томъ или другомъ случаѣ наши пѣвцы гонялись за модой или повторяли чужія слова. Ихъ грусть—самая законная и понятная, никогда не покидавшая человѣка и вѣчная его спутница—скорбь о мимолетности всѣхъ наслажденій, о ранней старости, объ исчезновеніи всего дорогого и о безмолвномъ неизвѣстномъ, которое ожидаетъ насъ за рубежомъ жизни. Печаль этихъ вѣтренниковъ и молодыхъ повѣсъ не есть печаль сентиментальнаго юноши, обманутаго въ своихъ надеждахъ и испытавшаго два-три разочарованія на порогѣ жизни; она не есть печаль романтика, томящагося по идеалу, мечтателя, упавшаго съ небесъ на землю; она не есть, наконецъ, гнѣвная печаль оскорбленнаго человѣка, сознающаго свою силу, но связаннаго и отверженнаго—нѣтъ, всѣ эти разновидности человѣческой скорби, какими такъ богато XIX-е столѣтіе, имѣютъ мало общаго съ грустнымъ настроеніемъ нашихъ поэтовъ Александровской эпохи. Они въ своей первоначальной печали—ни сентименталисты, ни романтики, ни байронисты, они скорѣе всего классики, вѣрующіе въ неумолимую судьбу, тяготѣющую надъ міромъ, и въ боговъ, которые завидуютъ людямъ и притомъ лучшимъ людямъ; они—классики, съ жадностью пользующіеся даннымъ момен-

томъ и съ грустью смотрящіе впередъ на необходимость оторвать скоро свои уста отъ сладкой чаши жизни. Они въ своей грусти скорѣе мыслители, чѣмъ люди чувства, люди трезваго взгляда, чѣмъ нервные мечтатели, какими были ихъ плачущіе современники на Западѣ. Понятно, почему они любили такъ классическую поэзію. У Платона, у древнихъ трагиковъ, у Вергилія, Овидія и Горація, находили они тѣ мысли о бренности всего земного, о страшномъ, неотразимомъ приговорѣ судьбы, находили тотъ крикъ страданія, который рано или поздно долженъ прервать всѣ веселыя рѣчи, пѣсни и бесѣды. Этотъ пессимистическій взглядъ на жизнь, не мѣшавшій людямъ пользоваться минутою, легъ въ основаніе всѣхъ печальныхъ стихотвореній нашей молодой лирики, и потому эти стихотворенія носятъ такой общій характеръ: они очень неопредѣленны, почти всегда однообразны, за ними не видно житейскаго опыта, котораго, конечно, не могло быть, такъ какъ эти пѣсни вытекали изъ размышленія о жизни, а не изъ нея самой. Позднѣе, когда эти люди обогатились опытомъ, когда жизнь ихъ поломала и обманула, и грустныя пѣсни ихъ стали болѣе содержательны, а ихъ печаль болѣе опредѣленна: они тогда непосредственно послѣ классиковъ принялись ревностно вчитываться въ Байрона.

Къ этимъ причинамъ, которыя такъ повышали любовь нашихъ лириковъ къ античной словесности, надо добавить, что и всякое боевое настроеніе, охватывавшее временами ихъ сердца, находило себѣ въ древности также готовыя формы. Ювеналъ былъ безсмертнымъ образцомъ, и всякій разъ, когда кто-либо изъ нашихъ лириковъ желалъ коснуться общественныхъ или политическихъ темъ, онъ учился боевымъ пріемамъ у этого классика. Помогали лирику, конечно, въ данномъ случаѣ и классики-прозаики, какъ, напримѣръ, Тацитъ. Итакъ, обилію классическихъ мотивовъ у нашихъ лириковъ намъ удивляться не приходится.

Но кромѣ мотивовъ и идейнаго содержанія, которыми такъ богата классическая древность, у нашихъ молодыхъ пѣвцовъ передъ глазами былъ наглядный примѣръ того, какая высота художественной формы можетъ быть до-

стигнута въ переложеніи этихъ античныхъ мотивовъ на нашъ родной языкъ. Такой примѣръ былъ данъ въ стихотвореніяхъ Константина Николаевича Батюшкова— поэта весьма цѣнимаго и любимаго, который закончилъ свою дѣятельность (1822 г.) какъ разъ тогда, когда Пушкинъ и его плеяда только что стали вызрѣвать.

3. Батюшкова принято считать вмѣстѣ съ Жуковскимъ—учителемъ Пушкина и его сверстниковъ. Самъ Пушкинъ любилъ поэзію Батюшкова, признавалъ его образцомъ для себя и преклонялся передъ нимъ какъ передъ истиннымъ поэтомъ. Батюшковъ и былъ истиннымъ поэтомъ, но приравнять его къ Жуковскому и назвать учителемъ цѣлаго литературнаго поколѣнія—едва ли можно. Его талантъ былъ очень односторонній, хотя въ этой односторонности сильный. Если ужъ про Жуковскаго мы сказали, что его поэзія далеко не отражала всѣхъ сторонъ современной ему жизни, всѣхъ ея настроеній, то поэзія Батюшкова была совсѣмъ бѣдна мотивами. То, за что принято его хвалить и что составляетъ несомнѣнную его заслугу, это—грація формы въ его зрѣлыхъ произведеніяхъ и мелодичность стиха. Но если мы сравнимъ его стихъ со стихомъ Жуковскаго, то едва ли мы Батюшкову отдадимъ предпочтеніе. Для выработки нашего литературно-художественнаго языка Батюшковъ кое-что сдѣлалъ, но ничего такого, чего безъ его помощи не сдѣлалъ бы Жуковскій.

Есть однако одна область чувствъ, въ которой Батюшковъ былъ первоклассным мастеромъ, это—то эстетическое чувство, которое возбуждаетъ въ людяхъ созерцаніе красоты. До Пушкина никто не умѣлъ такъ безкорыстно наслаждаться красотой, какъ Батюшковъ, потому что Жуковскій, при всемъ своемъ преклоненіи передъ красотой, все-таки не могъ отстранить отъ себя мысли о добрѣ, съ которымъ она неразрывно связана. Батюшковъ въ своихъ стихахъ не отрицалъ, конечно, этой связи, но онъ любилъ самое впечатлѣніе красоты больше, чѣмъ тѣ чувства, которыя сопутствовали этому впечатлѣнію. Вотъ почему онъ и имѣлъ такое пристрастіе къ античной антологической поэзіи и такъ художественно умѣлъ подражать ей. Что его такъ высоко ставили поэты, это вполнѣ понятно: онъ былъ для нихъ живымъ образцомъ

истиннаго художника, для котораго одно наслажденіе въ искусствѣ, одно утѣшеніе въ немъ; который сотворенъ поэтомъ и потому никакъ не можетъ найти себѣ въ жизни ни покоя, ни радости, который живетъ въ мірѣ красивой мечты и только ею дышитъ.

Несчастная жизнь Батюшкова придала къ тому же его творчеству особый ореолъ. Дѣтство его было не изъ радостныхъ, въ виду ссоръ, которыя въ семьѣ происходили. Воспитывался онъ, хоть у родственниковъ, которые его очень любили, но все-таки въ чужомъ домѣ. Рано его зачислили на службу, но къ службѣ онъ не имѣлъ никакого призванія. Затѣмъ на долгіе годы его увлекла война, сначала съ Наполеономъ (1807) и со шведами (1807—9), затѣмъ, послѣ краткаго перерыва—война отечественная (1812) и кампанія 1813—1814 года. Эти походы, конечно, обогатили его впечатлѣніями, но такими, которыя съ его артистическимъ темпераментомъ имѣли мало общаго; кромѣ того онъ былъ тяжело раненъ, и эта рана разрушила его здоровье. Къ этому времени относится, кажется, и несчастная любовь, которую пришлось пережить. Война кончилась; Батюшковъ вернулся къ мирнымъ литературнымъ занятіямъ въ Петербургѣ, гдѣ завязалъ очень дружественныя связи со всѣми видными литераторами. Но разбитое здоровье заставило его покинуть Петербургъ, и для него вновь потекли годы странствованія. Онъ, впрочемъ, любилъ перемѣну мѣста, но теперь какой-то безпокойный духъ овладѣлъ имъ и указывалъ на приближеніе иной, еще болѣе тяжелой болѣзни—психической. Послѣдніе годы своей сознательной жизни Батюшковъ прожилъ въ Италіи, прикомандированный къ нашему посольству. Но и жизнь въ Италіи не успокоила его омраченной души, и въ 1822 году разсудокъ его окончательно затуманился.

За краткую свою жизнь Батюшковъ успѣлъ написать немного. Но и изъ этого немногаго прійдется большую половину отчислить въ разрядъ опытовъ, которые особенныхъ художественныхъ достоинствъ не имѣютъ. Въ первыхъ своихъ стихахъ Батюшковъ, какъ и Жуковскій, былъ всецѣло во власти сентиментальнаго настроенія и повторялъ обычные мотивы, въ большин-

ствѣ случаевъ меланхолическіе и религіозно-нравственные. Удавались ему лучше грустныя пѣсни, такъ какъ вообще къ этому порядку чувствъ онъ былъ болѣе склоненъ по темпераменту, да и кромѣ того утрата въ молодости одного нѣжно любимаго друга навсегда оставила слѣдъ на его нѣжномъ сердцѣ. Тихая мечта, мысль о загробномъ мірѣ, о близкой кончинѣ, постоянныя жалобы на суету и зло повседневной жизни, и очень искренная склонность къ уединенію — вотъ любимыя темы его раннихъ пѣсенъ. Но пока онъ былъ здоровъ и юнъ, не могъ же онъ не откликнуться и на веселую сторону жизни, и нерѣдко его минорныя пѣсни прерывались очень веселыми.

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здѣсь не вѣчна,
То лучше въ жизни пѣть, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость съ шутками мѣшать.
(„Совѣтъ друзьямъ“, 1805)

Веселье это доходило иногда до степеней очень яркихъ, если вѣрить его стихамъ, но вѣрнѣе будетъ, если мы предположимъ, что въ его веселыхъ пѣсняхъ было больше литературнаго задора и моды, чѣмъ житейской истины. Тѣ, кто знавалъ его, говорили, что задумчивость и меланхолія были отличительными его качествами—и это можно провѣрить на его раннихъ стихахъ. Только въ грустныхъ пѣсняхъ возвышался онъ тогда до художественной красоты, а въ бравурныхъ былъ простымъ стихотворцемъ. И сатира не давалась ему, но элегіи его отличались всегда особой задушевностью. (Какъ на лучшій образецъ можно указать на стихотвореніе „Тѣнь друга“, 1814, и на очень красивый меланхолическій пейзажъ: „На развалинахъ замка въ Швеціи“, 1814).

Съ годами въ Батюшковѣ меланхолія крѣпла, но на одно время это омраченіе его души было остановлено сильнымъ и яркимъ подъемомъ эстетическаго чувства.

Мѣста онъ себѣ нигдѣ не находилъ, ни къ какому дѣлу, какъ мы видѣли, не могъ пристроиться и, сознавая свое преимущество какъ эстетика и поэта, онъ тяготился людьми. Образъ непонятаго и страдающаго художника былъ давно милъ его сердцу. Этотъ образъ воплотилъ онъ

въ двухъ очень красивыхъ фигурахъ—Гомера и Тасса. Въ стихотвореніяхъ „Омиръ и Гезіодъ — соперники", 1814, и въ элегіи „умирающій Тассъ", 1814, жаловался Батюшковъ на судьбу поэта, имѣя, конечно, въ виду многое изъ личныхъ своихъ страданій. Стихотворенія эти не заключаютъ въ себѣ никакой особенно глубокой мысли, и вопросъ о призваніи поэта къ жизни и его отношеніи къ средѣ, въ нихъ не рѣшается, но очень искренно оттѣнено въ нихъ ощущеніе грустнаго одиночества художника, несмотря на всѣ его права быть центромъ любви и вниманія. Батюшковъ, исходя изъ личныхъ впечатлѣній, коснулся въ этихъ стихахъ темы, которая на Западѣ и у насъ имѣла потомъ очень долгую жизнь.

И вотъ среди этихъ грустныхъ ощущеній поэтъ на нѣкоторое время успокоился въ созерцаніи чистой красоты искусства. Общеніе съ античной поэзіей сдѣлали его—уже больного человѣка—вдругъ какъ будто жизнерадостнымъ. Онъ сталъ подражать древнимъ въ ихъ веселыхъ и любовныхъ стихахъ, и въ немъ оживился поэтъ, но, конечно, не человѣкъ, который продолжалъ быстро идти къ печальной развязкѣ своей жизни. Эти стихотворенія: „Изъ греческой антологіи", 1817—18 гг., и еще нѣкоторыя другія, тоже навѣянныя древностью, создали славу Батюшкова какъ поэта, и дѣйствительно, въ нихъ есть очень художественно выполненные мотивы. Возьмемъ, напримѣръ, эту удивительно выдержанную пѣсню:

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы текли,
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала.
Я за ней... Она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвѣвали
Перевитые плющомъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный станъ, кругомъ обвитый
Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
И пылающи ланиты
Розы яркимъ багрецомъ,

И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ,
Все въ неистовой прельщаетъ,
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... Она бѣжала
Легче серны молодой;
Я настигъ, она упала,
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ воплемъ мимо насъ
И по рощѣ раздавались
„Эвоэ“ и нѣги гласъ!

(„Вакханка“, 1816).

Или такую любовную пѣсню:

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой.
Конецъ боренію, увы, всему конецъ!
Киприда и Эротъ, мучители сердецъ,
Услышьте голосъ мой, послѣдній и унылой!
Я вяну, и еще мученія терплю;
Полмертвый, но сгораю;
Я вяну, и еще такъ пламенно люблю
И безъ надежды умираю!
Такъ жертву обхвативъ кругомъ,
На алтарѣ огонь блѣднѣетъ, умираетъ
И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ,
На пеплѣ погасаетъ. (1817).

Или, наконецъ, этотъ гимнъ природѣ-матери:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ,
И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ,
Дробящихся въ пустыннымъ бѣгѣ.
Я ближняго люблю, но ты, природа,—мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ, подъ холодомъ годовъ.
Тобою въ чувствахъ оживаю:
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ, не знаю.
Шуми же ты, шуми, угрюмый океанъ!
Развалины на прахѣ строитъ
Минутный человѣкъ, сей суетный тиранъ,
Но море чѣмъ себѣ присвоитъ?
Трудися, созидай громады кораблей. (1819).

Какое настоящее, величавое, классическое спокойствіе царитъ въ этихъ стихотвореніяхъ, по которымъ никакъ нельзя догадаться о психическомъ состояніи художника,

ихъ создавшаго. Но ихъ создалъ именно художникъ, нашедшій въ безстрастной красотѣ, совсѣмъ далекой отъ насъ, временное утѣшеніе и облегченіе отъ тяжелаго чувства одиночества, которое все настойчивѣе его преслѣдовало.

Поэтъ заболѣвалъ и передъ тѣмъ, какъ разсудку его окончательно погаснуть, онъ въ послѣднемъ своемъ стихотвореньи говорилъ:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родится человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
Зачѣмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, изчезъ.
(„Изреченіе Мельхиседека“, 1821).

Какъ напоминаетъ это стихотвореніе древніе хоры греческой трагедіи, въ которыхъ часто высказывалась подобная безотрадная философія жизни.

Изъ приведенныхъ стихотвореній можно видѣть, чѣмъ именно этотъ художникъ, писавшій рѣдко и мало, плѣнялъ своихъ современниковъ. Самое совершенное и красивое въ его творчествѣ было не всѣмъ доступно, но всякій человѣкъ съ развитымъ художественнымъ вкусомъ, тѣмъ болѣе поэтъ, не могъ не прельститься этими отдѣльными перлами искусства, которые встрѣчались въ сборникѣ стиховъ Батюшкова. Учиться у него было нечему, такъ какъ онъ не вносилъ въ область творчества ничего новаго, кромѣ пластики рѣчи и образовъ въ нѣкоторыхъ стихотвореньяхъ, но любоваться этой пластикой можно было, какъ настоящимъ образцомъ; и всѣ его современники, рѣшительно всѣ, въ комъ было чутье къ изящному, признавали Батюшкова истиннымъ поэтомъ и считали его болѣзнь великой потерей для родной словесности.

4. Большой потерей должна быть признана также ранняя смерть Д. В. Веневитинова, нашего единственнаго лирика-философа тѣхъ годовъ. Онъ обѣщалъ открыть лирической пѣснѣ совсѣмъ новую для нея область.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, росъ онъ, окруженный всѣми благами беззаботнаго существованія, видя жизнь всегда съ ея лицевой стороны и привыкая любить въ ней ея красоту и изящество. Съ дѣтства мальчикъ былъ окруженъ избраннымъ и интеллигентнымъ обществомъ; съ большой зоркостью и осторожностью были выбраны для него первые наставники, которые не въ примѣръ многимъ гувернерамъ того времени сумѣли сочетать знаніе иностранныхъ языковъ съ широкимъ литературнымъ образованіемъ.

Они ввели своего ученика въ цѣлый кругъ художественныхъ и умственныхъ интересовъ, и корень ученья былъ ему столь же сладокъ, сколь и плоды его. Еще совсѣмъ ребенкомъ, Веневитиновъ чувствовалъ себя своимъ въ мірѣ разнообразнѣйшихъ человѣческихъ интересовъ, самыхъ сложныхъ и глубокихъ психическихъ движеній. Если вѣрить его біографамъ, то первая его любовь была любовь къ античному міру, къ его идейной, возвышенной и трагической сторонѣ, не въ примѣръ другимъ его сверстникамъ, которые изъ школьныхъ классическихъ книгъ вычитывали лишь эпикурейскую мораль и восторженный культъ Вакха и Киприды. Въ ранніе годы былъ въ Веневитиновѣ пробужденъ интересъ и къ нѣмецкой словесности, которая современемъ стала предметомъ его излюбленныхъ занятій. Къ французской литературѣ онъ особаго пристрастія не питалъ.

Литературное образованіе было дополнено занятіями музыкой и живописью. Какъ артистическая натура Веневитиновъ усвоилъ эти искусства очень быстро и легко: его друзья признавали за нимъ большой музыкальный талантъ, зная съ какою легкостью онъ читалъ теоретическія сочиненія о музыкѣ и какія самъ писалъ трудныя композиціи.

Семнадцати лѣтъ отъ роду Дмитрій Владиміровичъ поступилъ въ московскій университетъ, гдѣ былъ усерднымъ слушателемъ И. И. Давыдова и М. Г. Павлова—первыхъ насадителей шеллингіанскаго ученія на нашей университетской каѳедрѣ. Въ университетѣ оставался онъ недолго: всего два года и, быстро и легко сдавъ экзаменъ, поступилъ на службу въ архивъ при

министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Здѣсь встрѣтился онъ съ цѣлымъ кругомъ талантливыхъ товарищей, и въ ихъ средѣ сталъ образовываться какъ мыслитель и поэтъ. Кружокъ этихъ молодыхъ чиновниковъ былъ очень увлеченъ тогда нѣмецкой философіей Шеллинга, который въ своемъ ученіи далъ одно изъ красивѣйшихъ и глубокомысленныхъ объясненій того значенія, какое красота и искусство имѣютъ въ нашей жизни. Философъ былъ самъ великимъ поэтомъ и отвелъ художнику первую роль въ мірѣ. Веневитиновъ и его друзья,—въ числѣ которыхъ были знаменитые впослѣдствіи братья Кирѣевскіе и кн. В. Ѳ. Одоевскій—самой природой были надѣлены и философскомъ умомъ, и большой чуткостью къ красотѣ — и потому, не убоясь трудностей, какія представляло изученіе системы Шеллинга, они ревностно въ нее погрузились. Еще на университетской скамьѣ привыкшіе къ отвлеченной мысли, они теперь всецѣло отдались служенію „мудрости и музамъ". Веневитинову было 18 лѣтъ, когда его друзья произвели его въ санъ мудреца, и онъ поддерживалъ это званіе съ честью. Усидчиво работалъ онъ надъ своимъ самообразованіемъ, равномѣрно расширяя кругъ своихъ философскихъ интересовъ и эстетическаго созерцанія. Онъ одновременно совершенствовался и какъ поэтъ, и какъ мыслитель. Въ какіе-нибудь три года (1823—1826) онъ достигъ значительной высоты умственнаго развитія и творчества, имѣя руководителемъ лишь собственное дарованіе и непреодолимое тяготѣніе къ „высотамъ" духа.

Былъ у него только одинъ недостатокъ, легко, впрочемъ, поправимый—онъ былъ непозволительно юнъ для выполненія тѣхъ требованій, которыя самъ себѣ ставилъ. Растеніе парниковое, выхоленное въ гостиныхъ и въ тиши или шумѣ кабинетной бесѣды—онъ не зналъ, что такое ударъ жизни; онъ зналъ только, какъ тѣ или другіе великіе люди отзывались на эти удары. На всѣ печали и радости бытія онъ смотрѣлъ сквозь дымку мечты и ждалъ, когда ему самому суждено будетъ испить отъ той чаши горечи и меда, о міровомъ значеніи которой онъ такъ краснорѣчиво разсуждалъ и спорилъ. Ожиданія его должны были скоро сбыться.

На двадцать второмъ году покинулъ онъ Москву для настоящей службы въ Петербургѣ, гдѣ, пользуясь своими связями, онъ могъ быстро сдѣлать карьеру. Но не о ней онъ думалъ: онъ былъ полонъ поэтическихъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ дружескаго круга, полонъ воспоминаній о нѣжной страсти, которая въ Москвѣ, кажется, скрасила его прощальные дни. Прощаясь съ товарищами, онъ рѣшилъ усердно работать въ любимой области „философическаго“ умозрѣнія, чтобы поддержать хоть издалека своихъ друзей, которые тогда приступали къ изданію философскаго журнала.

Умныхъ мыслей и хорошихъ стиховъ было въ головѣ Веневитинова много, когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ тревожные дни, слѣдовавшіе за декабрьской смутой. Житейскій опытъ его обогатился сразу новыми впечатлѣніями: его по ошибкѣ арестовали, подозрѣвая въ сношеніяхъ съ декабристами. Никакихъ послѣдствій это дѣло для него, впрочемъ, не имѣло, и петербургская свѣтская жизнь съ избыткомъ стала вознаграждать его за скучные часы ареста. Онъ увлекся ею, и зиму 1826—7 года прожилъ очень весело, безъ сожалѣнія объ утраченномъ времени, такъ какъ успѣлъ въ промежуткѣ между веселыми бесѣдами написать нѣсколько истинно-художественныхъ стихотворныхъ перловъ и двѣ-три умныхъ статьи, которыми могъ остаться доволенъ. И вотъ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1827 года, на одномъ балу онъ случайно простудился: здоровья былъ онъ слабаго—въ немъ было предрасположеніе къ чахоткѣ,—и простуды, осложнившейся воспаленіемъ легкихъ, онъ не перенесъ. 15 марта 1827 г. онъ скончался.

Въ такой краткій промежутокъ времени, отдѣляющіи дѣтство отъ смерти, что могъ создать поэтъ? Отъ Веневитинова остался очень тощій сборникъ стиховъ, но въ немъ есть нѣсколько цѣнныхъ страницъ и всѣ онѣ посвящены искусству, красотѣ и поэту. Только въ этихъ стихотвореніяхъ Веневитиновъ и былъ оригиналенъ, втискивая чисто филисофскую мысль въ стихотворныя рамки, — на что до него въ нашей поэзіи никто не рѣшался („Сонетъ: Къ тебѣ, о чистый Духъ“. „Сонетъ: Спокойно дни мои цвѣли“. „Поэтъ“. „Посланіе къ Рожалину“. „Утѣшеніе“. „Я чувствую, во мнѣ горитъ“. „Поэтъ и другъ“. „Послѣдніе стихи“).

Гимнъ поэту—вотъ сущность всѣхъ этихъ сильныхъ стихотвореній.

Въ преддверіи вѣчности поетъ пѣвецъ свою пѣсню любви и вѣры. Великій чистый духъ благословилъ его этимъ даромъ пѣснопѣнія и нетолько для міра юдоли, но для выполненія иной, болѣе великой задачи. Поэтъ переживетъ міръ. Среди развалинъ міра его пѣсня можетъ гремѣть столь же свободно во славу таинственнаго начала всей міровой жизни.

Къ тебѣ, о чистый Духъ, источникъ вдохновенья,
На крыліяхъ любви несется мысль моя:
Она затеряна въ юдоли заточенья,
И все зоветъ ее въ небесные края.
Но ты облекъ себя въ завѣсу тайны вѣчной:
Напрасно силится мой духъ къ тебѣ парить.
Тебя читаю я во глубинѣ сердечной,
И мнѣ осталося надѣяться, любить.
Греми надеждою, греми любовью, лира!
Въ преддверьи вѣчности, греми его хвалой.
И если-бъ рухнулъ міръ, затмился свѣтъ эѳира
И хаосъ задавилъ природу пустотой,—
Греми! Пусть сѣтуютъ среди развалинъ міра
Любовь съ надеждою и вѣрою святой! [„Сонетъ“].

Если пѣснь пѣвца беретъ свое начало въ глубинахъ чистаго предвѣчнаго Духа, то обладаніе этимъ божественнымъ даромъ—удѣлъ немногихъ:

Блаженъ, кому судьба вложила
Въ уста высокій даръ рѣчей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила.
Какъ Прометей похитилъ онъ
Творящій лучъ, небесный пламень
И вкругъ себя, какъ Пигмальонъ,
Одушевляетъ хладный камень.
Немногіе сей дивный даръ
Въ удѣлъ счастливый получаютъ,
И рѣдко, рѣдко сердца жаръ
Уста послушно выражаютъ. [„Поэтъ и другъ“].

Всякое избраніе обязываетъ. Думать, что можно сочетать блага земной жизни съ небесной миссіей, было бы безразсудно. Самое цѣнное земное благо — жизнь должна быть принесена въ жертву тайнѣ общенія съ Богомъ. Но для художника смерть есть лишь возрожденіе, и не возрожденіе за гробомъ, а вторая жизнь,

здѣсь, на землѣ: надъ истинно художественной пѣснью время не властно:

Природа не для всѣхъ очей
Покровъ свой тайный подымаетъ:
Мы всѣ равно читаемъ въ ней,
А кто, читая, понимаетъ?
Лишь тотъ, кто съ юношескихъ дней
Былъ пламеннымъ жрецомъ искусства,
Кто жизни не щадилъ для чувства,
Вѣнецъ мученьями купилъ,
Надъ суетой вознесся духомъ
И сердца трепетъ жаднымъ слухомъ
Какъ вѣщій голосъ изловилъ!—
Тому, кто жребій довершилъ,
Потеря жизни не утрата—
Безъ страха міръ покинетъ онъ.
Судьба въ дарахъ своихъ богата,
И не одинъ у ней законъ:
Тому—процвѣсть съ развитой силой
И смертью жизни слѣдъ стереть,
Другому—рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой. [„Поэтъ другъ“].

Но что же поэтъ имѣетъ сказать міру? Жизнь кипитъ передъ нимъ, „какъ океанъ безбрежный“. Найдетъ ли онъ надежный утесъ, на который могъ бы твердой ногой опереться?—

Иль вѣчнаго сомнѣнья полный,
Онъ будетъ горестно глядѣть
На перемѣнчивыя волны,
Не зная, что любить, что пѣть?

Но вотъ художникъ получаетъ приказаніе свыше:

Открой глаза на всю природу—
Но дай имъ выборъ и свободу,
Твой часъ еще не наступалъ;
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывной
Отзывной пѣснью отвѣчай!
Когда-жъ минуты удивленья
Какъ сонъ туманный пролетятъ
И тайны вѣчнаго творенья
Яснѣй прочтетъ спокойный взглядъ:—
Смирится гордое желанье
Обнять весь міръ въ единый мигъ,
И звуки тихихъ струнъ твоихъ
Сольются въ стройныя созданья.
[„Я чувствую, во мнѣ горитъ“].

Тихія струны, стройныя созданья, смиреніе гордыхъ желаній — все показываетъ, что истинный поэтъ не только разгадчикъ великихъ тайнъ, но и царь надъ страстями. Внѣшній міръ для него предметъ созерцанія, а не волненія; онъ не рабъ минуты, онъ принадлежитъ самому себѣ и безраздѣльно:

Смири преступныя волненья:
Не ищетъ вчужѣ утѣшенья
Душа, богатая собой.

Для людей живетъ эта богатая душа, но какъ будто бы не среди нихъ: она очень аристократична; она сторонится отъ всѣхъ; всякое прикосновеніе толпы для нея почти что обида. Согрѣтая возвышенными страстями, она хочетъ казаться холодной и нѣмой. „Не отдавай души моей"—молится поэтъ своему ангелу—

На жертву суетнымъ желаньямъ,
Но воспитай спокойно въ ней
Огонь возвышенныхъ страстей.
Уста мои сомкни молчаньемъ,
Всѣ чувства тайной осѣни;
Да взоръ холодный ихъ не встрѣтитъ,
И лучъ тщеславья не просвѣтитъ
На незамѣченные дни. („Моя молитва", 1826)

Подальше отъ людей:

Не вѣрь, чтобъ люди разгоняли
Сердецъ возвышенныхъ печали.
Скупая дружба ихъ даритъ
Пустыя ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забытъ,—
Ихъ равнодушное безстрастье
Тебѣ да будетъ похвалой.
Зарѣ не улыбался камень;
Такъ и сердецъ небесный пламень
Толпѣ бездушной и пустой
Всегда былъ тайной непонятной.
Встрѣчай ее съ душой булатной
И не страшись отъ слабыхъ рукъ
Ни сильныхъ ранъ, ни тяжкихъ мукъ.
(„Посланіе къ Рожалину", 1826)

Всѣ эти мысли, въ которыхъ такъ поэтично оттѣнено одинокое положеніе поэта среди толпы, Веневи-

тиновъ слилъ въ одномъ образѣ, удивительно красивомъ и глубокомысленномъ:

Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья?
Узналъ ли-бъ межъ земныхъ сыновъ
Ты рѣчь его, его движенья?—
Не вспыльчивъ онъ, и строгій умъ
Не блещетъ въ шумномъ разговорѣ,
Но ясный лучъ высокихъ думъ
Невольно свѣтитъ въ ясномъ взорѣ.
Пусть вкругъ него, въ чаду утѣхъ,
Бунтуетъ вѣтреная младость,—
Безумный крикъ, нескромный смѣхъ
И необузданная радость;
Все чуждо, дико для него,
На все безмолвно онъ взираетъ;
Лишь что-то рѣдко съ устъ его
Улыбку бѣглую срываетъ.
Его богиня—простота,
И тихій геній размышленья
Ему поставилъ отъ рожденья
Печать молчанья на уста;
Его мечты, его желанья,
Его боязни, ожиданья,
Все тайна вь немъ, все въ немъ молчитъ;
Въ душѣ заботливо хранитъ
Онъ неразгаданныя чувства;
Когда-жъ внезапно что-нибудь
Взволнуетъ огненную грудь,—
Душа безъ страха, безъ искусства,
Готова вылиться въ рѣчахъ
И блещетъ въ пламенныхъ очахъ.
И снова тихъ онъ, и стыдливый
Къ землѣ онъ опускаетъ взоръ,
Какъ будто бъ слышалъ онъ укоръ
За невозвратные порывы.
О, если встрѣтишь ты его
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ.
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья! („Поэтъ")

Но поэзія Веневитинова была все-таки лишь отрывокъ.

5. Какъ отрывки должны мы разсматривать и стихи Баратынскаго и Языкова. Оба эти писатели, весьма да-

ровитые, какъ вполнѣ сложившіеся поэты, принадлежатъ иному времени, чѣмъ то, о которомъ мы говоримъ. Они — современники Пушкина, и вмѣстѣ съ нимъ выступили, но развитіе ихъ шло медленно, и самыя сильныя свои стихотворенія они создали въ концѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ совсѣмъ иную историческую эпоху—когда они очутились одни, почти уже стариками, среди подроставшаго новаго поколѣнія; вотъ тогда-то они поднялись на высшую ступень вдохновенія. Судить ихъ какъ поэтовъ по тому, что ими было написано въ Александровскую эпоху,—нельзя, но имъ нужно отвести все-таки почетное мѣсто въ исторіи этой литературной эпохи, такъ какъ и ихъ юношескіе стихи—въ особенности Баратынскаго—имѣютъ большую стоимость.

Для одного—для Баратынскаго—жизнь была предметомъ глубокаго скорбнаго раздумья, для другого—для Языкова—она служила родникомъ самаго жизнерадостнаго настроенія. Никто изъ современныхъ поэтовъ не умѣлъ такъ осмыслить своей печали, какъ Баратынскій, и развѣ только Пушкинъ умѣлъ такъ непринужденно веселиться въ стихахъ, какъ Языковъ.

Родился Баратынскій наканунѣ XIX столѣтія, въ 1800 году, въ имѣніи своего отца, Вяжлѣ, Тамбовской губерніи, и здѣсь прожилъ онъ все свое дѣтство, пока на восьмомъ году не попалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ сначала въ нѣмецкій пансіонъ, а затѣмъ, спустя очень короткій срокъ, въ пажескій корпусъ. За безсознательно совершенный проступокъ онъ изъ корпуса былъ исключенъ (1815), какъ говорится, съ волчьимъ паспортомъ, безъ права опредѣленія на службу. Три года послѣ этого несчастія поэтъ прожилъ въ Тамбовской, затѣмъ въ Смоленской губерніи, а въ 1818 году мы встрѣчаемъ его снова въ Петербургѣ простымъ рядовымъ егерскаго полка. Этотъ рядовой сводитъ знакомство съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ, и въ ихъ кругу впервые начинаетъ лепетать его муза. Отъ лепета она очень быстро переходитъ къ связной и красивой рѣчи.

Въ періодъ отъ 1820-го по 1824-й годъ, нашъ поэтъ— уже унтеръ-офицеръ нейшлотскаго полка, квартирую-

щаго въ Финляндіи,—пишетъ цѣлый рядъ стихотвореній, которыя пользуются большимъ успѣхомъ у его очень взыскательныхъ критиковъ и друзей. Въ чинѣ офицера онъ покидаетъ свой полкъ, селится въ Москвѣ въ 1825, гдѣ въ слѣдующемъ году женится и поступаетъ въ межевую канцелярію на службу. На ней онъ, конечно, остается недолго, выходитъ въ отставку, и этимъ его служебная карьера кончается. Въ Москвѣ, частнымъ человѣкомъ, живетъ онъ затѣмъ многіе годы въ кружкѣ литераторовъ преимущественно славянофильскаго лагеря. Литературная работа идетъ сначала очень успѣшно до 1831 года, затѣмъ слегка ослабѣваетъ. Въ 1839 году Баратынскій покидаетъ Москву и цѣлыхъ четыре года проводитъ въ деревнѣ. Здѣсь, въ деревнѣ, пишетъ онъ свои „Сумерки", эту панихиду о себѣ самомъ и о своихъ друзьяхъ, и осенью 1843 года ѣдетъ за границу, чтобы черезъ годъ умереть совершенно случайно въ Неаполѣ.

Вся внѣшняя, тлѣнная оболочка жизни Баратынскаго укладывается въ эти узкія рамки.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ поэтъ сталъ ощущать приступы грусти и глубокой меланхоліи и уже въ его дѣтскихъ письмахъ выражается этотъ, совсѣмъ ребенку не свойственный, скорбный взглядъ на жизнь. Послѣ пережитой въ ранней юности непріятности, выбитый совсѣмъ изъ колеи, онъ еще больше отдался этимъ скорбнымъ настроеніямъ и только въ Петербургѣ въ 1829, попавъ въ кружокъ молодыхъ поэтовъ, онъ взглянулъ на жизнь болѣе радостно. Къ этому времени относятся всѣ его „веселыя пѣсни", которыхъ у него впрочемъ очень мало.

Настроеніе, имъ тогда пережитое, правда подъ легкой дымкой грустнаго воспоминанія, сохранено въ поэмѣ „Пиры", 1824. Изъ всѣхъ этихъ веселыхъ стиховъ и изъ поэмы видно, что ощущенія радости и веселья были въ его душѣ очень мимолетны. Даже любовь не заставила его пропѣть себѣ обычнаго гимна, и лучшее его любовное стихотвореніе — столь извѣстное „Разувѣреніе", 1821 („Не искушай меня безъ нужды") —пропитано насквозь глубокой грустью.

Самъ поэтъ какъ будто не вѣрилъ своему веселью, которое на мгновеніе его закружило, и въ прелестномъ стихотвореніи „Онъ близокъ, близокъ день свиданья“ писалъ:

Онъ близокъ, близокъ, день свиданья,
Тебя, мой другъ, увижу я!
Скажи, восторгомъ ожиданья
Что-жъ не трепещетъ грудь моя?
Не мнѣ роптать: но дни печали,
Быть можетъ, поздно миновали:
Съ тоской на радость я гляжу,
Не для меня ея сіянье,
И я напрасно упованье
Въ больной душѣ моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполнѣ:
Все мнится, счастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ.

Жизнь въ Финляндіи усилила меланхолію Баратынскаго, хотя затерянный среди дикой природы онъ на первое время какъ будто нашелъ въ ней отраду. Финляндіи посвятилъ онъ одно изъ лучшихъ своихъ описательныхъ стихотвореній („Финляндія“, 1820). Съ переселеніемъ въ Москву (1826) годы странствованій его окончились, и деревенская тишь (а онъ очень любилъ деревню, какъ видно изъ стихотворенія „Деревня“, 1821) на время привела его въ спокойное состояніе.

Если вчитаться въ стихи, которые были имъ написаны за этотъ первый періодъ его дѣятельности, то приходится удивляться силѣ его скорбной мысли. Такую силу обнаруживали лишь поэты на Западѣ—свидѣтели и участники великой тогда разыгравшейся исторической драмы.

Баратынскій прежде всего психологически оправдываетъ необходимость страданія

Повѣрь, мой милый другъ, страданье нужно намъ.
Не испытавъ его нельзя понять и счастья:
Живой источникъ сладострастья
Дарованъ въ немъ его сынамъ.
Однѣ ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселитъ?
Бездѣйственность души счастливцевъ тяготитъ:
Имъ силы жизни неизвѣстны.
Не намъ завидовать лѣнивымъ чувствамъ ихъ!

Что въ дружбѣ вѣтреной, въ любви однообразной
И въ ощущеньяхъ слѣпыхъ
Души разсѣянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нѣжнаго сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, какъ сладко повѣрять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, какъ дорогъ вѣрный другъ?
Но кто постигнутъ рокомъ гнѣвнымъ,
Чью душу тяготитъ мучительный недугъ,
Тотъ дорожитъ врачемъ душевнымъ.
Что, что даетъ любовь веселымъ шалунамъ?
Забаву легкую, минутное забвенье;
Въ ней благо лучшее дано богами намъ
И нуждъ живѣйшихъ утоленье!
Какъ будетъ сладко, милый мой,
Повѣрить нѣжности чувствительной подруги,
Скажу ль? всѣ раны, всѣ недуги,
Все разслабленіе души твоей больной.
Забывъ и свѣтъ и рокъ суровый,
Желанье смутное въ одно желанье слить
И на устахъ ея, въ ея дыханьи пить
Цѣлебный воздухъ жизни новой!
Хвала всевидящимъ богамъ!
Пусть мнимымъ счастіемъ для свѣта мы убоги,
Счастливцы насъ бѣднѣй, и праведные боги
Имъ дали чувственность, а чувство дали намъ.
(„Къ Коншину“, 1820)

Всякая попытка снять покровъ съ суровой истины жизни, только увеличиваетъ наше страданіе:

О счастіи съ младенчества тоскуя,
Все счастьемъ бѣденъ я;
Или во вѣкъ его не обрѣту я
Въ пустынѣ бытія?
Младые сны отъ сердца отлетѣли,
Не узнаю я свѣтъ;
Надеждъ своихъ лишенъ я прежней цѣли,
А новой цѣли нѣтъ.
„Безуменъ ты и всѣ твои желанья“—
Мнѣ первый опытъ рекъ;
И лучшія мечты моей созданья
Отвергнулъ я на вѣкъ.
Но для чего души разувѣренье
Совершилось не вполнѣ?
О юныхъ снахъ слѣпое сожалѣнье
Зачѣмъ живетъ во мнѣ?
Такъ нѣкогда обдумывалъ съ роптаньемъ
Я жребій тяжкій свой.

Вдругъ Истину (то не было мечтаньемъ)
Узрѣлъ передъ собой.
„Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью!“
(Вѣщала) „захочу—
И страстнаго отрадному безстрастью
Тебя я научу.
Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь;
Пускай, узнавъ людей,
Ты, можетъ быть, испуганный разлюбишь
И ближнихъ и друзей.
Я бытія всѣ прелести разрушу
Но умъ наставлю твой;
Я оболью суровымъ хладомъ душу,
Но дамъ душѣ покой“.
Я трепеталъ, словамъ ея внимая,
И горестно въ отвѣтъ
Промолвилъ ей: „О, гостья роковая!
Печаленъ твой привѣтъ!
Свѣтильникъ твой—свѣтильникъ погребальный
Всѣхъ радостей земныхъ!
Твой миръ, увы! могилы миръ печальный,
И страшенъ для живыхъ.
Нѣтъ, я не твой! въ твоей наукѣ строгой
Я счастья не найду,
Покинь меня: кой-какъ моей дорогой
Одинъ я побреду
Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ.
Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило
Забыть придется мнѣ,
Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти:
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти!

(„Истина“, 1824)

Какой-то фатумъ виситъ надъ нами: чье сердце осуждено быть сосудомъ скорби, тотъ для радостей не воскреснетъ:

Дало двѣ доли Провидѣнье
На выборъ мудрости людской.
Или надежду и волненіе,
Иль безнадежность и покой.
Вѣрь тотъ надеждѣ обольщающей,
Кто бодръ неопытнымъ умомъ
Лишь по молвѣ разновѣщающей
Съ судьбой насмѣшливой знакомъ.
Надѣйтесь, юноши кипящіе,
Летите: крылья вамъ даны;
Для васъ и замыслы блестящіе

И сердца пламенные сны.
Но вы, судьбину испытавшіе,
Тщету утѣхъ, печали власть,
Вы знанье бытія пріявшіе
Тебѣ на тягостную часть,
Гоните прочь ихъ рой прельстительный.
Такъ доживайте жизнь въ тиши
И берегите хладъ спасительный
Своей бездѣйственной души,
Своимъ безчувствіемъ блаженные,
Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ,
Волхва словами пробужденные,
Встаютъ со скрежетомъ зубовъ:
Такъ вы, согрѣвъ въ душѣ желанія,
Безумно вдавшись въ ихъ обманъ,
Проснетесь только для страданія,
Для боли новой прежнихъ ранъ.

(„Двѣ доли“, 1823)

Вѣчно осуждены мы на неутолимую жажду счастія:

Напрасно мы мечтаемъ найти
Въ сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не дѣлятся имъ
Съ земными дѣтьми Прометея.
Похищенной искрой созданье свое
Дерзнулъ оживить безразсудный;
Безсмертныхъ онъ презрѣлъ, и страшная казнь
Постигнула чадъ святотатства.
Нашъ тягостный жребій: положенный срокъ
Питаться болѣзненной жизнью,
Любить и лелѣять недугъ бытія,
И смерти отрадной страшиться.
Нужды непреклонной слѣпые рабы,
Рабы самовластнаго рока!
Земнымъ ощущеньямъ насильственно насъ
Случайная жизнь покоряетъ.
Но въ искрѣ небесной пріяли мы жизнь,
Намъ памятно небо родное,
Въ желаніи счастья мы вѣчно къ нему,
Стремимся неяснымъ желаньемъ!..
Вотще! Мы надолго отвержены имъ!
Сіяя красою надъ нами,
На бренную землю безпечно оно
Торжественный сводъ опираетъ...
Но намъ недоступно! Какъ алчный Танталъ
Сгораетъ средь влаги прохладной,
Такъ сердцемъ постигнувъ блаженнѣйшій міръ
Томимся мы жаждою счастья.

(„Дельвигу“, 1820)

Художественная стоимость и глубина мысли этихъ стиховъ несомнѣнны. Это — искренняя и оригинальная исповѣдь вполнѣ самобытнаго писателя, который смотритъ на жизнь и человѣка взглядомъ необычайно субъективнымъ, и въ вѣкъ отнюдь не пессимистическаго настроенія поднимается на большую высоту скорбнаго созерцанія. Эта-то независимость и субъективность и цѣнна въ Баратынскомъ какъ поэтѣ.

Баратынскій былъ очень силенъ и глубокъ какъ лирикъ, и другія формы художественнаго творчества встрѣчаются въ его сочиненіяхъ рѣдко. Нужно, впрочемъ, отмѣтить, что въ двадцатыхъ годахъ большимъ успѣхомъ пользовалась его поэма „Эда". Поэма весьма незатѣйлива по своему содержанію—исторія несчастной любви одной финляндской дѣвы, которая пострадала отъ излишней довѣрчивости къ русскому гусару. Сюжетъ былъ въ сущности отголоскомъ очень старой литературной темы, осуждавшей „грѣхи цивилизаціи" и прославлявшей чистоту и непорочность души „дѣтей природы". Достоинство поэмы, впрочемъ, не въ ея сюжетѣ, а въ описаніяхъ, пейзажахъ и нѣжномъ идиллическомъ тонѣ.

6. Поэзія Языкова, поставленная рядомъ съ поэзіей Баратынскаго, служитъ какъ бы естественнымъ ея дополненіемъ. Но талантъ Языкова былъ слабѣе таланта Баратынскаго, и развѣ только во внѣшней техникѣ стиха они могутъ быть приравнены другъ къ другу. Стихъ Языкова — необычайно легкій, музыкальный и игривый, вполнѣ соотвѣтствующій тому беззаботному настроенію молодой и полной силъ жизни, какимъ въ въ эти ранніе годы своей дѣятельности былъ охваченъ художникъ.

Родился Языковъ въ 1803 году и первоначальное образованіе и воспитаніе получилъ въ петербургскомъ институтѣ горныхъ инженеровъ. По окончаніи института онъ поступилъ въ инженерный корпусъ. Математическія науки были однако его уму и душѣ совсѣмъ чужды; съ дѣтства онъ обнаружилъ большую любовь къ словесности и, бросивъ инженерный корпусъ, онъ предпочелъ отдаться своимъ любимымъ занятіямъ. Ему нужно было прежде всего позабо-

титься объ общемъ образованіи, и Языковъ рѣшилъ поступить въ университетъ (1823). Онъ выбралъ дерптскій университетъ, разсчитывая, вѣроятно, что тихая провинціальная жизнь благотворно отзовется на его занятіяхъ. Но надежда эта не оправдалась, и Языковъ закружился въ вихрѣ веселой студенческой жизни. На студенческихъ пирушкахъ онъ былъ самымъ любимымъ гостемъ. Его застольныя пѣсни пользовались большимъ успѣхомъ. Образцомъ ихъ можетъ служить нижеслѣдующая:

Всему человѣчеству
Заздравный стаканъ,
Два полныхъ—отечеству
И славѣ славянъ,
Свободѣ божественной,
Лелѣющей насъ,
Кругомъ и торжественно
По троицѣ въ разъ!
Поэзіи сладостной
И міру наукъ,
И буйности радостной
И удали рукъ,
Труду и бездѣлію
Любви пировать,
Вину и веселію
Четыре да пять!
Кружится, склоняется
Моя голова
Но духъ возвышается,
Но громки слова!
Восторгами нѣжными
Разнѣжился я:
Стучите стаканами
И пойте, друзья!

Жизнь, какъ видимъ, была веселая: занятія отъ нея выигрывали очень мало, но кое-что выигрывала русская поэзія. Къ одному изъ своихъ друзей Языковъ писалъ объ этомъ времени:

Я знаю, другъ, и въ шумѣ свѣта
Ты помнишь первыя дѣла
И пѣсни русскаго поэта
При звонѣ дерптскаго стекла.
Пора безцѣнная, святая!
Тогда свобода удалая,

Восторги Музы и вина
Меня живили, услаждали;
Дни безмятежные мелькали;
Душа не слушалась печали
И не бывала холодна!
Пускай извѣстности прекрасной
И думъ высокихъ я не зналъ;
За то учился безопасно
За то себя не забывалъ.
(„Къ Н. Д. Киселеву", 1825)

Отъ „думъ высокихъ" онъ отказывался, но всетаки называлъ эти годы годами „благодатнаго" труда:

Я не забуду никогда
Мои студенческіе годы,
Раздолье Вакха и свободы
И благодатнаго труда!
Въ странѣ умѣреннымъ блаженной,
Вдали блистательныхъ невѣждъ,
Они питали жаръ священный
Моихъ желаній и надеждъ.
Здѣсь Муза пѣсенъ полюбила
Мои словесныя дѣла;
Здѣсь духа творческая сила
Во мнѣ мужала и росла....
И слава ей! Не ласки свѣта,
Не взоръ любви, не блескъ наградъ,
Какими свѣтскаго поэта
Вельможи гордые дарятъ,—
Мечты могучія живили
Пѣвца чувствительную грудь
И мнѣ яснѣлъ высокій путь
Для поэтическихъ усилій.
(„Воспоминаніе", 1824)

Поэтическими своими усиліями Языковъ могъ остаться доволенъ, потому что на эти легкія пѣсни уже при первомъ ихъ появленіи обратили свое вниманіе и Жуковскій и Пушкинъ. Пушкинъ, который тогда жилъ въ селѣ Михайловскомъ, писалъ Языкову привѣтственныя посланія и желалъ съ нимъ познакомиться и съ 1826 года — когда Языковъ гостилъ у сосѣдей Пушкина—они стали близкими друзьями. Слава Языкова какъ поэта росла быстро и столь же быстро падалъ его интересъ къ университетской наукѣ. До 1829 года онъ все оставался студентомъ, и наконецъ ,вышелъ изъ университета безъ диплома.

Какъ мы уже сказали, талантъ Языкова достигъ своего полнаго расцвѣта въ эпоху позднѣйшую, но уже и въ раннихъ стихахъ онъ обнаруживалъ истинную силу художника. Самъ онъ, кажется, дорожилъ больше всего своими застольными и любовными пѣснями, судя по тому, что всего чаще сочинялъ ихъ. Стихи эти, дѣйствительно, очень живы и иногда граціозно бравурны:

Кто за покаломъ не поетъ
Тому не полная отрада:
Богъ пѣсенъ богу винограда
Восторги новые даетъ.
Слова святыя: пей и пой!
Необходимы для пирушки,
Друзья! гдѣ арфа подлѣ кружки,
Тамъ бога два—и пиръ двойной!
Такъ ночью краше небеса
При яркомъ мѣсяца сіяньи;
Такъ въ миловидномъ одѣяньи
Очаровательнѣй краса.
Кто за покаломъ не поетъ,
Тому не полная отрада:
Богъ пѣсенъ богу винограда
Восторги новые даетъ!—

(„Пѣсня“, 1824)

Игривы и вопреки модѣ того времени очень беззаботны и его любовныя элегіи („Она меня очаровала“, „Прощай, красавица моя“ 1824).

Но настоящая поэтическая образность кроется не въ этихъ прославленныхъ стихотвореніяхъ, а въ воспоминаніяхъ поэта о своей родинѣ, въ волжскихъ пейзажахъ („Моя родина“, 1822, „Чужбина“, 1823, „Родина“, 1824). Въ этихъ стихахъ много и настроенія, и колорита.

Поэзія Языкова вообще колоритна, въ ней много яркихъ красокъ, и даже въ патріотическихъ и историческихъ балладахъ (самый слабый по выполненію отдѣлъ его стиховъ) попадаются красивыя сравненія и образы.

Иногда у поэта являлось желаніе осмыслить всѣ разрозненныя впечатлѣнія, которыя жизнь ему давала, и въ одномъ отвлеченномъ образѣ выразить сущность своего отношенія къ жизни, и тогда онъ говорилъ о

своей „музѣ“, о „поэтѣ“. Въ ряду другихъ „музъ“, которыя навѣщали пѣвцовъ его поколѣнія, муза Языкова не затерялась, а сохранила свою оригинальную физіономію. Къ раздумью она почти не склонна, философскаго вопроса о своемъ призваніи она не ставитъ, глубокой думы на челѣ у нея также нѣтъ; она вся—восторгъ и восхищеніе передъ тѣмъ смутнымъ состояніемъ духа, которое называется „вдохновеніемъ“.

Богиня струнъ пережила
Боговъ и грома и булата;
Она прекрасныхъ рукъ въ оковы не дала
Вѣкамъ тиранства и разврата.
Они пришли; повсюду смерть и брань,
Въ вѣнцѣ раскованная сила,
Ея безсовѣстная длань
Алтарь изящнаго разбила.
Но съ праха рушенныхъ громадъ,
Изъ тишины опустошенья,
Возсталъ, величественъ и младъ,
Безсмертный Ангелъ вдохновенія.

(„Муза“, 1823).

Мой ангелъ милый и прекрасный
Богиня мужественныхъ думъ!
Ты занимала сладострастно.
Ты нѣжила мой юный умъ.
Служа тебѣ, тобою полный,
Не видѣлъ я, не слышалъ я,
Какъ на пучинѣ бытія
Росли, текли, шумѣли волны.
Ты мнѣ открыла въ тишинѣ
Великій міръ уединенья;
Благообразныя ко мнѣ
Твои слетали вдохновенья;
Твоей прекрасной красотой
Твоимъ величьемъ величава,
Сама любовь передо мной
Явилась пышная, какъ слава...
И весело мои мечты,
Тобой водимыя, играли;
Тебѣ стихи мои звучали
Живые, свѣтлые какъ ты.
Такъ разноцвѣтными огнями
Блеститъ рѣчная глубина,
Когда торжественно мирна,
Въ одеждѣ убранной звѣздами
По понебесью ночь идетъ
И смотрится въ лазури водъ.

(„Къ Музѣ“, 1826).

Истинный геній знать зависти не можетъ: онъ черпаетъ свою силу въ блескѣ родственнаго ему генія.

Когда гремя и пламенѣя
Пророкъ на небо улеталъ—
Огонь могучій проникалъ
Живую душу Елисѣя:
Святыми чувствами полна,
Мужала, крѣпла, возвышалась,
И вдохновеньемъ озарялась,
И Бога слышала она!—
Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Иного генія полетъ;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зрѣетъ для чудесъ...
И міру новыя свѣтила—
Дѣла избранника небесъ!

(„Геній“, 1825).

Нужно только довѣриться своему генію: онъ самъ вознесетъ пѣвца на ту высоту, какой онъ достоенъ:

Искать ли славнаго вѣнца
На полѣ рабскихъ состязаній,
Тревожа слабыя сердца,
Сбирая нищенскія дани?
Сія народная хвала,
Сей говоръ близкаго забвенья,
Вознаградитъ ли музѣ пѣнья
Ея священныя дѣла?
Кто ихъ постигнетъ? Геній вспыхнетъ—
Толпа любуется на свѣтъ,
Шумитъ, шумитъ, шумитъ—затихнетъ:
И это слава нашихъ лѣтъ—
Такъ мыслитъ юноша-поэтъ,
Пока въ душѣ его желанья
Мелькаютъ, темныя, какъ сонъ,
И твердый гласъ самосознанья
Не возвѣстилъ ему, кто онъ.
И вдругъ, надеждой величавой
Свои предвидя торжества,
Безпечный—право иль не право
Его привѣтствуетъ молва—
За независимою славой
Пойдетъ любимецъ божества;
Въ немъ гордость смѣлая проснется,
Свободенъ, веселъ, полонъ силъ,
Орелъ великій встрепенется,
Расширитъ крылья и взовьется
Къ безсмертной области свѣтилъ!

(„Поэтъ“, 1824).

Во всѣхъ этихъ художественныхъ стихахъ гораздо больше образовъ, чѣмъ мыслей, но какъ въ нихъ ярко обрисованъ поэтическій подъемъ восторженно настроенной души!

7. Совсѣмъ особое мѣсто въ ряду поэтовъ Пушкинской плеяды занимаетъ К. Ѳ. Рылѣевъ. Поэтическій его даръ былъ довольно скромный, но имя его должно быть сохранено въ исторіи развитія нашей изящной словесности, такъ какъ онъ—единственный лирикъ этой эпохи, который предметомъ своей пѣсни избралъ гражданское чувство и политическую мысль. Мы встрѣчались съ попытками такой воинствующей поэзіи у Пушкина, но эти гражданскіе мотивы были временнымъ и краткимъ увлеченіемъ для Пушкина, тогда какъ Рылѣевъ понималъ свое призваніе поэта именно какъ выполненіе долга гражданскаго. Онъ подчинялъ поэзію общественной мысли и желалъ будить эту мысль въ читателѣ, пользуясь поэтической формой для ея пропаганды. Такое пониманіе роли поэта въ нашей жизни было большой рѣдкостью въ тѣ годы и свидѣтельствовало объ исключительномъ темпераментѣ. Нужно замѣтить, впрочемъ, что эта политическая тенденція проведена была Рылѣевымъ въ его стихахъ безъ ущерба для силы рѣчи и относительной красоты образовъ. Онъ былъ все-таки поэтъ, а не публицистъ, умѣющій нанизывать риѳмы, и современники цѣнили въ немъ и гражданина, и поэта; онъ кромѣ того былъ записной литераторъ, страстный любитель писательскаго дѣла и пробовалъ свои силы въ разныхъ его областяхъ, какъ поэтъ, критикъ, публицистъ и издатель.

Родился Рылѣевъ въ 1797 году и воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ въ Петербургѣ. Былъ участникомъ нашей войны съ Наполеономъ послѣ 1812 года и успѣлъ дважды побывать за границей. Эта жизнь, равно какъ и чтеніе преимущественно французскихъ публицистовъ, повліяла на образъ его мыслей и на его сентиментальную душу. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ благородныхъ мечтателей, которые глубоко вѣрили въ человѣка, въ его прирожденную склонность къ добру и справедливости и очень болѣзненно воспринимали всякое проявленіе зла въ мірѣ. Онъ вѣрилъ, что для иско-

рененія этого зла достаточно лишь доброй воли и сильной энергіи, что борьба съ этимъ зломъ въ области гражданской—священная обязанность каждаго благомыслящаго человѣка. Эти чувства и мысли поддерживало въ немъ общее филантропически-либеральное направленіе первыхъ годовъ царствованія Императора Александра I и то броженіе политической мысли, съ которымъ онъ познакомился на Западѣ.

Вернувшись послѣ войны въ Россію, онъ женился, вышелъ въ отставку и перебрался въ Петербургъ, гдѣ поступилъ на частную службу. Въ Петербургѣ у него завязались обширныя связи со всѣми выдающимися литераторами, и онъ всецѣло отдался писательской дѣятельности. Здѣсь же постепенно сталъ онъ входить и въ кругъ тѣхъ политическихъ идей, которыя привели къ образованію тайнаго политическаго общества, поставившаго себѣ цѣлью измѣненіе государственнаго строя въ Россіи. Общество это, составившееся изъ членовъ прежняго политико-нравственнаго „союза благоденствія“ и членовъ новыхъ, довольно усердно вербуемыхъ, пріобрѣло себѣ въ Рылѣевѣ ревностнѣйшаго сторонника и усерднаго работника. Онъ участвовалъ въ выработкѣ проектовъ новой организаціи государственнаго строя, занимался пропагандой среди солдатъ, былъ самымъ краснорѣчивымъ и восторженнымъ ораторомъ на собраніяхъ и въ день возстанія, 14-го декабря, на площади стоялъ въ рядахъ возставшихъ. Судъ призналъ въ немъ одного изъ самыхъ опасныхъ агитаторовъ и приговорилъ его къ смертной казни. Приговоръ былъ исполненъ.

Во всемъ этомъ заговорѣ, въ его подготовкѣ и выполненіи Рылѣевъ обнаружилъ очень большой пылъ душевный и очень горячую мечту, но, конечно, весьма слабое знаніе историческихъ условій нашей жизни. Онъ какъ весьма субъективный лирикъ смотрѣлъ на суровую дѣйствительность и въ вопросахъ политическихъ былъ больше поэтъ, чѣмъ мыслитель и дѣятель. Но эту черту ума и характера раздѣляли съ нимъ почти всѣ его единомышленники по тайному обществу.

Какъ поэтъ онъ составилъ себѣ извѣстность своими историческими „Думами“ (1824). Это былъ сборникъ

историческихъ картинъ въ стихахъ, взятыхъ изъ русской старины. Картины были выбраны съ извѣстной тенденціей. Автору хотѣлось преподать хорошій урокъ гражданской нравственности. Для этого онъ выбралъ нѣсколько драматическихъ эпизодовъ, говорящихъ о мудрости, милосердіи и справедливости правителей, а также объ ихъ порокахъ и уклоненіяхъ отъ долга нравственнаго; рядомъ съ правителями поставилъ онъ и ихъ подданныхъ и на разныхъ примѣрахъ показывалъ, какъ эти подданные должны понимать свой долгъ передъ правителемъ и народомъ. Въ политическомъ смыслѣ всѣ „думы" Рылѣева были очень благомыслящи и очень патріотичны. Любовь къ Россіи, ея военной славѣ, ея прошлому, вѣра въ ея великое будущее, восторгъ передъ образцами чести, ума и храбрости, которыя обнаруживали ея истинные сыны—вотъ что въ поэтѣ возбуждало наибольшій подъемъ чувства и выражалось иногда въ довольно красивыхъ формахъ. Любовь къ родинѣ была, конечно, тѣсно связана съ понятіемъ объ ея свободѣ, какъ политическаго и національнаго цѣлаго, и Рылѣевъ въ своихъ „Думахъ" часто говорилъ о Малороссіи и ея борьбѣ за свободу во времена вольной запорожской жизни. Это были пока единственные вольнолюбивые стихи въ его поэзіи.

Художественное выполненіе „Думъ" было слабо; стихи были растянуты, и у Рылѣева не хватало силы фантазіи и образовъ и силы рѣчи для передачи тѣхъ драматическихъ моментовъ, о которыхъ онъ говорилъ.

Но эти недостатки искупались тѣмъ, что сила и искренность гражданскихъ чувствъ самого автора передавались читателю. (Изъ этихъ „Думъ" какъ наиболѣе разнообразныя по мотивамъ можно отмѣтить: „Курбскій", „Борисъ Годуновъ", „Сусанинъ", „Яковъ Долгорукій", „Волынскій", „Державинъ" и какъ наиболѣе вольнолюбивую „Исповѣдь Наливайки").

Второй стихотворный опытъ Рылѣева, болѣе удачный, чѣмъ его „Думы", была его поэма „Войнаровскій"— довольно длинный разсказъ въ стихахъ—мѣстами гладкихъ, а мѣстами и сильныхъ—изъ исторіи борьбы Малороссіи за свободу при Мазепѣ... Въ этомъ произведеніи политическая нота звучитъ уже яснѣе. Въ поэмѣ, впрочемъ,

наибольшую цѣнность имѣютъ описанія далекаго Сибирскаго края, гдѣ Войнаровскому—герою повѣсти—пришлось погибнуть въ ссылкѣ за его участіе въ возстаніи Мазепы противъ Петра.

На выполненіи такихъ общихъ историческихъ темъ Рылѣевъ, конечно, не остановился: лирическая боевая пѣсня была болѣе удобна для выраженія того боевого настроенія, которое съ каждымъ годомъ повышалось въ его сердцѣ. Еще въ 1820 году онъ въ первый разъ—и довольно удачно—выступилъ въ роли политическаго памфлетиста. Онъ написалъ тогда оду „Къ временщику", въ которой довольно прозрачно намекалъ на всесильнаго Аракчеева, клеймя его разными нелестными эпитетами. Затѣмъ онъ личности оставилъ въ покоѣ и сталъ выступать съ политической и гражданской пѣснью отъ своего лица, отражая въ ней все повышавшійся въ немъ подъемъ боевого настроенія. Эти пѣсни, изъ которыхъ немногія были тогда напечатаны, — лучшее, что написано Рылѣевымъ, и хорошее дополненіе ко всѣмъ лирическимъ пѣснямъ его времени.

Въ нихъ много бодраго негодованія, которое и составляетъ основной мотивъ всей лирики Рылѣева. Съ 1821 года въ его лирикѣ устанавливается твердое убѣжденіе, что его муза не должна служить ничему иному, какъ только „общественному благу".

Моя душа до гроба сохранитъ
Высокихъ думъ кипящую отвагу;
Мой другъ! не даромъ въ юношѣ горитъ
Любовь къ общественному благу!
Въ чью грудь порой тѣснится цѣлый свѣтъ,
Кого съ земли восторгъ души уноситъ,
На зло врагамъ,—тотъ завсегда поэтъ,
Тотъ славы требуетъ, не проситъ.

Передъ этой задачей блѣднѣютъ всякіе личные мотивы, даже всесильная любовь:

Лишь временно кажусь я слабъ;
Движеніемъ души владѣю,
Не христіанинъ и не рабъ,
Прощать обидъ я не умѣю
Мнѣ не любовь теперь нужна:
Занятья нужны мнѣ иныя—
Отрадна мнѣ одна война
Однѣ тревоги боевыя.

Любовь никакъ нейдетъ на умъ.
Увы! моя отчизна страждетъ:
Душа въ волненьи тяжкихъ думъ
Теперь одной свободы жаждетъ.

И наконецъ, эта пѣсня гражданскаго чувства переходитъ въ открытое политическое воззваніе:

Я-ль буду въ роковое время
Позорить гражданина санъ,
И подражать тебѣ, изнѣженное племя
Переродившихся славянъ?
Нѣтъ, не способенъ я въ объятьяхъ сладострастья
Въ постыдной праздности влачить свой вѣкъ младой
И изнывать кипящею душой
Подъ тяжкимъ игомъ самовластья.
Пусть юноши, не разгадавъ судьбы,
Постигнуть не хотятъ предназначенья вѣка
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человѣка,
Пусть съ хладнокровіемъ бросаютъ хладный взоръ
На бѣдствія страдающей отчизны
И не читаютъ въ нихъ грядущій свой позоръ
И справедливыя потомковъ укоризны.
Они раскаются, когда народъ, возставъ,
Застанетъ ихъ въ объятьяхъ праздной нѣги,
И въ бурномъ мятежѣ ища свободныхъ правъ,
Въ нихъ не найдетъ ни Брута, ни Ріэги.

8. Лирическая пѣсня, какъ мы видѣли изъ предшествовавшаго обзора, за эти годы нашего литературнаго развитія была представлена въ очень цѣнныхъ образцахъ. Художникъ любилъ эту форму творчества и, скажемъ больше, онъ почти исключительно любилъ ее одну; даже тогда, когда онъ задавался цѣлью написать поэму или драму, онъ волей не волей придавалъ ей очень субъективный лирическій характеръ. Такое обиліе лирическаго настроенія въ литературѣ, конечно, не случайность. Слишкомъ еще было юно искусство, и художникъ имѣлъ въ прошломъ слишкомъ еще мало художническаго опыта, чтобы, какъ поэтъ, быть хозяиномъ окружавшй его дѣйствительности. Многое въ этой дѣйствительности онъ прямо не признавалъ годнымъ для художественной обработки; на многое просто не обращалъ вниманія, и главный его интересъ былъ направленъ на самого себя; среди всѣхъ голосовъ жизни, которые вокругъ него раздавались,

его собственный былъ ему всего слышнѣе, и обо всѣхъ „впечатлѣніяхъ бытія“, которыя, дѣйствительно, ему тогда были новы, онъ спѣшилъ высказать свое личное мнѣніе. Это мнѣніе повиновалось очень часто минутѣ и было не столько мнѣніемъ и сужденіемъ, основаннымъ на достаточномъ знакомствѣ съ фактами, сколько настроеніемъ. Запасъ наблюденій былъ еще очень малъ, художникъ очень юнъ душой, и эта юность, конечно, находила себѣ удовлетвореніе прежде всего въ рѣзкомъ подчеркиваніи своего „я“.

При такой психикѣ художника трудно было ожидать, что изъ него выработается хорошій бытописатель, умѣющій спрятать свою личность за вѣрной и детальной картиной окружающей его дѣйствительности. Трудно было ожидать также, что онъ дастъ образецъ безпристрастной сатиры широкаго размаха, сатиры не только бойкой и ѣдкой, но и улавливающей вполнѣ смыслъ развертывающихся передъ сатирикомъ событій.

VII. Сатира.

1. Часто приходится встрѣчаться съ мнѣніемъ, что одну изъ отличительныхъ чертъ нашей изящной словесности составляетъ ея неизмѣнное стремленіе—судить, бичевать и обличать. Въ этомъ иногда видятъ особую нашу чуткость къ нравственнымъ и общественнымъ вопросамъ. Составляетъ ли сатира отличительную черту именно русской литературы—объ этомъ можно спорить, такъ какъ сатира блистательно представлена во всѣхъ литературахъ міра, но что въ нашей словесности такое отрицательное и обличительное отношеніе къ жизни стало сказываться очень рано и во всѣ періоды развитія нашего художественнаго слова не прерывалось, это—вѣрно. Начиная съ эпохи Петра Великаго (конечно, и раньше) нашъ писатель все обличалъ и негодовалъ на людскіе пороки и на всевозможные изъяны нашей общественной жизни. Много ли отъ этого выигрывала сама жизнь—это иной вопросъ, но писатель безспорно имѣлъ большую склонность къ выговорамъ и проповѣдямъ.

Остается опредѣлить, однако, откуда эта склонность вытекала—изъ дѣйствительно повышеннаго нравственнаго и гражданскаго чувства писателя или она явилась потому, что сама литературная форма сатиры представляла для писателя много техническихъ удобствъ и была вообще болѣе доступна и легка, чѣмъ какая-нибудь иная форма.

Въ XVIII вѣкѣ, при полной неопытности писателя, при невыработанности нашего литературнаго языка, при условіяхъ весьма неблагопріятныхъ для гласности, въ рядахъ нашей литературы стояли, дѣйствительно, преимущественно сатирики и неукоснительно обличали, пользуясь для своихъ обличеній всѣми литературными формами „сатиры"—формой посланія, эпиграммы, басни, комическаго эпоса, комедіи и бытовыхъ сценокъ въ стихахъ и прозѣ. Безспорно, что въ нѣкоторыхъ изъ сатириковъ того времени нравственное и общественное чувство было очень сильно, какъ напримѣръ, въ фонъ-Визинѣ, въ Новиковѣ, Радищевѣ, но кто тогда не писалъ сатиръ и обличеній, и неужели всѣхъ писавшихъ надо зачислить въ разрядъ истинныхъ Катоновъ, съ широко развитымъ чувствомъ общественности? Есть, думается намъ, и другое объясненіе этому факту.

Сатира въ одно и то же время весьма легкій и весьма трудный родъ творчества. Отрицательные типы создавать легче, чѣмъ положительные или чѣмъ такіе, въ которыхъ—какъ это всегда въ жизни бываетъ—темныя краски смѣшаны со свѣтлыми. Для начинающаго, неопытнаго художника всякая идеализація въ ту или другую сторону представляетъ много удобствъ, и въ особенности заманчива идеализація въ дурную сторону, такъ какъ эта сторона отъ положительной стороны въ человѣкѣ отличается большимъ колоритомъ, большимъ драматическимъ движеніемъ, несравненно большей дозой страсти, и къ тому же подмѣчается въ людяхъ легче, чѣмъ ихъ достоинства или простая ординарность.

Обличеніе и сатира даютъ кромѣ, того писателю извѣстное нравственное самоудовлетвореніе помимо удовольствія эстетическаго. Все-таки онъ является своего рода насадителемъ добра и морали, а къ такой похвалѣ весьма многіе писатели бываютъ неравнодушны, въ особенности тѣ, въ которыхъ съ недостаточной силой развито эстетическое чувство.

Когда съ этой точки зрѣнія оцѣниваешь развитіе нашей сатирической литературы въ XVIII вѣкѣ, когда считаешься съ малымъ опытомъ писателя, съ его убѣжденіемъ въ томъ, что искусство призвано слу-

жить добру и насажденію добрыхъ нравовъ; когда, наконецъ, вспомнишь, что въ XVIII вѣкѣ у насъ не было ни одного настоящаго сильнаго художника слова,—тогда становится понятнымъ чрезвычайно быстрое размноженіе сатиры во всѣхъ ея видахъ именно въ тѣ годы. Но подходитъ ли вся эта сатира XVIII вѣка подъ понятіе художественнаго произведенія?

Сатира, сказали мы, и легкій видъ литературной формы, и вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ. Дать намъ живое сатирическое изображеніе человѣка или быта—съ соблюденіемъ художественной правды,—задача очень трудная, которая по плечу только истинному художнику. Нужно, чтобы передъ нами были не пороки и слабости человѣческіе, а сами люди съ пороками и слабостями, но не профильтрованными, а естественными, какія всегда смѣшаны въ жизни съ дозою иныхъ качествъ. Нужно, чтобы люди дѣйствовали передъ нами не преднамѣренно, не съ цѣлью показать себя съ той или другой стороны, а дѣйствовали естественно, какъ въ самой жизни, и при этомъ все-таки необходимо, чтобы смѣшныя и порочныя стороны ихъ характера, ума, настроенія проступали со всею яркостью наружу. Не нужно никакого излишества сатирическаго, въ рѣчахъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ и, конечно, самое главное, — художникъ долженъ спрятаться за своихъ героевъ, чтобы читатель никогда не видѣлъ и не чувствовалъ посредника между собой и лицами, которыя передъ нимъ выступаютъ. Наша сатира XVIII вѣка этимъ требованіямъ не удовлетворяла, даже въ лицѣ самыхъ сильныхъ своихъ представителей.

Писались все больше сатиры общаго характера, т. е. извѣстныя дурныя стороны человѣка облекались въ условные типы и предавались осмѣянію. Такой типъ могъ быть очерченъ иногда очень рѣзко, рѣчь сатиры могла быть очень остра, но это было опять-таки лирическое изліяніе автора, но не картинка жизни. Въ XVIII вѣкѣ было нѣсколько писателей, которые пытались подняться надъ этой формой сатиры общаго типа. Это были очень талантливые люди, съ зоркимъ глазомъ и острой рѣчью, но и они не были настоящими художниками. Такъ фонъ-Визинъ въ свои дидактическія комедіи

вставилъ нѣсколько очень живыхъ сценъ и вывелъ въ нихъ дѣйствительно типичныхъ представителей всевозможныхъ уродствъ человѣческаго ума и характера, назвавъ ихъ именами, которыя сразу указывали въ какой порокъ писатель мѣтилъ. Фонъ-Визинъ, конечно, изобразилъ правдиво эти пороки, но онъ ихъ слишкомъ обобщилъ, и за отдѣльными качествами души и ума его героевъ исчезали сами люди. Наконецъ, и собраніе въ одной комнатѣ всѣхъ этихъ оригиналовъ грѣшило противъ правдоподобія. Такъ же, какъ фонъ-Визинъ, поступилъ и Капнистъ въ своей извѣстной комедіи „Ябеда". И здѣсь вся сцена была занята пороками и на авансценѣ находился самъ авторъ со своей указкой.

Много довольно яркихъ бытовыхъ сценъ найдемъ мы въ журнальныхъ статьяхъ Новикова; и эти статьи имѣютъ большое значеніе въ исторіи развитія нашей общественной мысли, но какъ художественная сатира, онѣ—слабы, да и самъ авторъ, прирожденный публицистъ, не особенно гонялся за художественностью, а былъ занятъ выясненіемъ общественной стороны того вопроса, котораго онъ касался. Для него общественная мораль, вытекавшая изъ его писаній стояла на первомъ планѣ, а декораціей служили люди, ихъ характеры, рѣчи и жизнь. По этой же дорогѣ шелъ и самый крупный изъ нашихъ публицистовъ Радищевъ. Онъ былъ настоящій политическій мыслитель, великій гуманистъ, страшно смѣлый и прямолинейно честный, но эстетическая сторона его обличенія мало его заботила. Онъ писалъ языкомъ очень тяжелымъ и некрасивымъ тогда, когда этотъ языкъ началъ пріобрѣтать уже довольно изящную форму. Онъ бросалъ на страницы своей записной книги штрихи, эскизы, очерки, силуэты, нисколько не заботясь объ ихъ группировкѣ и отдѣлкѣ. Ему это, впрочемъ, и не было нужно. Совсѣмъ иную цѣль онъ преслѣдовалъ, — и онъ остался великъ въ исторіи развитія нашего самосознанія и его „Путешествіе" было однимъ изъ самыхъ сильныхъ памятниковъ нашей общественной и политической мысли. Какъ памятникъ литературный оно цѣнно лишь нѣсколькими страницами, на которыхъ даны ультрареальныя картинки изъ народнаго быта.

Съ наступленіемъ царствованія императора Александра Павловича можно было надѣяться, что сатирическое направленіе въ литературѣ начнетъ крѣпнуть. Реформы, съ которыхъ царь началъ свою дѣятельность, либеральный образъ мыслей, вошедшій тогда въ моду у начальства; дѣйствительно искренняя жажда добра и совершенствованія, охватившая многіе слои нашего интеллигентнаго общества,—все какъ будто указывало на то, что отрицательное, обличительное направленіе въ литературѣ разовьется и что художникъ съ большей смѣлостью и свободой начнетъ выполнять благодарную роль сатирика.

Нельзя сказать, чтобы сатира ослабѣла въ это царствованіе сравнительно съ сатирой Екатерининскаго времени. Сатиръ, комедій, посланій, эпиграммъ, басенъ писалось не меньше, если не больше. Въ одной области, въ области политической мысли и въ сферѣ боевого политическаго настроенія замѣчался даже рѣшительный приростъ темперамента и яркой смѣлой рѣчи. Но во всякомъ случаѣ, надежды на расцвѣтъ художественной сатиры, вполнѣ законныя при томъ направленіи, какое принимала жизнь, не оправдались въ той степени, какъ этого можно было ожидать.

Объяснить это сложное явленіе довольно трудно, но едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что сентиментальное настроеніе съ его оптимизмомъ и добродушіемъ, съ его вѣрой въ царя небеснаго и земного, съ его довѣріемъ къ человѣку вообще мало способствовало сатирическому и саркастическому отношенію къ жизни. По крайней мѣрѣ всѣ истинные наиболѣе убѣжденные проводники этого направленія были весьма снисходительные и ласковые сатирики... Тѣ же изъ нашихъ тогдашнихъ писателей, которые умѣли сердиться и обличать, крайне рѣдко позволяли себѣ проявлять этотъ гнѣвъ въ литературѣ.

Пушкина политика соблазнила, но на весьма короткій срокъ. Рылѣевъ былъ также совсѣмъ захваченъ политикой, но сатирѣ предпочиталъ лирическую пѣсню на гражданскій и политическій мотивъ. Князь Вяземскій — человѣкъ съ несомнѣннымъ сатирическимъ темпераментомъ и талантомъ—не шелъ въ сво-

ихъ стихахъ дальше граціозной шутки. Чаадаевъ ничего еще пока не писалъ, а только обдумывалъ свой глубокомысленный памфлетъ на Россію. Одинъ только Грибоѣдовъ продолжалъ упорно работать надъ своей комедіей, да Крыловъ, полководецъ цѣлой арміи баснописцевъ, тихо и лѣниво писалъ свои басни. Дѣятельность остальныхъ сатириковъ укладывается въ очень скромныя рамки. Нападали они все больше на самые ординарные недостатки человѣка, и притомъ недостатки самаго общаго типа, общіе всѣмъ людямъ. Много они тратили времени на обличеніе бездарныхъ писакъ, показныхъ сторонъ свѣтской жизни, грубостей жизни не свѣтской, но всѣ эти обличенія писались въ большинствѣ случаевъ по античнымъ и французскимъ образцамъ и не давали ничего самобытнаго въ своей формѣ. Если же форма была самобытна, то она была очень не совершенна и литературно необтесана. Народнаго и бытового въ этой сатирѣ было очень мало.

2. Самой распространенной формой для сатиры въ тѣ годы оставалась басня. Ею издавна пользовались и безымянный народъ, и отдѣльные писатели для моральнаго наставленія, и она, дѣйствительно, представляла очень много удобствъ. Литературная форма ея была давнымъ давно отлита и въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ переходила по наслѣдству отъ одного народа къ другому; она не требовала детальнаго или новаго развитія типовъ, такъ какъ всѣ звѣриные типы, подогнанные подъ человѣческіе, были также заранѣе готовы и за ними издавна признанъ опредѣленный смыслъ и значеніе. Наконецъ, басня представляла писателю много свободы въ обращеніи съ лицомъ или явленіемъ, въ которое онъ мѣтилъ; онъ могъ рисовать портреты, не подставляя себя подъ обвиненіе въ прямомъ намекѣ. Но съ другой стороны, конечно, басня какъ литературная форма была очень однообразна. Нужно было обладать большимъ талантомъ, чтобы втѣснить въ эту традиціонную форму широкое содержаніе и, главнымъ образомъ, бытовое содержаніе, т. е. такое, которое передавало бы не только общія сентенціи, но сохраняло бы черты быта того народа, къ которому эта сентенція прилагалась.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ эту трудную задачу выполнилъ. Онъ былъ уже немолодымъ человѣкомъ, когда, наконецъ, всю силу своего дарованія сосредоточилъ на этой литературной формѣ, къ которой раньше прибѣгалъ только изрѣдка. Крыловъ принадлежитъ собственно къ числу литераторовъ Екатерининскаго времени, когда онъ выступалъ какъ журналистъ, какъ авторъ бытовыхъ сатирическихъ сценокъ, комедій и какъ сочинитель стихотвореній всевозможнаго рода. Художникомъ сталъ онъ однако лишь какъ баснописецъ, такъ какъ во всемъ, что онъ писалъ не въ этой формѣ, онъ не подымался выше литературнаго шаблона Екатерининскаго времени.

Родился онъ въ 1768 году. Дѣтство его протекло при самыхъ бурныхъ и тяжелыхъ условіяхъ Пугачевскаго бунта, въ усмиреніи котораго его отецъ принималъ участіе. Совсѣмъ ребенкомъ послѣ смерти отца поступилъ онъ затѣмъ на службу въ Тверь и, кажется, очень бѣдствовалъ. Здѣсь, въ Твери, по свидѣтельству одного лично его знавшаго человѣка, „онъ съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщалъ народныя сборища, торговыя площади, качели и кулачные бои, гдѣ толкался между пестрою толпою. Нерѣдко сиживалъ онъ по цѣлымъ часамъ на берегу Волги, противъ плотомоекъ и затѣмъ разсказывалъ товарищамъ забавные анекдоты и поговорки, которые уловилъ изъ устъ словоохотливыхъ прачекъ, сходившихся на рѣку съ разныхъ концовъ города, изъ дома богатаго и бѣднаго“. Эта школа принесла нашему писателю больше пользы, чѣмъ какая-либо иная. Въ 1782 году мы встрѣчаемъ Крылова въ Петербургѣ, гдѣ онъ опять на службѣ, но, кажется, всего чаще въ театрѣ. Большой театралъ, онъ самъ начинаетъ писать трагедіи и комедіи, но славы онѣ ему не приносятъ. Службу онъ скоро бросаетъ и становится вольнымъ литераторомъ. Онъ принимаетъ участіе во многихъ сатирическихъ журналахъ и, наконецъ, самъ становится издателемъ и редакторомъ „Почты Духовъ“. Успѣха этотъ журналъ не имѣлъ, какъ и слѣдующій „Зритель“, который издавалъ Крыловъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ видныхъ артистовъ нашей сцены. „Зритель“ умеръ, впрочемъ, насильственною смертью. Крыловъ не унывалъ и еще разъ попыталъ счастье на жур-

нальномъ полѣ; но, наконецъ, пришлось отказаться отъ всякихъ литературныхъ предпріятій, и для Крылова наступили очень темные дни, о которыхъ намъ ничего не извѣстно. Кажется, онъ странствовалъ по разнымъ городамъ и добывалъ себѣ средства къ жизни путями очень рискованными—вплоть до азартной карточной игры. Съ 1801 года онъ служитъ при военномъ губернаторѣ Прибалтійскаго края въ Ригѣ, но съ 1803 года опять начинаются для него годы странствованія. Они длятся до 1806 г., когда мы его застаемъ въ Петербургѣ, гдѣ онъ вращается въ литературныхъ кругахъ, ставитъ на сценѣ новыя свои пьесы и продолжаетъ пописывать басни, которыя всѣмъ очень нравятся и постепенно создаютъ ему настоящую литературную славу. Въ 1812 году Крыловъ поступилъ на службу въ Императорскую публичную библіотеку, гдѣ и оставался почти до самой своей смерти, которая послѣдовала въ 1844 году.

Крыловъ былъ окруженъ большимъ почетомъ какъ литераторъ и обязанъ былъ своей славой исключительно своимъ баснямъ. Писалъ онъ ихъ тихо, съ большими промежутками и тщательно ихъ отдѣлывалъ. Можно было подумать, что для него писаніе басенъ—дѣло его жизни, — серьезное дѣло, которому онъ отдавалъ всѣ силы своего ума и таланта. Своимъ современникамъ онъ, дѣйствительно, казался великимъ сатирикомъ и моралистомъ, и такъ какъ въ басняхъ своихъ онъ затрогивалъ темы очень жгучія для его времени и попадалъ въ цѣль съ большой мѣткостью, то такое высокое мнѣніе современниковъ было какъ будто бы основательно.

Но, должно замѣтить, что въ данномъ случаѣ необычайно зоркій глазъ сатирика и необычайная мѣткость рѣчи совсѣмъ не соотвѣтствовали самому темпераменту художника. Для какой-нибудь боевой роли, роли обличителя убѣжденнаго и граждански воспитаннаго Крыловъ былъ совершенно не годенъ. У него не только не было никакихъ установившихся принциповъ гражданской морали, но даже принципы его личной морали были довольно шатки. По натурѣ своей онъ былъ страшный эгоистъ, очень спокойный и лѣнивый, кото-

рый надъ трудными вопросами головы никогда не ломалъ; онъ обладалъ большой наблюдательностью, былъ большой насмѣшникъ и испытывалъ полное удовлетвореніе, когда ему удавалось подмѣтить и схватить юмористическую сторону въ людяхъ. Но на этомъ въ сущности и кончалось его отношеніе къ нимъ. Участія, ни въ людяхъ, ни въ событіяхъ онъ не принималъ никакого; онъ даже не изучалъ окружающей его жизни, не давалъ себѣ труда пристально къ ней присматриваться, а сидѣлъ и ждалъ случая, когда какой-нибудь человѣкъ или житейское явленіе особенно разбередятъ его любопытство. Тогда онъ откликался. Такъ выработалъ онъ себѣ своеобразную эгоистическую философію жизни, которая непріятно поражала лицъ, близко его знавшихъ. Самъ остроумный сатирикъ и памфлетистъ онъ какъ будто всѣми и всѣмъ всегда оставался доволенъ.

А сила и остроуміе его басенъ бросались въ глаза каждому. Въ этихъ басняхъ сохраненъ, во-первыхъ, очень драгоцѣнный матерьялъ для изученія души человѣка вообще. Нѣкоторыя обыденныя психическія движенія закрѣплены въ безсмертныхъ образахъ. Нужно замѣтить, правда, что многія изъ лучшихъ басенъ Крылова—переводы съ французскаго, изъ Лафонтена. Но и Лафонтенъ въ своихъ басняхъ былъ не оригиналенъ и бралъ изъ общемірового запаса; а Крыловъ, заимствуя сюжетъ, придавалъ ему въ свою очередь національно-русскую окраску; и читатель русскій могъ и не замѣтить и, дѣйствительно, не замѣчалъ, что звѣри, съ которыми онъ вступалъ въ разговоръ, родились не въ Россіи.

Пересказывать содержаніе басенъ Крылова съ общечеловѣческимъ содержаніемъ нѣтъ, конечно, никакой нужды,—но онѣ такъ рельефно написаны, что стоитъ только назвать ихъ заглавія или ихъ конечный стихъ, какъ въ памяти нашей возникаютъ цѣлыя картины. Назовемъ хотя бы „Собачья Дружба“, „Стрекоза и Муравей“, „Орелъ и Пчела“, „Ай, Моська, знать она сильна!“ „А Васька слушаетъ, да ѣстъ“, „Тришкинъ кафтанъ“, „Левъ на ловлѣ“, „Лишь мнѣ бы ладно было, а тамъ весь свѣтъ гори огнемъ“, „Осталось всего овецъ пять, шесть, и тѣхъ собаки съѣли“, „Молчи, все знаю я сама,

да эта крыса мнѣ кума", „Съ умомъ людей боятся и терпятъ при себѣ охотнѣй дураковъ", „Ты виноватъ ужъ тѣмъ, что хочется мнѣ кушать". Всѣ вѣдь эти отрывочныя слова—цѣлые образы и приговоры. Но это все-таки безобидная сатира. Русской жизни Крыловъ въ этихъ басняхъ коснулся настолько, насколько мы, русскіе, вообще люди. Въ другихъ басняхъ онъ сталъ подходить къ намъ ближе.

Въ тѣ годы, да и раньше, какъ и позже, была большая мода на обличеніе чиновниковъ и начальства. Особенной пользы отъ этихъ обличеній не получалось, но они бывали иногда достаточно смѣлы и откровенны. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что до Гоголя никто въ этихъ обличеніяхъ не бралъ столь язвительной ноты, какъ Крыловъ.

Припомнимъ опять нѣсколько выраженій и заглавій: „Оракулъ", „Если голова пуста, то головѣ ума не придадутъ мѣста", „И сталъ оселъ скотиной превеликой", „Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютъ", „Слонъ на воеводствѣ", „А гдѣ пастухъ дуракъ, тамъ и собаки дуры", „Квартетъ", „На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ, гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ", „Отставку Мишкѣ дали, и приказали, чтобъ зиму пролежалъ въ берлогѣ старый плутъ", „И вслѣдствіе того казнить овцу и мясо въ судъ отдать, а шкуру взять истцу", „Какъ счастье многіе находятъ лишь тѣмъ, что хорошо на заднихъ лапкахъ ходятъ", „Важный чинъ на плутѣ какъ звонокъ", „Олени, серны, козы, лани, они почти не платятъ дани; набрать съ нихъ шерсти поскорѣй, отъ этого ихъ не убудетъ".

Есть басни, въ которыхъ Крыловъ еще ближе подходитъ къ нашей дѣйствительности; вѣроятно, ихъ-то и имѣли нѣкоторые люди въ виду, когда они просили начальство о томъ, чтобы цензура изъяла добрую половину басенъ Крылова изъ обращенія. Напримѣръ, басня „Воспитаніе льва", въ которой разсказывается, какъ наслѣдника львинаго царства обучили вить гнѣзда—ее, говорятъ, поняли какъ прямой намекъ на воспитаніе Императора Александра I. Въ баснѣ „Мартышка и очки" говорилось о томъ, какъ мы еще мало знаемъ цѣну полезнымъ вещамъ и какъ стоитъ намъ только власть

получить въ руки—мы противъ этихъ полезныхъ вещей подымаемъ гоненіе. Басня о „Морѣ звѣрей“, когда медвѣди, тигры и волки приговорили на костеръ вола, который съѣлъ чужое сѣно,—къ нашимъ внутреннимъ распорядкамъ вполнѣ подходила. А сколькимъ изъ нашихъ управителей можно было напомнить басню о „Гусяхъ“, у которыхъ только одно достоинство, что ихъ предки когда-то Римъ спасли своимъ крикомъ. Можно было задуматься и надъ басней „Орелъ и Кротъ“, въ которой разсказывается, какъ кротъ, обслѣдовавъ корни того дерева, на которомъ орелъ свилъ свое гнѣздо, предсказалъ ему, что гнѣздо вмѣстѣ съ деревомъ рухнетъ. Та же мысль о здоровыхъ „корняхъ“, которые питаютъ все дерево,—подчеркнута и въ баснѣ „Листы и Корни“. Полна общественнаго смысла басня „Мірская сходка“, повѣствующая о томъ, какъ волкъ попалъ въ овечьи старосты и какъ о немъ „словцо было замолвлено у львицы“. Очень сильна басня „Кошка и Соловей“, направленная, очевидно, противъ цензуры. О судейскихъ порядкахъ недвусмысленно говорила басня „Щука“, называя по имени гг. судей: „Два осла, двѣ клячи старыя, да два иль три козла“.

Такія басни могли бы намъ дать право зачислить Крылова въ разрядъ, какъ тогда говорилось, „либералистовъ“, но эта была бы ошибка. Во-первыхъ, во всѣхъ такихъ басняхъ въ сущности было сказано ни больше, ни меньше, чѣмъ въ любой сентиментальной проповѣди, того времени. Только сентиментальная проповѣдь увѣщевала, а сатирикъ смѣялся. Его сатирой могъ воспользоваться любой либералъ какъ подходящимъ оружіемъ,—но самъ Крыловъ ни о какомъ общественномъ подвигѣ не думалъ, а какъ художникъ ловилъ только смѣшную сторону явленій и.... смѣялся.

Когда же онъ начиналъ разсуждать или хотѣлъ что-нибудь доказать, то взгляды его были либо очень неопредѣленны, либо консервативно скромны.

Онъ, напримѣръ, очень часто возвращался въ своихъ басняхъ къ вопросу о просвѣщеніи, его значеніи для жизни и границъ, въ которыхъ оно должно держаться. Сравнивая эти басни, приходишь къ выводу, что нашъ сатирикъ очень косо смотрѣлъ на свободу просвѣщенія;

онъ желалъ включить его въ рамки очень тѣсныя и все предостерегалъ отъ пагубныхъ послѣдствій излишней мудрости, словно въ мудрости можетъ быть излишекъ или словно идея не искупаетъ всѣхъ своихъ ошибокъ—одной свободой своего развитія. Онъ совѣтуетъ очень осторожно сдирать съ людей кору грубости, чтобы съ ней не растерять и добрыхъ свойствъ, и не ослабить духъ людей, не испортить ихъ нравы и не разлучить ихъ съ простотой („Червонецъ"); онъ грозитъ народамъ, которые повѣрятъ мнимымъ мудрецамъ и впадутъ въ невѣріе, грозитъ имъ всѣми громами небесъ („Безбожники"); онъ убѣжденъ, что стоитъ лишь съ юныхъ дней напитаться вреднымъ ученіемъ и потомъ на всѣхъ дѣлахъ и поступкахъ оно будетъ отзываться. („Бочка"). Онъ поднимаетъ затѣмъ науку на смѣхъ въ баснѣ „Огородникъ и философъ", оговоривъ, правда, что рѣчь идетъ о философѣ недоученномъ и великомъ краснобаѣ. Со смысломъ этой басни можно было бы еще согласиться, если бы у насъ въ Россіи въ тѣ годы умѣстно было бы говорить объ излишествѣ теорій при полномъ нищенствѣ ихъ во всѣхъ областяхъ знанія. Въ баснѣ „Сочинитель и Разбойникъ" нашъ сатирикъ уже прямо отдаетъ предпочтеніе разбойнику,—который вреденъ, пока онъ живетъ, и заслуживаетъ бо́льшаго снисхожденія, чѣмъ писатель, который и послѣ смерти своей можетъ быть вреденъ настолько, что способенъ цѣлую страну наполнить убійствами и грабежами. Басней этой Крыловъ, несомнѣнно, мѣтилъ во французскую литературу XVIII вѣка и главнымъ образомъ въ Вольтера.

Въ баснѣ „Водолазы" Крыловъ, наконецъ, подвелъ итогъ всѣмъ своимъ разсужденіямъ объ этомъ вопросѣ. Получился слѣдующій выводъ:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ;
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Басню эту критика хотѣла спасти отъ обвиненія въ отрицательномъ отношеніи къ наукѣ и мысли вообще, и такая критика была права: басня не реакціон-

на, какъ и всѣ предшествовавшія; но она ничего не говоритъ, такъ какъ признаетъ необходимость ученія и знанія, но обставляетъ это признаніе одной оговоркой, которая его сводитъ къ нулю. Эта сентиментальная оговорка гласитъ, что только одно знаніе допустимо и желательно, именно то, которое ведетъ къ добру, т. е. свобода мысли человѣка поставлена подъ контроль очень относительнаго понятія. Во всякомъ случаѣ назвать Крылова обскурантомъ и ретроградомъ было-бы несправедливо, но что истинный либералъ никогда бы не позволилъ себѣ такихъ рѣчей по адресу науки и знанія, это—несомнѣнно. Крыловъ и въ данномъ случаѣ не желалъ утруждать себя долгимъ размышленіемъ и, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ французской революціи, весьма поверхностно понятой, ограничился острымъ словомъ и смѣшнымъ сопоставленіемъ тамъ, гдѣ требовалось необычайно серьезное и сознательное отношеніе къ дѣлу. Но, если ужъ говорить объ общественныхъ взглядахъ Крылова, то ихъ, конечно, придется признать въ общемъ консервативными. Новшествъ онъ вообще не любилъ: наказалъ же онъ лягушекъ за то, что онѣ, недовольныя своимъ царемъ, просили другого („Лягушки, просящія царя"). Мѣщанамъ онъ рекомендовалъ не желать жить какъ именитые граждане, и мелкую сошку уговаривалъ, чтобы она въ знатные дворяне не лѣзла („Лягушка и Волъ"). Доброму селянину и простому солдату онъ тоже не совѣтовалъ сличать ихъ состояніе съ состояніемъ иныхъ сословій и доказывалъ имъ, что государство о нихъ-то именно всего больше и заботится („Колосъ"). Иногда, слѣдуя все этому же правилу, что каждый долженъ знать свое мѣсто, онъ совсѣмъ безхитростной баснѣ навязывалъ мораль, которая плохо вязалась съ разсказомъ. Такъ въ баснѣ „Ворона въ павлиныхъ перьяхъ", онъ заговорилъ о томъ, что каждый долженъ держаться званія, въ которомъ рожденъ, и что простолюдинъ со знатью не долженъ родниться. „Лучше вѣрнаго держаться, чѣмъ за обманчивой надеждою гоняться," говорилъ онъ въ баснѣ „Пастухъ и море" и повторялъ ту же мысль въ трогательномъ разсказѣ „Два голубя". Да и въ первой своей баснѣ, съ которой нача-

лась его литературная дѣятельность, онъ, не любя ни опасности, ни борьбы, готовъ былъ кажется отдать предпочтеніе гибкой трости передъ могучимъ дубомъ („Дубъ и Трость“).

И, въ концѣ концовъ, къ чему ропотъ, недовольство, къ чему критика?. Какъ случилось однажды лошади критиковать работу крестьянина („Крестьянинъ и лошадь“), не такъ-ли

Съ самой древности, въ нашъ даже вѣкъ
Не такъ ли дерзко человѣкъ
О волѣ судитъ Провидѣнья,
Въ безумной слѣпотѣ своей,
Не вѣдая Его ни цѣли, ни путей?

3. Имѣемъ ли мы въ лицѣ Крылова, какъ это принято иногда утверждать,—сатирика и бытописателя? Что онъ сатирикъ и очень субъективный, это—несомнѣнно. Онъ выработалъ для своего обихода мораль довольно обыденную, пассивную, въ общихъ чертахъ сентиментально добропорядочную, и съ этихъ точекъ зрѣнія судилъ онъ о людяхъ и жизни. Очень многое въ этой жизни онъ не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть, но то, на что онъ устремлялъ свой взглядъ, то онъ ловилъ необычайно ловко и какъ настоящій художникъ рельефно, пластически воспроизводилъ съ большой жизненной правдой. Но въ каждой баснѣ всегда говоритъ онъ, и мораль читаетъ онъ, и если сгруппировать эти выводы басенъ, то получится не философія жизни, жизни вообще или жизни данной эпохи, а довольно связный очеркъ незатѣйливаго міросозерцанія самого баснописца.

Крыловъ, несомнѣнно, въ извѣстной степени и бытописатель, только эту сторону его творчества не слѣдуетъ выдвигать на первый планъ при его оцѣнкѣ. Онъ умѣетъ въ двухъ-трехъ штрихахъ рисовать отдѣльныя положенія и сцены, мастерски ведетъ краткій діалогъ и въ особенности силенъ онъ отдѣльными колоритными словами, оборотами рѣчи съ яркой бытовой окраской.

Но трудно—почти невозможно по его баснямъ получить понятіе о какой-нибудь цѣлой бытовой полосѣ нашей жизни. Чаще всего среди дѣйствующихъ лицъ его басенъ появляется нашъ крестьянинъ. Говоритъ онъ, дѣйствительно, иногда языкомъ народнымъ но самъ

онъ, съ бытовой стороны, обрисованъ чертами крайне неопредѣленными. Какъ живетъ онъ, въ какомъ состояніи, каковъ образъ его мыслей, его религіозное міропониманіе, кто онъ, какъ парень, какъ мужъ, какъ отецъ?—объ этомъ мы ничего не узнаемъ изъ басенъ Крылова. Странно, однако, предъявлять баснописцу такія требованія, но на эту особенность въ басняхъ Крылова все-таки слѣдуетъ обратить вниманіе, хотя бы для того, чтобы видѣть, какъ художникъ того времени, имѣвшій возможность близко узнать простой народъ, все-таки былъ пока еще не въ состояніи включить его жизнь въ сферу своего поэтическаго созерцанія. Сатирикъ не то, чтобы считалъ этотъ матерьялъ для искусства непригоднымъ, но онъ пока еще не умѣлъ обращаться съ нимъ.

Заслуги Крылова передъ нашей словесностью были бы исчислены не полностью, если бы мы въ немъ не признали большого мастера языка. Съ нимъ простая неподкрашенная народная рѣчь вступала въ художественную литературу. Но кромѣ народной рѣчи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, мы въ басняхъ Крылова имѣемъ образцовую литературную рѣчь. Такой сочности, сжатости и мѣткости она до него не имѣла. Это была очень трезвая, реальная рѣчь, дополнявшая ту плавную, возвышенную и поэтическую, которая одновременно съ басней Крылова развертывалась въ стихотвореніяхъ Жуковскаго.

Недаромъ цѣлыя строфы Крылова вошли въ пословицу и стали поговоркой.

Какъ мастеръ рѣчи нашъ баснописецъ былъ прямой предшественникъ, и пожалуй, учитель Грибоѣдова.

VIII. „Горе отъ ума“.

1. Комедія Александра Сергѣевича Грибоѣдова служила издавна предметомъ оживленныхъ споровъ среди всѣхъ ея безчисленныхъ поклонниковъ. Споръ шелъ не объ ея литературныхъ достоинствахъ, — которыя были сразу всѣми признаны, а о томъ, что́ она собой представляла какъ извѣстная литературная форма. Комедія ли она, въ настоящемъ смыслѣ слова, или сатира въ монологахъ и діалогахъ? Съ перваго взгляда можетъ показаться, что споръ идетъ о пустякахъ, — не все ли равно, комедія ли „Горе отъ ума“, или сатира, лишь бы она была художественнымъ произведеніемъ. Но совсѣмъ иначе приходится оцѣнивать этотъ споръ, когда имѣемъ въ виду опредѣлить ростъ эстетическаго отношенія художника къ жизни. Можемъ ли мы сказать, что съ Грибоѣдовымъ нашъ художникъ поднялся на ту высоту творчества, съ которой онъ могъ бросить на окружающую его жизнь свободный и широкій взглядъ комика, улавливающаго въ этой жизни ея смѣшную сторону какъ она естественно и непринужденно въ этой жизни выражается?—Или, въ лицѣ Грибоѣдова, передъ нами сатирикъ, съ очень ясными личными симпатіями, проповѣдникъ извѣстныхъ взглядовъ на жизнь, который для доказательства правоты этихъ взглядовъ подбираетъ факты, искусно ихъ комбинируетъ, грѣшитъ противъ правдоподобности, рисуетъ не столько

живыхъ людей, сколько общіе типы, въ которыхъ воплощаетъ тѣ или другія людскія мысли и склонности? Грибоѣдовъ—художникъ ли онъ, созерцающій жизнь и интересующійся въ ней преимущественно ея комической стороной, или онъ художникъ-судья, строгій судья, который читаетъ этой жизни наставленіе? Какъ велика доза того субъективнаго отношенія къ предмету, которую Грибоѣдовъ внесъ въ свою комедію?

Отвѣты на эти вопросы давались разные еще со временъ Бѣлинскаго, который за „Горемъ отъ ума" отрицалъ право на названіе художественной комедіи и доказывалъ свою мысль тонкими философскими и эстетическими соображеніями. Споръ не конченъ и въ наше время.

Намъ кажется, что болѣе правы тѣ, кто въ Грибоѣдовѣ видитъ по преимуществу сатирика, а не комика-драматурга.

Сатирикъ гнался, во, первыхъ-не за смѣшными сторонами жизни, когда задумалъ свою комедію: онъ рѣшалъ одинъ очень больной и очень серьезный вопросъ своего времени. Этотъ вопросъ, а не людей выдвигалъ онъ на первый планъ и обставлялъ его доказательствами въ образѣ типичныхъ воплощеній разныхъ ходячихъ тогда мнѣній. Сцена была заполнена такими ходячими мнѣніями, носителями которыхъ являлись отдѣльныя лица съ очень прозрачными фамиліями: Скалозуба, Молчалина, Хлестовой, Репетилова, Чацкаго фамилія котораго первоначально писалась „Чадскій". [въ этой транскрипціи хотѣли видѣть намекъ на Чаадаева, но дѣло объясняется проще: фамилія „Чадскій" происходитъ отъ слова „чадъ", и авторъ, очевидно, намекалъ на тотъ туманъ, который и въ головѣ его героя гнѣздился]. Всѣ эти лица по предписанію автора жили и дѣйствовали даже въ мельчайшихъ подробностяхъ своего поведенія (вплоть до отдѣльныхъ выходовъ и уходовъ на сценѣ). Говорили они также то, что имъ приказывалъ авторъ, говорили иногда его собственными словами и всѣ ихъ рѣчи клонились опять-таки къ доказательству единой мысли, которая не давала покоя автору. Правъ былъ Пушкинъ, когда, прослушавъ комедію, сказалъ, что Чацкій велъ себя глупо, а что Грибоѣдовъ очень умный человѣкъ.

И дѣйствительно, Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ былъ изъ малаго числа самыхъ умныхъ людей своего вѣка, и безспорно самый злой и остроумный изъ нихъ. И была въ немъ еще одна особенность— очень рѣдкая въ то время, полагавшая рѣзкую грань между нимъ и большинствомъ его современниковъ: онъ по природѣ своей былъ враждебенъ всякому сентиментализму—былъ человѣкъ очень трезвыхъ взглядовъ, и чувствительность въ разныхъ ея формахъ вызывала въ немъ чаще всего насмѣшку. Есть указанія современниковъ, что въ личныхъ отношеніяхъ онъ нерѣдко проявлялъ даже холодность, доходящую до жестокости.

Кромѣ того изъ нашихъ литераторовъ того времени онъ былъ, кажется, единственный человѣкъ дѣла— прозаическаго, житейскаго дѣла и при томъ еще государственнаго, въ которомъ всякій сентиментализмъ могъ быть сочтенъ только за недостатокъ.

2. Родился Александръ Сергѣевичъ въ 1795 году въ Москвѣ, въ семьѣ богатой и знатной, и воспитаніе и образованіе его съ самыхъ юныхъ лѣтъ было обставлено очень благопріятными условіями. Пятнадцати лѣтъ поступилъ онъ въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ. Занимаясь своими юридическими науками, онъ однако удѣлялъ не мало времени исторіи и словесности и самъ пробовалъ свои силы въ сочинительствѣ — стихотворномъ. Сдавъ кандидатскій экзаменъ, Грибоѣдовъ въ знаменательный 1812 годъ поступилъ на военную службу въ гусарскій полкъ и служилъ въ офицерскихъ чинахъ четыре года. Много проказничалъ онъ за это время, и образъ жизни его былъ разсѣянный и вольный, но въ немъ зрѣлъ человѣкъ наблюдательнаго и остраго ума и художникъ. Уже въ эти ранніе годы онъ былъ большимъ театраломъ и авторомъ двухъ комедій, литературная стоимость которыхъ была однако весьма ординарна. Въ 1817 году онъ поступилъ въ вѣдомство коллегіи иностранныхъ дѣлъ, гдѣ ему суждено было очень быстро продвигаться по службѣ. Годъ спустя его назначили состоять при нашемъ повѣренномъ въ дѣлахъ въ Персіи. Необычайный даръ къ языкамъ позволилъ Грибоѣдову въ короткій срокъ хорошо овладѣть арабскимъ и пер-

сидскимъ, а необычайный тактъ и умъ сдѣлали его однимъ изъ нашихъ самыхъ искусныхъ дипломатовъ, талантъ котораго былъ сразу оцѣненъ. Съ 1819 года Грибоѣдовъ жилъ преимущественно на Востокѣ, хотя часто наѣзжалъ въ столицы. Мимолетной угрозой его быстрой дипломатической карьерѣ были событія 1825 года, такъ какъ среди декабристовъ у него было очень много друзей. Его вытребовали съ Кавказа, арестовали и, оправдавъ, даже повысивъ въ чинѣ, отпустили обратно на службу. Точныхъ свѣдѣній о томъ, какъ онъ относился къ событію 14 декабря, мы не имѣемъ, но, принимая во вниманіе строгость, съ какой велось слѣдствіе, и болѣе чѣмъ благополучное окончаніе его для Грибоѣдова, можно предположить, что Грибоѣдовъ, дѣйствительно, къ дѣлу никакого касательства не имѣлъ. Да и все то, что мы знаемъ о складѣ его ума и характера, говоритъ противъ возможности его увлеченія той политической мечтой, которая привела его друзей и знакомыхъ къ катастрофѣ.

Въ концѣ 1826 года Грибоѣдовъ вернулся къ мѣсту своего служенія. Разгоралась наша война съ Персіей. Она кончилась миромъ въ Туркманчаѣ, и этотъ мирный договоръ, для насъ очень выгодный, былъ выработанъ при ближайшемъ участіи Грибоѣдова, которому и было поручено доставить его въ Петербургъ. Изъ Петербурга Грибоѣдовъ вернулся въ чинѣ статскаго совѣтника, награжденный высокимъ орденомъ и большой суммой денегъ. Вскорѣ послѣ этого онъ былъ назначенъ нашимъ полномочнымъ министромъ-резидентомъ въ Тегеранѣ. Назначеніе было очень почетное, но очень опасное, въ виду страстей, которыя послѣ войны еще не остыли. Грибоѣдовъ сознавалъ, что онъ ѣдетъ на вѣрную смерть, и опасенія его оправдались. Въ январѣ 1829 года во время возмущенія черни въ Тегеранѣ Грибоѣдовъ былъ убитъ. Россія потеряла въ немъ, быть можетъ, самаго умнаго и тонкаго дипломата того царствованія, помимо того, что она теряла въ немъ крупнаго писателя, который сталъ знаменитостью съ того момента, какъ начали появляться въ рукописяхъ списки его комедіи „Горе отъ ума“.

Въ этой комедіи заключено все литературное на-

слѣдство Грибоѣдова, такъ какъ всѣ остальные его драматическіе опыты никакой художественной стоимости не имѣютъ.

Первая мысль „Горе отъ ума“ явилась Грибоѣдову, кажется, въ 1816 году. Въ продолженіе долгихъ лѣтъ эта мысль приводилась въ исполненіе, и авторъ урывками, когда ему позволяли его занятія, надъ ней работалъ. Въ 1823 году комедія, кажется, была закончена, но печати при жизни автора не увидѣла. Точно также безуспѣшны были всѣ попытки поставить ее на сцену, Она попала сразу въ разрядъ какъ бы запрещенныхъ произведеній, хотя самъ авторъ былъ внѣ всякихъ подозрѣній; да и въ самой пьесѣ не было на первый взглядъ ничего такого, что могло бы обезпокоить цензуру.

Но цензура, и въ особенности театральная, не могла, конечно, съ этой пьесой помириться; она въ ней видѣла прямое обличеніе и Екатерининской старины, которая была еще жива, и Аракчеевскаго режима, который процвѣталъ. Послѣ 1825 года цензура должна была насторожиться еще болѣе, такъ какъ главное лицо въ пьесѣ напоминало слегка тѣхъ молодыхъ людей, съ которыми правительству пришлось въ 1825 году посчитаться. Тѣсную связь комедіи съ переживаемымъ моментомъ читатель однако понялъ и оцѣнилъ сразу: онъ занялся перепиской комедіи, и она въ безчисленныхъ спискахъ разлетѣлась по всей Россіи.

3. Комедія Грибоѣдова, какъ уже было сказано, неоднократно возбуждала возраженія со стороны своего внѣшняго и внутренняго выполненія. Многіе отрицали ея право на названіе комедіи, или если признавали ее за таковую, то не хотѣли согласиться въ томъ, что она— комедія чисто русская.

Дѣйствительно, на ней безспорно замѣтны слѣды вліянія театральной техники французскаго классицизма. Въ комедіи соблюдено, напримѣръ, единство мѣста (домъ Фамусова) и единство времени (съ утра одного дня до его вечера). Остался въ комедіи среди чисто русскихъ типовъ и какъ будто не совсѣмъ русскій типъ Лизы—не то субретки, не то наперсницы. Защитники Грибоѣдова, впрочемъ, утверждаютъ, что такіе типы дворовыхъ были возможны; что сѣнныя дѣвушки,

камеристки могли стать въ очень интимныя отношенія къ своимъ господамъ. (Фактъ не невѣроятный, но мемуарами и литературой того времени не подтверждающійся). Несомнѣнно, что во всѣхъ этихъ мелочахъ замѣтны отголоски литературнаго чтенія Грибоѣдова и неизбѣжная въ его положеніи малая опытность русскаго драматическаго писателя.

Но кромѣ этого комедію можно обвинить въ очень тенденціозномъ подборѣ типовъ. Положимъ, извѣстный выборъ типовъ всегда необходимъ даже для писателя ультрареальнаго направленія. Но когда видишь, что такіе избранные типы, каждый порознь, являются выразителями опредѣленныхъ чувствъ и понятій, доведенныхъ до крайняго своего выраженія, что они, такъ сказать, символы извѣстныхъ пороковъ, облеченные въ человѣческій образъ, и при этомъ каждый изъ нихъ—выразитель непремѣнно одного какого-нибудь порока или смѣшной крайности,—тогда начинаешь подозрѣвать автора въ извѣстной тенденціозной группировкѣ типовъ, въ стремленіи не *изобразить* жизнь только, а въ стремленіи этимъ изображеніемъ *доказать* нѣчто. Въ этомъ отношеніи любопытно сравнить „Горе отъ ума“, напримѣръ, съ „Ревизоромъ“, гдѣ также подобрана цѣлая кунсткамера. Въ „Ревизорѣ“ передъ нами все-таки люди, хоть, можетъ быть, слишкомъ смѣшные,—но люди, и ни про одного изъ этихъ людей нельзя сказать, что онъ—олицетворенный какой-нибудь порокъ, что онъ—символъ какого-нибудь до крайности доведеннаго смѣшного взгляда на жизнь. Всѣ герои „Ревизора“—пустые, пошлые и порочные люди, но въ розницу они всѣ въ жизни встрѣчаются, и только ихъ встрѣча въ гостиной городничаго можетъ быть названа случайностью. Встрѣтиться въ жизни съ героями „Горя отъ ума“ значительно труднѣе, и, кажется намъ, даже невозможно. Мы можемъ подмѣтить въ людяхъ фамусовскія, молчалинскія, репетиловскія наклонности, болѣе или менѣе ясно обнаруженныя, но съ Грибоѣдовскими героями едва ли судьба насъ свести можетъ. Предположить, что они существовали въ свое время и исчезли, также едва ли будетъ основательно, такъ какъ всѣ до сихъ поръ опубликованные матерьялы изъ жизни „Грибоѣдовской Москвы“ даютъ намъ типы лишь

слегка похожіе на тѣ, которые обрисованы Грибоѣдовымъ. Это не исключаетъ возможности, что самъ Грибоѣдовъ, вырисовывая какой-нибудь изъ своихъ типовъ, имѣлъ предъ глазами живыхъ людей, которыхъ наблюдалъ. Разсказываютъ, напримѣръ, что онъ актерамъ передавалъ подробности изъ жизни такихъ „оригиналовъ“.

Если сами типы „Горе отъ ума“ грѣшатъ извѣстной общностью и геніальны какъ сатирическіе символы, но мало правдоподобны какъ живые портреты, то и сборище ихъ въ одномъ домѣ не есть случайность, а предумышленно созванное собраніе, для того, чтобы дать возможность автору или главному дѣйствующему лицу произвести надлежащій смотръ и оцѣнку всѣхъ собравшихся чудаковъ. Такой смотръ, дѣйствительно, и происходитъ, начиная съ ранняго утра до поздняго вечера въ домѣ Фамусова. Уже давно было замѣчено, что и самый ходъ развитія драматическаго дѣйствія заключаетъ въ себѣ много странностей, плохо вяжущихся съ тѣмъ, что называется правдоподобностью. Ночной концертъ Софьи и Молчалина, пріѣздъ свѣтскаго молодого человѣка въ аристократическій домъ прямо съ дороги въ дорожномъ костюмѣ раннимъ утромъ, его обличительная рѣчь противъ всѣхъ родственниковъ любимой имъ дѣвушки, рѣчь, сказанная послѣ перваго же привѣтствія, его нежеланіе сказать съ хозяиномъ двухъ словъ при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки; неожиданная прогулка Молчалина, зимой верхомъ, монологъ Чацкаго на балу, когда онъ разражается цѣлой филиппикой въ пустое пространство, наконецъ, весь четвертый актъ, когда Чацкій прячется незамѣтно отъ швейцара, и финальный скандалъ, какой Фамусовъ устраиваетъ своей дочери при всей прислугѣ,—все это отдѣльныя сцены, которыя, конечно, могли случиться въ видѣ исключенія, но при обычномъ теченіи жизни едва ли имѣли мѣсто. Автору онѣ, впрочемъ, были очень нужны, такъ какъ каждая изъ этихъ сценъ давала ему отличный поводъ для дальнѣйшаго развитія дѣйствія.

Всѣ эти замѣчанія теряютъ, конечно, свою силу, если „Горе отъ ума“ признать сатирой, не претендующей на названіе художественной „комедіи“.

Какъ сатира, бичующая въ человѣческихъ образахъ извѣстныя ходячія тогда понятія и извѣстныя формы гражданской и личной морали, „Горе отъ ума“—неподражаемо сильное и злое произведеніе; и въ особенности сильно должно было быть впечатлѣніе, производимое имъ на современниковъ, для которыхъ всѣ эти сатирическіе символы были итогомъ взглядовъ и понятій, среди которыхъ они жили, и кромѣ того самыхъ живыхъ повседневныхъ, а не понятій общаго характера, какими они стали теперь для насъ, за давностью лѣтъ.

Но кромѣ того—и это самое главное—въ комедіи былъ поднятъ одинъ животрепещущій вопросъ, стоявшій тогда на очереди, на виду у всѣхъ и поглощавшій всеобщее вниманіе. Это былъ вопросъ, неизмѣнно возникающій при органическомъ развитіи всякой общественной жизни, вопросъ о старомъ и молодомъ поколѣніи, объ „отцахъ и дѣтяхъ“.

Бываютъ эпохи, когда этотъ вопросъ разрѣшается какъ-то тихо, хотя всегда не мирно, когда въ жизни не ощущается особенно сильнаго перелома и когда между отцами и дѣтьми устанавливается извѣстнаго рода компромиссъ, позволяющій имъ ужиться безъ рѣзкихъ столкновеній. Случается однако, что такое неизбѣжное столкновеніе молодого и стараго совпадаетъ съ эпохой крайне возбужденной общественной или политической жизни народа. Естественно, что споръ между отцами и дѣтьми принимаетъ тогда болѣе острый характеръ. Такъ было и въ тѣ годы, когда писалось „Горе отъ ума“, въ концѣ царствованія Императора Александра Павловича. Молодежь, которая подросла къ этому времени, которая родилась въ самомъ началѣ вѣка, сентиментальная, либерально настроенная молодежь была свидѣтельницей великихъ событій. Ростъ нашего національнаго самосознанія послѣ наполеоновскихъ войнъ, быстрое расширеніе политическаго кругозора, запасъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ общенія прямого или книжнаго съ Западомъ, пробужденіе общественной самодѣятельности въ разныхъ областяхъ жизни,—всѣ эти впечатлѣнія, мысли и ощущенія отразились на повышеніи въ молодыхъ людяхъ интеллигентнаго круга—чувства смѣлости, сознанія собствен-

наго достоинства и увѣренности въ своихъ силахъ, отразились и на гордости ихъ и на самомнѣніи, на рѣшительности въ осужденіи всего того, что стариной отзывалось. Во многомъ молодежь была, конечно, права, и многое въ старинѣ заслуживало осужденія,—но какъ въ такихъ случаяхъ всегда бываетъ—гнѣвъ противъ этой старины и насмѣшки надъ ней росли въ молодыхъ устахъ и головахъ гораздо быстрѣе, чѣмъ росла сама работа этого молодого поколѣнія на пользу общества. Противъ поступковъ и мыслей стариковъ, надъ которыми молодежь смѣялась и которыхъ она осуждала, она могла выставить пока еще только свои обѣщанія и пожеланія, и единственнымъ пока оружіемъ въ ея рукахъ было острое слово—безпощадное и смѣлое, которое, конечно, было тѣмъ безпощаднѣе и смѣлѣе, чѣмъ меньше была житейская опытность обличителя.

Само собою разумѣется, что на эту обличительную рѣчь старшее поколѣніе не отвѣчало улыбкой. Столкновеніе между стариками и ихъ наслѣдниками становилось неизбѣжно и оно должно было принять характеръ довольно острый, въ особенности въ тѣхъ дворянскихъ семьяхъ стараго закала, въ которыхъ были живы традиціи недавней старины двухъ предшествующихъ царствованій. Появленіе въ такихъ семьяхъ молодыхъ людей, хотя бы съ самой скромной программой жизни, построенной на новыхъ взглядахъ, людей, отнюдь не разрушителей или вольнодумцевъ, а просто моралистовъ и слегка либераловъ—всегда могло грозить скандаломъ. Старики преувеличивали опасность и вредъ направленія новой мысли, а люди молодые могли дойти до огульнаго отрицанія всего существующаго.

Вотъ этотъ-то вопросъ о положеніи молодого человѣка среди стараго общества—вопросъ необычайной важности и интереса и положилъ Грибоѣдовъ въ основаніе своей сатиры. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что эта тема, жизненная и вполнѣ современная, допускала возможность совсѣмъ иной литературной обработки. Она могла служить канвой для широкой повѣствовательной картины, для романа или повѣсти, какъ она и послужила много лѣтъ спустя, когда въ шестидесятыхъ годахъ опять обострились отношенья между дѣтьми и

отцами. Но мы знаемъ, что эпоха, о которой мы говоримъ, была крайне неблагопріятна для такихъ бытописательныхъ повѣстей и романовъ. Художнику эта форма не давалась за малымъ его литературнымъ опытомъ и въ виду очень яснаго субъективнаго его отношенія ко всѣмъ явленіямъ окружающей его дѣйствительности. Перевѣсъ субъективнаго элемента въ творчествѣ не позволилъ художнику написать на эту тему и вполнѣ художественной объективной комедіи. Въ его распоряженьи была единственная форма, именно форма сатиры, которая позволяла ему одновременно рѣзко подчеркнуть свое личное отношеніе къ вопросу и въ то же время не упустить бытовой стороны, выразивъ ее въ нѣсколькихъ характерныхъ и рѣзко очерченныхъ типахъ.

Но, втискивая означенный широкій вопросъ въ тѣсныя рамки сатиры въ драматической формѣ, авторъ неизбѣжно долженъ былъ допустить нѣсколько условностей. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ допустилъ умышленно, другія былъ вынужденъ сдѣлать.

Онъ долженъ былъ прежде всего, чтобы не разбить впечатлѣнія, сгустить краски при обрисовкѣ старины, съ которой враждовало молодое поколѣніе. Нѣтъ сомнѣнья, что эта старина вовсе не была такъ безнадежно тупа, глупа и пошла, какъ она обрисована въ комедіи. Въ высшемъ дворянскомъ кругу попадались вѣдь не одни только Фамусовы, Хлестовы, Тугоуховскіе и К°. Было въ немъ много людей и просвѣщенныхъ и прогрессивныхъ и съ несомнѣнными заслугами. Но такимъ людямъ не мѣсто было въ этой сатирѣ, если только авторъ желалъ, чтобы его Чацкій сдѣлалъ старикамъ строгій выговоръ. А авторъ, несомнѣнно, желалъ этого. Такимъ образомъ, въ комедіи бытовой, гдѣ впервые передъ зрителемъ являлось старое дворянское поколѣніе Екатерининскаго времени, весь этотъ классъ людей былъ представленъ во образѣ какихъ-то нравственныхъ уродовъ. Точно также военный классъ того времени—и среди военныхъ въ особенности полковники, т. е. люди средняго возраста—едва ли могъ быть подведенъ подъ общій Скалозубовскій типъ. Война 12-го года, въ которой Скалозубъ принималъ участіе, сохра-

нила намъ много образовъ и типовъ, совсѣмъ на него непохожихъ. Но Грибоѣдову былъ нуженъ именно онъ, для сатиры, которая могла одновременно бить по старинѣ Павловскаго времени и по Аракчееву. Наконецъ, все рѣзче подчеркивая рознь между молодымъ энтузіастомъ и средой, которая его не признаетъ, авторъ пожелалъ создать фигуру для контраста—фигуру также молодого человѣка, но такого, какимъ старики желали бы видѣть представителя подрастающаго поколѣнія. И въ гостиной Фамусова появился Молчалинъ — опять олицетвореніе извѣстнаго порядка мыслей и чувствъ, но отнюдь не живое лицо. Таковы были условности, которыя были нужны сатирику и которыя онъ допустилъ вполнѣ обдуманно.

Были и другія, въ которыхъ авторъ былъ почти что неволенъ, такъ какъ онѣ ему были продиктованы извнѣ. Мы разумѣемъ цензурныя условія, которыя принудили автора умолчать о многомъ, о чемъ конечно, нужно было говорить. Выводя на сцену молодого человѣка въ боевой позѣ, какъ обличителя цѣлаго общественнаго уклада нужно было, конечно, хорошо вооружить его и убѣжденіями и знаніями. Такія убѣжденія и взгляды авторъ, конечно, имѣлъ, но передать ихъ своему герою онъ былъ не въ состояніи. Что знаемъ мы, напримѣръ, о религіозныхъ, о политическихъ взглядахъ Чацкаго? Слѣдовъ этихъ взглядовъ мы не найдемъ въ комедіи, но если мы вспомнимъ какъ этими вопросами интересовалось подрастающее поколѣніе, какимъ предметомъ спора и вражды между стариками и молодыми были, напримѣръ, вопросы политики внутренней и внѣшней, то отсутствіе даже намека на нихъ въ комедіи очень сбиваетъ читателя. Вся серьезная сторона въ столкновеніи стараго съ новымъ освѣщена въ комедіи лишь туманными выходками Чацкаго противъ иностранцевъ. Но вина въ данномъ случаѣ не автора. Поднять эти вопросы на сценѣ было невозможно, тѣмъ болѣе, что и безъ нихъ комедія была сочтена достаточно опасной. Приходилось, такимъ образомъ, молчать, пожалуй, о самомъ главномъ и изыскивать способы чѣмъ-нибудь заполнить этотъ пробѣлъ. Но заполнить его было нечѣмъ: онъ такъ и остался, и всѣ, кто читалъ

комедію или смотрѣлъ на нее, выносили впечатлѣніе, что главный герой въ обрисовкѣ автора вышелъ очень неяснымъ: чувства его всѣмъ понятны, но что онъ думаетъ, во что онъ вѣритъ, чѣмъ замѣнилъ бы онъ то, что отрицаетъ, — на это нѣтъ точныхъ указаній въ пьесѣ.

Давно уже было замѣчено, что любовной интригѣ отведено въ пьесѣ слишкомъ много мѣста. Впечатлѣніе отъ этой интриги какъ бы отодвигаетъ на задній планъ всю идейность протеста Чацкаго и главнымъ источникомъ его негодованія, его филиппикъ является какъ будто уязвленное самолюбіе непризнаннаго любовника. Что было бы, если бы Софья Павловна бросилась ему на шею? Неужели онъ помирился бы и съ Фамусовымъ, и съ Молчалинымъ, и съ Скалозубомъ? Легко возможно, если брать его таковымъ, какимъ онъ стоитъ передъ нами въ пьесѣ, и не дополнять всѣхъ его словъ тѣми словами, которыхъ онъ не успѣлъ или не могъ сказать. Вся комедія въ сущности построена на его любви, и эта любовь, быть можетъ, извиняетъ и его ранній пріѣздъ въ домъ Фамусова и его небрежное отношеніе къ хозяину дома, и его наскокъ на Сколозуба и Молчалина и, наконецъ, это послѣднее странное по своей напыщенности рѣшеніе: „Вонъ изъ Москвы". Но, зная глубокій умъ автора, его широкій умственный кругозоръ, нельзя подумать, чтобы именно эту личную обиду Чацкаго онъ чувствовалъ такъ больно. И можетъ прійти въ голову мысль—не потому ли авторъ такъ налегъ на эту любовную исторію, что въ болѣе широкомъ развитіи дѣйствія онъ былъ несвободенъ? Не потому ли оскорблена такъ сильно въ Чацкомъ любовь, чтобы заставить его почувствовать непримиримую вражду къ этимъ людямъ, къ которымъ онъ долженъ чувствовать эту вражду и помимо отвергнутой любви, въ силу принципіальной своей розни съ ними по вопросамъ, гораздо болѣе существеннымъ, чѣмъ личное чувство? Не есть ли эта оскорбленная любовь своего рода символъ непримиримаго несогласія во всѣхъ взглядахъ? Если такъ понять ее, то и роль Молчалина въ этой любви станетъ болѣе правдоподобна. Любовь Софьи Павловны къ Молчалину всегда возбуждала недоумѣніе. Что она нашла

въ немъ? Положимъ, она души его не знала. Онъ игралъ съ ней въ любовь и все больше молчалъ или говорилъ сентиментальныя приторности. Но все же—не могла она не замѣтить, ну если не пошлости, то хоть пустоты этого человѣка, а между тѣмъ любовь ея искренняя, а не простое кокетство. Иногда эту любовь объясняли нелѣпымъ воспитаніемъ; быть можетъ — но возможно предположить также, что эта любовь навязана ей авторомъ въ цѣляхъ болѣе рѣзкаго оттѣненія душевной трагедіи Чацкаго. Отвергнутая любовь да еще перенесенная на недостойнаго человѣка — хорошій драматическій рычагъ. Онъ могъ быть нуженъ, чтобы пропасть между Чацкимъ и окружающимъ его обществомъ сдѣлать еще глубже. Во всякомъ случаѣ и любовь Чацкаго и его соперничество съ Молчалинымъ никакъ не могутъ быть признаны за основную пружину всего драматическаго дѣйствія, а между тѣмъ по пьесѣ оно такъ выходитъ. Впрочемъ, кто знаетъ,—можетъ быть, авторъ руководился въ данномъ случаѣ старой литературной традиціей, которая любовную интригу дѣлала обязательной для всякой пьесы, хотя бы ея основная идея ничего общаго съ любовными дѣлами не имѣла.

Мы видимъ, такимъ образомъ, какъ трудно было автору втѣснить въ рамки драматической сатиры вопросъ—необычайно широкій и необычайно важный по своему общественному значенію.

4. Нѣтъ нужды давать характеристики всѣхъ дѣйствующихъ лицъ комедіи. Большинство изъ нихъ такъ ясно очерчено, что добавлять къ словамъ автора нечего Но на главномъ лицѣ комедіи—на Чацкомъ прійдется остановиться, такъ какъ онъ одинъ изъ всѣхъ допускаетъ разнорѣчивое толкованіе. И, дѣйствительно, такихъ разнорѣчивыхъ толкованій накопилось въ нашей литературѣ большое количество. Каждое поколѣніе выступало со своей оцѣнкой этого лица, и одно это обстоятельство указываетъ на глубокій смыслъ появленія въ обществѣ такихъ людей, какъ этотъ молодой энтузіастъ, обличитель, попадающій въ смѣшное положеніе.

Что хотѣлъ авторъ сказать этимъ смѣшнымъ положеніемъ, въ которое героя поставилъ? Заслуживалъ ли

Чацкій этого? Если принять во вниманіе, что мы говорили выше, то—нѣтъ, потому что повидимому это типъ положительный. Въ молодомъ поколѣніи Александровскаго царствованія мы замѣчаемъ безспорное стремленіе критиковать старину, смѣлое отрицаніе старыхъ устоевъ жизни, много огня въ сердцѣ, много экзальтированности въ чувствахъ, большую порывистость въ мысляхъ—качества, которыми такъ блещетъ герой комедіи Грибоѣдова. Если по многимъ вопросамъ Чацкій не имѣетъ, что сказать, то, какъ выше указано, онъ, быть можетъ, молчитъ поневолѣ.

Но можно сдѣлать другое предположеніе. Что, если у Чацкаго, на самомъ дѣлѣ, не было никакихъ установившихся взглядовъ ни на одинъ серьезный вопросъ жизни? Что, если Грибоѣдовъ отлично зналъ, что у его героя такихъ отвѣтовъ не имѣется, и что, если онъ Чацкаго вывелъ на сцену не для того, чтобы имъ любоваться или кому-нибудь его ставить въ примѣръ? Возможно, что нашъ сатирикъ, наблюдая за молодежью своего времени, отмѣтилъ въ ней ея экзальтированность, не прикрытую никакими убѣжденіями, ея недовольство окружающимъ, безъ возможности указать на способы плодотворной борьбы съ ней, ея увлеченіе словомъ, не подкрѣпленнымъ дѣйствіемъ, ея жаромъ душевнымъ, который самъ себя пожираетъ и ни на какое дѣло не направляетъ ни ума, ни чувства? Отмѣтивъ эти качества, которыя всегда во всякомъ молодомъ поколѣніи встрѣчаются, не желалъ ли нашъ сатирикъ указать на нихъ, какъ на нѣчто не менѣе нежелательное, чѣмъ вся хваленая старина, достойная прямого осужденія? Припоминая, какой Грибоѣдовъ былъ практичный и дѣловой человѣкъ, какъ трезво онъ относился къ себѣ самому, какъ трезво онъ смотрѣлъ на жизнь, какъ мало было въ немъ сентиментальнаго—можно предположить, что онъ съ одинаковой строгостью отнесся и къ старикамъ, и къ молодымъ и вовсе не былъ влюбленъ въ своего „Чадскаго“, сердце котораго и горѣло и чадило, и которому умъ пошелъ не на радость, а „на горе“.

Есть въ комедіи два намека, которые, независимо отъ вопроса и личности Чацкаго, говорятъ въ пользу такого предположенія. Какъ разъ въ то время, когда

комедія Грибоѣдова была закончена (1823), въ Москвѣ начиналъ пользоваться извѣстностью и уваженіемъ одинъ кружокъ молодыхъ людей, ревностно занимавшихся нѣмецкой философіей. Цѣлые дни и ночи проводили эти молодые люди—изъ семей, Грибоѣдову знакомыхъ—въ спорахъ о самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ они состояли чиновниками на службѣ въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Это были большіе идеалисты и очень культурные люди, но, конечно, совсѣмъ не „дѣловые". И вотъ въ ихъ компанію Грибоѣдовъ зачѣмъ-то помѣстилъ Молчалина, опредѣливъ его въ тотъ же архивъ на службу *).

Затѣмъ въ тѣ же годы, когда Грибоѣдовъ работалъ надъ своей комедіей, были уже сформированы такъ называемыя тайныя общества, завершившія свою дѣятельность политическимъ возстаніемъ 1825 года. Грибоѣдовъ былъ хорошо освѣдомленъ объ ихъ ростѣ, такъ какъ имѣлъ среди ихъ членовъ много хорошихъ знакомыхъ.

И болѣе чѣмъ странны тѣ слова, которыя онъ вложилъ въ уста Репетилову, и въ которыхъ заключенъ довольно прозрачный намекъ на эти тайныя общества.

— Поздравь меня,—говоритъ Репетиловъ Чацкому:— „теперь съ людьми я знаюсь съ умнѣйшими... Изъ шумнаго я засѣданія... Пожалуйста молчи—я слово далъ молчать. У насъ есть общество и тайныя собранія, по четвергамъ. Секретнѣйшій союзъ. Вслухъ, громко говоримъ—никто не разберетъ. Я самъ, какъ схватятся о камерахъ, присяжныхъ, о Байронѣ... о матерьяхъ важныхъ, частенько слушаю, не разжимая губъ. Что за люди! Сокъ умной молодежи... Рѣшительные люди, горячихъ дюжина головъ; кричимъ—подумаешь, что сотни голосовъ! Шутимъ, братецъ, шумимъ... Не мѣсто объяснять теперь и не досугъ, но—государственное дѣло! оно, вотъ видишь, не созрѣло, нельзя же вдругъ.. что за люди!"

И затѣмъ идетъ перечисленіе этихъ людей—чистая кунсткамера пошляковъ:

Во-первыхъ, князь Григорій,
Чудакъ единственный! насъ со смѣху моритъ!

---

*) Въ комедіи, впрочемъ, не сказано въ какой архивъ, и намекъ вообще очень глухой.

Вѣкъ съ англичанами, все англійская складка,
И такъ же онъ сквозь зубы говоритъ,
И такъ же коротко обстриженъ для порядка.
Ты не знакомъ? О, познакомься съ нимъ.
Другой—Воркуловъ. Евдокимъ.
Ты не слыхалъ, какъ онъ поетъ? О, диво!
Послушай, милый, особливо
Есть у него любимое одно:
„А нонъ ла-шьяръ ми но-но-но!“
Еще у насъ два брата:
Левонъ и Боренька—чудесные ребята!
Объ нихъ не знаешь, что сказать.
Но если генія прикажете назвать,—
Удушьевъ, Ипполитъ Маркелычъ!
Ты сочиненія его
Читалъ ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братецъ! Да онъ не пишетъ ничего!
Вотъ этакихъ людей бы сѣчь-то,
И приговаривать: писать, писать, писать!
Въ журналахъ можешь ты однако отыскать
Его отрывокъ: „Взглядъ и Нѣчто“.
Объ чемъ бишь „Нѣчто“?—обо всемъ:
Все знаетъ; мы его на черный день пасемъ;
Но голова у насъ, какой въ Россіи нѣту,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойникъ, дуэлистъ,
Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ,
И крѣпко на руку нечистъ.
Да умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ!
Когда-жъ о честности высокой говоритъ,
Какимъ-то демономъ внушаемъ,
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, и мы всѣ рыдаемъ.

Можно, конечно, спросить—да декабристовъ ли имѣлъ въ виду Грибоѣдовъ? Быть можетъ, эти слова къ нимъ никакого отношенія не имѣютъ? можетъ быть, сатирикъ говорилъ о какомъ-нибудь иномъ секретномъ обществѣ, быть можетъ, о какой-нибудь выродившейся массонской ложѣ (хотя свѣдѣній о таковой въ исторіи того времени не имѣется)? Какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ намекъ „на государственное дѣло, которое еще не созрѣло“, могъ быть истолкованъ въ томъ смыслѣ, какъ мы его понимаемъ; и Грибоѣдовъ зналъ, что такое толкованіе будетъ сдѣлано, и тѣмъ не менѣе произвелъ Репетилова въ члены тайнаго политическаго общества. За что онъ кольнулъ и философовъ, и политиковъ? Быть можетъ, за излишнюю любовь къ слову?

А что, если и къ Чацкому, этому герою преимущественно словеснаго низложенія всѣхъ авторитетовъ, Грибоѣдовъ относился иронически, и его сатира была, такимъ образомъ, не проповѣдью съ опредѣленнымъ положительнымъ содержаніемъ, а разносомъ и отцовъ, и дѣтей, и стараго и новаго, т. е. ихъ отрицательныхъ сторонъ, конечно? Все это, само собою разумѣется, лишь предположенія, но въ нихъ виновата неясность облика главнаго героя *).

Нужно признать, что харастеристика Чацкаго по тѣмъ указаніямъ, которыя намъ даетъ комедія, дѣло не легкое. Изъ всѣхъ типовъ это наиболѣе колеблющійся и неопредѣленный, и авторъ былъ очень скупъ на свѣдѣнія объ этомъ повидимому ему очень близкомъ лицѣ. Мы не знаемъ ничего о дѣтствѣ Чацкаго и его ранней юности, мы не знаемъ, какъ его воспитывали, не знаемъ даже, кончилъ ли онъ какое-нибудь высшее учебное заведеніе. О чемъ онъ думалъ, чѣмъ занимался — намъ это неизвѣстно. Есть глухое указаніе на какую-то его „связь съ министрами", но мало вѣроятно, чтобы у этого мальчика (а съ министрами онъ, очевидно, былъ знакомъ до своего отъѣзда изъ Россіи, когда ему было 18 лѣтъ) были какія-нибудь серьезныя сношенія съ дѣловыми людьми. Гдѣ онъ пропадалъ три года?—спросимъ мы, и на этотъ вопросъ тоже нѣтъ отвѣта. Онъ былъ, конечно, за границей, такъ какъ сказано, что онъ видѣлъ „свѣтъ" и уѣхалъ „въ даль", а если бы онъ жилъ въ Петербургѣ, то за три года навѣрное побывалъ бы въ Москвѣ, хотя бы для того, чтобы посмотрѣть на Софью Павловну. Чѣмъ онъ занимался за границей, въ какихъ кругахъ вращался—этой, для того времени очень важной справки намъ авторъ не даетъ. Наконецъ, куда уѣзжаетъ Чацкій и гдѣ его оскорбленное чувство находитъ себѣ уголокъ—на станціяхъ ли безконечной дороги, у себя ли въ усадьбѣ (кстати, какъ онъ смотрѣлъ на эту свою обязанность помѣщика? имѣніемъ, мы знаемъ, онъ

---

*) Самъ Грибоѣдовъ, впрочемъ, въ одномъ частномъ письмѣ (къ П. Катенину 1825) признавался въ полной своей симпатіи къ Чацкому, но зато весь смыслъ своей комедіи сводилъ къ простой любовной интригѣ.

управлялъ оплошно, но противъ крѣпостного права декламировалъ хорошо) или, быть можетъ, опять за границей? Кто знаетъ? Онъ появляется передъ нашими глазами въ одно прекрасное утро, и ночью того же дня исчезаетъ, какъ таинственный незнакомецъ.

Въ комедіи ему выдается очень опредѣленная аттестація: онъ очень гордъ и большой насмѣшникъ. Пока онъ не появлялся, эта насмѣшливость располагаетъ въ его пользу, а не отталкиваетъ. Софья Павловна признается, что онъ славно умѣетъ всѣхъ пересмѣять: болтаетъ, шутитъ—и ей забавно. Ей кажется, что дѣлить смѣхъ можно со всякимъ. Признавая его умъ, остроту, и краснорѣчіе, признавая, что онъ умѣетъ увлечь людей, Софья Павловна дѣлаетъ только одну оговорку: она полагаетъ, что онъ о себѣ думаетъ слишкомъ высоко и что въ насмѣшкѣ его не столько критическаго отношенія къ жизни и серьезности, сколько самоуслажденія: „Онъ тамъ счастливъ,— говоритъ она,— гдѣ люди посмѣшнѣе“. Она, очевидно, обвиняетъ Чацкаго въ томъ, что людей-то собственно онъ не любитъ и мало опечаленъ тѣмъ, что въ нихъ такъ много смѣшныхъ сторонъ. Она повидимому права, такъ какъ при первой же встрѣчѣ Чацкій не щадитъ ея родственныхъ чувствъ и всѣхъ ея родныхъ, начиная съ папаши, высмѣиваетъ безпощадно. „Не человѣкъ—змѣя!“ говоритъ уже теперь Софья Павловна и спрашиваетъ его язвительно, случалось ли ему когда-нибудь о комъ-либо сказать доброе? Онъ очень удивленъ этимъ вопросомъ и не хочетъ вѣрить, чтобы его слова могли кому-нибудь принести вредъ. „Если это случается,—говоритъ онъ,—то помимо его воли“. Софья Павловна однако не можетъ признать въ немъ такого безобиднаго смѣха:

Хотите знать вы истины два слова?
Малѣйшая въ комъ странность чуть видна—
Веселость ваша не скромна:
У васъ тотчасъ ужъ острота готова,
А сами вы...

Чацкій.

А самъ? не правда ли, смѣшонъ?

Софья.

Да, грозный взглядъ, и рѣзкій тонъ...
И этихъ въ васъ особенностей бездна;
А надъ собой гроза куда не безполезна!

Наконецъ въ смѣхѣ Чацкаго Софья Павловна начинаетъ подозрѣвать откровенное презрѣніе къ людямъ... Смирнѣйшему нѣтъ отъ Чацкаго пощады!

„Шутить, и вѣкъ шутить! Какъ васъ на это станетъ?!“

Она идетъ еще дальше и въ его смѣхѣ готова видѣть лишь пустое тщеславіе. Она думаетъ, что онъ затѣмъ ругаетъ весь свѣтъ, чтобы свѣтъ замѣтилъ его и о немъ сказалъ-бы хоть что-нибудь.

И у Чацкаго не находится на эти довольно справедливыя замѣчанія иного отвѣта, кромѣ уже разъ сказаннаго:

Ахъ, Боже мой! неужли я изъ тѣхъ,
Которыхъ цѣль всей жизни смѣхъ?
Мнѣ весело, когда смѣшныхъ встрѣчаю,
А чаще съ ними я скучаю.

Но на самомъ дѣлѣ, что же такое этотъ смѣхъ Чацкаго? Простая забава или, дѣйствительно, сознательная сатира, острая и ѣдкая?

Чацкій смѣется двоїнымъ смѣхомъ. Когда онъ смѣется какъ Чацкій, какъ этотъ молодой баловень, капризный и самолюбивый—его смѣхъ простое острословіе, дерзкое въ достаточной степени и необычайно колкое, но безъ всякой примѣси какого-нибудь негодованія или скорби. Свѣтскій человѣкъ потѣшается надъ всѣми окружающими. Когда же Чацкій начинаетъ смѣяться смѣхомъ Грибоѣдова, смѣхомъ сатирика и судьи цѣлаго общества, тогда этотъ смѣхъ насквозь пропитывается и негодованіемъ, и печалью. Это уже настоящій, обличительный смѣхъ человѣка, глубоко принимающаго къ сердцу тѣ общественные недуги, надъ которыми ему приходится глумиться. Въ эти минуты Чацкій даже не смѣется, а скорѣе плачетъ, и его знаменитые монологи становятся патетичны и глубоко серьезны. Они настолько серьезны и съ такимъ жаромъ сказаны, что отъ насъ ускользаетъ безспорная несерьезность повода, ихъ вызвавшаго. Вѣдь пока Чацкій лишь неудачный любовникъ—а говоритъ о томъ, какъ его обманула—*родина*. Услыхавъ, что его ославили безумнымъ (и кто ославилъ: г-нъ Загорѣцкій, гг. Х. и У., княжны Тогоуховскія, Хлестова etc.) онъ говоритъ „и

вотъ *общественное мнѣніе*! и вотъ та родина! нѣтъ, въ нынѣшній пріѣздъ, я вижу, что она мнѣ скоро надоѣстъ!“ Причемъ тутъ родина?—можемъ мы спросить. Неужели вся она умѣстилась въ гостиной Фамусова? Еще страннѣе, чтобы не сказать больше, послѣднія слова, съ какими Чацкій прощается съ нами:

Такъ! отрезвился я сполна,
Мечтанья съ глазъ долой и спала пелена!
Теперь не худо-бъ было сряду
На дочь и на отца,
И на любовника глупца,
И на весь міръ излить всю желчь и всю досаду.
Съ кѣмъ былъ? Куда меня закинула судьба?
Всѣ гонятъ! всѣ клянутъ! мучителей толпа,
Въ любви предателей, въ враждѣ неутомимыхъ,
Разсказчиковъ неукротимыхъ,
Нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простяковъ,
Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,
Дряхлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ!..
Безумнымъ вы меня прославили всѣмъ хоромъ—
Вы правы: изъ огня тотъ выйдетъ невредимъ,
Кто съ вами день пробыть успѣетъ,
Подышитъ воздухомъ однимъ,
И въ комъ разсудокъ уцѣлѣетъ!
Вонъ изъ Москвы! сюда я больше не ѣздокъ.
Бѣгу, не оглянусь, пойду искать по свѣту,
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!
Карету мнѣ, карету!

И мы,—но, конечно, въ иномъ смыслѣ чѣмъ Фамусовъ,—можемъ спросить, чѣмъ Москва провинилась передъ Чацкимъ, и не говорятъ ли эти слова о нѣкоторой его умственной неуравновѣшенности? Дѣйствительно, бѣжать изъ Москвы и мыкаться по свѣту, потому что случай свелъ съ людьми, которыхъ имѣешь право презирать,—нѣсколько странно. Но весь комизмъ этихъ громкихъ словъ Чацкаго отъ насъ какъ-то ускользаетъ, потому что въ ушахъ нашихъ все звучатъ его страстные монологи и все намъ кажется, что передъ нами какой-то непризнанный пророкъ и обличитель, поборникъ идеаловъ молодого поколѣнія, человѣкъ, который съ радостью и гордостью говоритъ, что „если сравнить вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій—свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“, что „нынче смѣхъ страшитъ и стыдъ держитъ въ уздѣ многихъ, которые раньше подличали откровенно“.

Для насъ Чацкій все-таки какой-то герой благороднаго подвига и все потому, что онъ, трижды забывая самого себя и свою любовную канитель, выступилъ съ громогласнымъ, сильнымъ и серьезнымъ словомъ. Въ первый разъ онъ—не успѣвъ еще опомниться отъ впечатлѣнія первой встрѣчи съ Софьей Павловной—нашелъ-таки возможность сказать нѣсколько теплыхъ и правдивыхъ словъ о нашихъ общественныхъ язвахъ, о крѣпостномъ состояніи, объ обскурантахъ и системѣ воспитанія. Положимъ, рѣчи эти были не кстати, но все же искренни:

А наше солнышко, нашъ кладъ?
На лбу написано: театръ и маскарадъ;
Домъ зеленью расписанъ въ видѣ рощи,
Самъ толстъ, его артисты тощи...
На балѣ, помните, открыли мы вдвоемъ
За ширмами, въ одной изъ комнатъ посекретнѣй,
Былъ спрятанъ человѣкъ и щелкалъ соловьемъ—
Пѣвецъ зимой погоды лѣтней.
А тотъ, чахоточный, родня вашъ—книгамъ врагъ,
Въ ученый комитетъ который поселился
И съ крикомъ требовалъ присягъ,
Чтобъ грамотѣ никто не зналъ и не учился?...
Опять увидѣть ихъ мнѣ суждено судьбой!
Ахъ! къ воспитанью перейдемъ:
Что нынче, такъ же, какъ издревле,
Хлопочутъ набирать учителей полки,
Числомъ поболѣе, цѣною подешевле?
Не то, чтобы въ наукѣ далеки:
Въ Россіи подъ великимъ штрафомъ,
Намъ каждаго признать велятъ
Историкомъ и географомъ!
Нашъ менторъ,—помните, колпакъ его, халатъ,
Перстъ указательный, всѣ признаки ученья,
Какъ наши робкіе тревожили умы!...

Затѣмъ тѣ же мысли, но съ еще большей силой и уже съ явнымъ негодованіемъ онъ повторилъ при Скалозубѣ.

А судьи кто?... За древностію лѣтъ,
Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима;
Сужденья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ
Временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма;
Всегда готовые къ журьбѣ,
Поютъ все пѣснь одну и ту же,
Не замѣчая о себѣ,
Что старѣе, то хуже.
Гдѣ, укажите намъ, отечества отцы,

Которыхъ мы должны принять за образцы?
Не тѣ ли, что, грабительствомъ богаты,
Защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли въ родствѣ,
Великолѣпныя соорудя палаты,
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ,
И гдѣ не воскресятъ кліенты иностранцы
Прошедшаго житья подлѣйшія черты?
Да и кому въ Москвѣ не зажимали рты
Обѣды ужины и танцы?
Не тотъ ли вы, къ кому меня съ пеленъ,
Для замысловъ какихъ-то непонятныхъ,
Дѣтей возили на поклонъ?
Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ
Толпою окруженный слугъ?
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И жизнь, и честь его не разъ спасали; вдругъ
На нихъ онъ вымѣнялъ борзыя три собаки!
Или вонъ тотъ еще, который для затѣй
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дѣтей?
Самъ погруженъ умомъ въ зефирахъ и амурахъ,
Заставилъ всю Москву дивиться ихъ красѣ;
Но кредиторовъ тѣмъ не согласилъ къ отсрочкѣ:
Амуры и зефиры всѣ
Распроданы по одиночкѣ!
Вотъ тѣ, которые дожили до сѣдинъ!
Вотъ уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!
Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣстъ, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній;
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ.
Мундиръ! одинъ мундиръ! Онъ въ прежнемъ ихъ быту
Когда-то укрывалъ, расшитый и красивый,
Ихъ слабодушіе, разсудка нищету;
И намъ за ними въ путь счастливый?
И въ женахъ, дочеряхъ къ мундиру та же страсть...
Я самъ къ нему давно-ль отъ нѣжности отрекся?
Теперь ужъ въ это мнѣ ребячество не впасть.

Собесѣдникъ, положимъ, былъ выбранъ неудачно, но рѣчь опять была отъ души и полна очень искренняго воодушевленія.

Наконецъ въ третьемъ актѣ, сначала передъ Софьей, а затѣмъ въ пространство, Чацкій разражается своимъ послѣднимъ монологомъ. Это тотъ знаменитый

монологъ въ которомъ Чацкій силится разобраться въ вопросѣ о нашемъ національномъ чувствѣ и о подражаніи иноземному:

Софья

Скажите, что васъ такъ гнѣвитъ?

Чацкій.

Въ той комнатѣ незначущая встрѣча:
Французикъ, изъ Бордо, надсаживая грудь,
Собралъ вокругъ себя родъ вѣча
И сказывалъ, какъ снаряжался въ путь
Въ Россію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами;
Пріѣхалъ—и нашелъ, что ласкамъ конца:
Ни звука русскаго, ни русскаго лица
Не встрѣтилъ: будто бы въ отечествѣ, съ друзьями—
Своя провинція! Посмотришь, вечеркомъ
Онъ чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ царькомъ!
Такой же толкъ у дамъ, такіе же наряды..
Онъ радъ, но мы не рады.
Умолкъ. И тутъ со всѣхъ сторонъ
Тоска, и оханье, и стонъ:
„Ахъ! Франція! Нѣтъ въ мірѣ лучше края!"—
Рѣшили двѣ княжны-сестрицы, повторяя
Урокъ, который имъ изъ дѣтства натверженъ.
Куда дѣваться отъ княженъ?
Я одалъ возсылалъ желанья
Смиренныя,—однако вслухъ,—
Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ
Пустого, рабскаго, слѣпого подражанья;
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,
Кто могъ бы словомъ и примѣромъ
Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,
Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой.
Пускай меня объявятъ старовѣромъ,
Но хуже для меня нашъ Сѣверъ во сто кратъ
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ обмѣнъ на новый ладъ,
И нравы, и языкъ, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвостъ сзади, спереди какой-то чудный выемъ,
Разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ;
Движенья связанны и не краса лицу.
Смѣшные, бритые, сѣдые подбородки!..
Какъ платье, волосы, такъ и умы коротки!..
Ахъ, если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцевъ бы намъ нѣсколько занять
Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ!
Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ,
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ

Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ?
„Какъ европейское поставить въ параллель
„Съ національнымъ—странно что-то!
„Ну, какъ перевести мадамъ, мадмуазель?
Ужли—сударыня?"—забормоталъ мнѣ кто-то...
Вообразите, тутъ у всѣхъ
На мой же счетъ поднялся смѣхъ.
„Сударыня! ха! ха! ха! ха! прекрасно!
„Сударыня! ха! ха! ха! ха! ужасно!"
Я, разсердясь и жизнь кляня,
Готовилъ имъ отвѣтъ громовый,—
Но всѣ оставили меня.
Вотъ случай вамъ со мною,—онъ не новый.
Москва и Петербургъ во всей Россіи то
Что человѣкъ изъ города Бордо
Лишь ротъ открылъ—имѣетъ счастье
Во всѣхъ княженъ вселять участье
И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ.
Кто недругъ выписныхъ лицъ, вычуръ, словъ кудрявыхъ,
Въ чьей, по несчастью, головѣ
Пять-шесть найдется мыслей здравыхъ,
И онъ осмѣлится ихъ гласно объявлять—

Монологъ сказанъ опять некстати, и въ немъ есть довольно опасная логическая туманность (Фамусовъ, напримѣръ, былъ тоже противъ иностраннаго вліянія на нашъ чисто русскій укладъ жизни). Но наболѣвшая душа Чацкаго въ немъ все-таки видна.

Итакъ, передъ нами собственно два Чацкихъ: одинъ—влюбленный юноша, „франтъ—пріятель, отъявленъ мотомъ, сорванцомъ", какъ его аттестуетъ Фамусовъ; гордый, самолюбивый юноша, насмѣшникъ и насчетъ идей довольно беззаботный. Другой—серьезный обличитель разныхъ общественныхъ недуговъ, сатирикъ, съ большой дозой гражданской скорби съ очень горячей душой.

Первый ведетъ себя не умно: плохо знаетъ женское сердце и пренебрегаетъ приличіемъ: любовную интригу ведетъ крайне неумѣло и на каждомъ шагу рискуетъ подставить себя подъ цѣлый рядъ непріятныхъ замѣчаній со стороны людей, которыхъ онъ имѣетъ всѣ основанія не уважать. Фамусовъ былъ правъ, когда сказалъ ему: „Поди-ка, послужи!"—напирая на то, что онъ ни къ какому дѣлу не приткнутъ; ему и Скалозубъ могъ замѣтить: „Я все-таки сидѣлъ въ траншеѣ, а—вы?" Наконецъ, и Молчалинъ, если бы онъ собрался съ духомъ, могъ бы намекнуть Чацкому, что онъ, Молчалинъ, все-таки тру-

дится и зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба, а Чацкій живетъ на даровыхъ хлѣбахъ.

Второй Чацкій — тотъ ведетъ себя тоже не умно, потому что говоритъ всегда некстати и передъ лицами глухими. Но рѣчь его умна и полна темперамента и смысла, полна искренняго увлеченія предметомъ, о которомъ она трактуетъ. Видно, что онъ велъ долгія бесѣды съ Грибоѣдовымъ. Но изъ этихъ рѣчей нельзя себѣ составить яснаго понятія объ его міросозерцаніи.

Мы не знаемъ, насколько этотъ представитель молодого поколѣнія отстаетъ отъ своего времени или опережаетъ тогдашнее движеніе религіозной, общественной и политической мысли. Мы знаемъ только, что противъ старины онъ возстаетъ во имя туманнаго, но весьма честнаго идеала. Онъ, конечно, не консерваторъ, но онъ и либералъ безъ программы. Въ единственномъ вопросѣ, по которому онъ высказывается болѣе подробно,—по вопросу о національномъ чувствѣ, онъ, кажется, склоняется въ сторону націонализма и очень подозрительно смотритъ на иноземное вліяніе. Онъ правъ, потому что обрушивается на смѣшныя стороны этого подражанія, но гдѣ граница между смѣшнымъ и вреднымъ подражаніемъ и полезнымъ заимствованіемъ—онъ не указываетъ.

Если, дѣйствительно, такіе Чацкіе встрѣчались въ самой жизни, то это были образцы еще совсѣмъ не сформировавшихся молодыхъ людей, большихъ энтузіастовъ и критикановъ, въ сердцѣ и умѣ которыхъ бродили всѣ мысли и чувства; эти люди понимали, что такъ жить, какъ живутъ старики,—нельзя, но они даже для собственнаго обихода не имѣли пока еще сознанія яснаго новаго пути.

Не хотѣлъ ли Грибоѣдовъ, покончивъ съ отжившей стариной, посмѣяться и надъ зеленой молодежью? Здѣсь широкое поле для всякихъ догадокъ.

5. Комедія „Горе отъ ума“ занимаетъ, какъ видимъ, совершенно исключительное мѣсто въ ряду памятниковъ своего времени. Помимо того, что въ ней литературный языкъ, повседневный, трезвый и образный достигаетъ высшей степени художественнаго совершенства, она и въ эстетическомъ отношеніи, въ какое ху-

дожникъ становится къ своему матерьялу, обнаруживаетъ извѣстное отклоненіе отъ общепризнанныхъ направленій и вкусовъ того времени. Все-таки никто до Грибоѣдова не придвигалъ типы, которые создавались фантазіей художника, такъ близко къ дѣйствительной жизни, какъ онъ; никто не ставилъ эти типы въ такую реальную обстановку, какъ онъ. Но настоящимъ реалистомъ въ искусствѣ Грибоѣдова назвать нельзя. Слишкомъ много, какъ мы видѣли, было условностей въ созданіи типовъ и въ ихъ подборѣ. Старина была сатирически осмѣяна и обличена, но не выведена на сцену въ ея художественной цѣльности и объективности. Сцена была заполнена скорѣе пороками, чудачествами и странностями, чѣмъ живыми людьми.

Посредникомъ между зрителемъ и дѣйствующими лицами оставался самъ авторъ, который одну часть своего „я" уступилъ на время Чацкому—что̀ не помѣшало ему высмѣять этого Чацкаго и поставить его въ глупое положеніе. Одинаково сердито отнесся авторъ ко всѣмъ своимъ героямъ, никого не ставя на пьедесталъ и показывая, какъ неизмѣримо высоко стоялъ надъ всѣми онъ самъ со своимъ трезвымъ сужденіемъ. Онъ былъ судья надъ всѣми, онъ былъ единственно умный человѣкъ среди всей этой компаніи, и онъ ни на одно мгновеніе не забывалъ о себѣ. Какъ сынъ своей эпохи онъ былъ очень субъективенъ.

Но художественная его сатира изъ всѣхъ современныхъ ей творческихъ созданій ближе другихъ подошла къ реальнымъ явленіямъ жизни.

Развѣ только „Евгеній Онѣгинъ" можетъ въ этомъ смыслѣ съ ней поспорить.

IX. „Евгеній Онѣгинъ“.

1. Въ бытность свою на югѣ, въ годы „романтической тревоги“ духа, Пушкинъ сталъ набрасывать этотъ знаменитый романъ въ стихахъ. Писалъ онъ его съ перерывами, выпуская въ свѣтъ по главамъ, и ко времени освобожденія поэта изъ его плѣна въ селѣ Михайловскомъ, такихъ главъ было написано шесть. Пушкинъ продолжалъ работу надъ романомъ и позже и добавилъ еще двѣ главы, и, какъ извѣстно, на восьмой главѣ работу оборвалъ и больше къ ней не возвращался.

Авторъ, кажется, не особенно жалѣлъ о такомъ внезапномъ концѣ своего романа. „Онѣгинъ“ свое дѣло сдѣлалъ. Пушкинъ прожилъ съ нимъ много—и самыхъ тревожныхъ—лѣтъ, находя въ своей работѣ и отдохновеніе, и утѣшеніе; а когда настроеніе, которое дѣлало „Онѣгина“ автору столь любезнымъ и дорогимъ, исчезло, то естественно, что поэтъ довольно равнодушно простился со своимъ героемъ. Онѣгинъ былъ его другомъ юности въ годы его пребыванія въ ссылкѣ, онъ дѣлилъ съ нимъ одиночество въ селѣ Михайловскомъ, а затѣмъ наступило время, когда этотъ человѣкъ сталъ ему совсѣмъ неинтересенъ.

Но были длинные годы ихъ весьма интимной дружбы, и для біографіи Пушкина, для исторіи смѣнявшихся въ его душѣ настроеній повѣсть объ Онѣгинѣ—источникъ и матерьялъ первостепенной важности.

2. Но и помимо автобіографическаго значенія, какое „Евгеній Онѣгинъ“ имѣетъ какъ интимныя признанія автора, онъ — документъ цѣлой литературной эпохи; онъ—произведеніе, какъ принято выражаться, „творящее эпоху“. Такое его значеніе было, впрочемъ, не сразу отгадано критикой. Она встрѣтила романъ при его появленіи несовсѣмъ дружелюбно, пораженная новизной его замысла и выполненія, и только позже, отойдя отъ произведенія на нѣкоторое разстояніе, она смогла оцѣнить все его колоссальное литературное значеніе.

Въ творчествѣ самого Пушкина „Онѣгинъ“—исключительное и единственное явленіе. Никогда ни до него, ни послѣ Пушкинъ не подходилъ на такое близкое разстояніе къ жизни ему современной. Поэтъ умѣлъ удовлетворять требованіямъ художественнаго реализма даже при обработкѣ сказочныхъ, легендарныхъ и историческихъ сюжетовъ, но сами сюжеты, которые онъ избиралъ, не имѣли обыкновенно никакого отношенія къ окружающей его реальной дѣйствительности. Одинъ только „Евгеній Онѣгинъ“ могъ претендовать на названіе „современнаго“ романа, такъ какъ „Повѣсти Бѣлкина“ были сборникомъ анекдотовъ, „Домикъ въ Коломнѣ“ — шуткой, „Лѣтопись села Горохина“—пародіей, а отрывки и попытки реальнаго романа въ прозѣ въ разсчетъ приняты быть не могутъ, въ виду того, что Пушкинъ обрывалъ ихъ на первыхъ же главахъ. Положимъ, и „Евгеній Онѣгинъ“ не оконченъ, но въ немъ дано гораздо больше матерьяла, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ только что указанныхъ произведеніяхъ.

Но мы не должны преувеличивать количества этого матерьяла, этихъ сценъ и типовъ, взятыхъ Пушкинымъ для „Онѣгина“ изъ современной ему жизни.

Типовъ очень мало (всего три, если не считать самого Онѣгина: Татьяна, Ольга и Ленскій), но зато эти типы стоятъ какъ живые передъ нами, и мы не скажемъ ни про одинъ изъ нихъ, что онъ—олицетвореніе какого-нибудь единичнаго чувства или какого-нибудь взгляда. Все это—люди, и люди того времени, и историкъ можетъ найти имъ параллели среди дѣйствительно въ то время жившихъ людей. Въ изображеніи ихъ авторъ необычайно искусно избѣгъ всякой идеализаціи (а Татьяна

могла легко подать къ ней поводъ) и ироніи (а Ленскій и Ольга могли ее вызвать).

Но при всѣхъ этихъ достоинствахъ реальнаго художественнаго письма, все-таки „Евгенія Онѣгина“ нельзя назвать широкой картиной современной поэту жизни. Провинціальная деревенская жизнь дана въ видѣ наброска, а изъ столичной жизни намъ показанъ очень бѣгло лишь одинъ маленькій уголокъ, преимущественно уголокъ свѣтскихъ развлеченій; и притомъ всѣ эти сцены въ будуарахъ, салонахъ, въ театрахъ, и на балахъ только намѣчены нѣсколькими штрихами—словно авторъ торопился поскорѣй набросать фонъ, который былъ ему нуженъ для чего-то, а самъ по себѣ интересовалъ его мало своими бытовыми особенностями.

Дѣйствительно, хоть эти штрихи и истинно геніальны по своей мѣткости и выразительности, хоть понимъ возсоздаются цѣлыя картины, но не ихъ имѣлъ въ виду авторъ, когда писалъ свой романъ. Да въ сущности романъ ли это? Не кроется ли подъэтимъ романомъ самая чистая лирическая исповѣдь?Во-первыхъ,надо отмѣтить, что всѣ главы романа, дѣйствительно, пестрятъ лирическими отступленіями, иногда очень длинными. Говорятъ будто Пушкину въ данномъ случаѣ служилъ образцомъ „Донъ-Жуанъ“ Байрона, гдѣ эпическій разсказъ ежеминутно прерывается лирическими изліяніями. Но зачѣмъ говорить о Байронѣ, когда независимо отъ него Пушкину могло прійти желаніе вести дневникъ въ стихахъ? А „Евгеній Онѣгинъ“ въ значительной своей части несомнѣнный дневникъ. Откровенно поэтъ дѣлится съ нами воспоминаніями своей юности, лицейской жизни, своихъ первыхъ шаговъ въ „свѣтѣ“, разсказываетъ намъ интимности своихъ сердечныхъ увлеченій, а всего чаще даетъ сентенціи въ стихахъ, вырываетъ листки изъ своего альбома, въ которомъ онъ собралъ наиболѣе мѣткіе афоризмы, вычитанные имъ изъ книги жизни. Онъ въ своемъ романѣ передъ нами въ полномъ смыслѣ слова на-распашку, какъ онъ еще никогда ни въ одномъ стихотвореніи не былъ. Мы не преувеличимъ, если скажемъ, что о Пушкинѣ, какъ о человѣкѣ и о поэтѣ, мы изъ „Евгенія Онѣгина“ узнаемъ гораздо больше, чѣмъ изъ всѣхъ другихъ его сочине-

ній. Даже его переписка не даетъ намъ столь богатаго автобіографическаго матерьяла. Конечно, это не случайность. Поэтъ постоянно переходитъ къ откровенной бесѣдѣ о себѣ самомъ, увлекаемый своимъ лиризмомъ. Онъ самъ сознаетъ, что этой лирики слишкомъ, много и даже какъ бы извиняется за нее передъ читателемъ. Но сдержаться онъ не можетъ и готовъ каждую минуту забыть о своихъ герояхъ. Онъ самъ одинъ изъ главныхъ, если не главный, герой этой повѣсти.

Оставивъ въ сторонѣ бытовыя картины, такъ бѣгло очерченныя, выдѣливъ изъ романа всѣ строфы чисто лирическія и относящіяся прямо къ жизни и къ личности автора,—мы получимъ эпическую завязку несложной повѣсти и нѣсколько сценъ, повидимому безъ развязки, такъ какъ конецъ Онѣгина намъ не извѣстенъ. Но въ тѣхъ шести главахъ, которыя были написаны Пушкинымъ на югѣ и въ Михайловскомъ, разсказанъ эпизодъ, вполнѣ закругленный и совершенно достаточно обрисовывающій характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Фабула—мы сказали—необычайно проста и въ свое время поразила всѣхъ своей простотой. Явленіе было, дѣйствительно, необычное, если припомнить, какъ замысловаты и запутаны бывали тогда сюжеты любимыхъ повѣстей и романовъ.

Но фабула „Евгенія Онѣгина“ вовсе не такъ проста, какъ это съ перваго взгляда кажется. Если припомнить условія личной жизни поэта и то колебаніе въ сторону „романтической“ тревоги, которое испытало его настроеніе, то начинаешь понимать, почему такой простой сюжетъ такъ долго занималъ поэта и почему поэтъ все къ нему возвращался, словно онъ хотѣлъ осилить какую-то трудность, пока, наконецъ, не отказался отъ мысли съ нею справиться.

Вѣдь въ сущности основная идея и завязка „Евгенія Онѣгина“ заключается въ противупоставленіи „романтической“ натуры двумъ натурамъ сентиментальнымъ. Тревожный и мятежный духъ Онѣгина и двѣ нѣжныя и безмятежныя души Ленскаго и Татьяны, и столкновеніе этихъ силъ—вотъ собственно въ чемъ завязка всей трагедіи. Душа взволнованная, разочарованная, гордая до самообожанія, душа протестующая, хотя

и не дающая себѣ отчета, противъ чего она протестуетъ—однимъ словомъ, „романтическая“ душа подвергнута на нашихъ глазахъ двойному испытанію. Какъ сосчитается она съ двумя чувствами, сентиментальными по преимуществу—съ дружбой и съ любовью? Что она внесетъ новаго въ пониманіе этихъ чувствъ? Будутъ ли они для нея святы, какъ они были искони святы для всякой истинно-сентиментальной души? Какое она свершитъ надъ ними насиліе, увлеченная своей тревогой и своимъ эгоизмомъ? И не захочетъ ли авторъ, какъ онъ уже сдѣлалъ это въ „Цыганахъ“, еще разъ произнести свой судъ надъ „романтизмомъ“—надъ тревожной душой, которая, попавъ въ кругъ мирныхъ простыхъ людей, натуръ непосредственныхъ, способна причинить имъ великую боль и страданіе?

Эти вопросы невольно навертываются, когда читаешь романъ Пушкина, и вспоминаешь все пережитое имъ за эти годы, всѣ написанныя имъ тогда „романтическія“ поэмы и лирическіе стихи въ тревожномъ ключѣ.

3. Въ лицѣ Владиміра Ленскаго намъ данъ трогательный и поэтичный образъ чистѣйшаго сентименталиста.

Въ свою деревню въ ту же пору
Помѣщикъ новый прискакалъ,
И столь же строгому разбору
Въ сосѣдствѣ поводъ подавалъ;
По имени Владиміръ Ленскій,
Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.
Отъ хладнаго разврата свѣта
Еще увянуть не успѣвъ,
Его душа была согрѣта
Привѣтомъ друга, лаской дѣвъ.
Онъ сердцемъ милый былъ невѣжда;
Его лелѣяла надежда,
И міра новый блескъ и шумъ
Еще плѣняли юный умъ.
Онъ забавлялъ мечтою сладкой

Сомнѣнья сердца своего;
Цѣль жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Надъ ней онъ голову ломалъ,
И чудеса подозрѣвалъ.
Онъ вѣрилъ, что душа родная
Соединиться съ нимъ должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждетъ она;
Онъ вѣрилъ, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнетъ ихъ рука
Разбить сосудъ клеветника;
Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что ихъ безсмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь насъ озаритъ
И міръ блаженствомъ одаритъ.
Негодованье, сожалѣнье
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
Въ немъ рано волновали кровь.
Онъ съ лирой странствовалъ на свѣтѣ;
Подъ небомъ Шиллера и Гёте,
Ихъ поэтическимъ огнемъ
Душа воспламенилась въ немъ;
И музъ возвышенныхъ искусства,
Счастливецъ, онъ не постыдилъ:
Онъ въ пѣсняхъ гордо сохранилъ
Всегда возвышенныя чувства,
Порывы дѣвственной мечты
И прелесть важной простоты.
Не пѣлъ порочной онъ забавы,
Не пѣлъ презрительныхъ цирцей:
Онъ оскорблять гнушался нравы
Прелестной лирою своей.
Онъ пѣлъ любовь, любви послушный,
И пѣснь его была ясна,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ,
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ.
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы;
Онъ пѣлъ тѣ дальныя страны,
Гдѣ долго въ лоно тишины
Лились его живыя слезы;
Онъ пѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ,
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ.

Понять эту душу очень нетрудно, несмотря на всѣ туманности ея изліяній. Въ характеристикѣ, которая дана Пушкинымъ, только нѣкоторыя частности возбуждаютъ сомнѣніе. Неясно, напримѣръ, какимъ образомъ Ленскій попалъ въ поклонники Канта, когда въ тѣ годы объ этомъ философѣ у насъ почти ничего не знали и когда философія Канта вообще такъ мало говоритъ сентиментальной душѣ. Далѣе, изъ самого романа никакъ нельзя ничего узнать о „вольнолюбивыхъ“ мечтахъ Ленскаго, но сентименталисту александровской эпохи полагалось имѣть таковыя; зато „учености плоды“ могли смѣло отсутствовать, да и Ленскій, кажется, не пользовался ими. Во всемъ остальномъ символъ сентиментальной вѣры воспроизведенъ въ этой характеристикѣ полностью и точно, съ тѣмъ чувствомъ художественной мѣры, съ какимъ парадированы и образцово сентиментальные стихи, которые Ленскій читалъ Онѣгину изъ своихъ „сѣверныхъ поэмъ“.

Въ поясненіе этого сентиментальнаго характера разсказана и вся исторія любви Ленскаго къ Ольгѣ. Эта любовь, которая всегда видитъ то, что она хочетъ видѣть, всегда повышаетъ чувство на нѣсколько степеней и не желаетъ признать въ немъ ничего земного,—тогда какъ именно это земное и является его главнымъ источникомъ,—очень ярко подчеркиваетъ основное положеніе сентиментальнаго міропониманія, которое создаетъ міръ по образу своихъ видѣній и чаяній, не считаясь съ наличностью фактовъ.

Недостатки и даже смѣшныя стороны такой натуры Пушкинымъ не скрыты, но симпатіи его безспорно на сторонѣ этого идеалиста, и въ печальномъ исходѣ дружбы Ленскаго и Онѣгина кроется глубоко трагическая мысль. Дружба этихъ двухъ столь противоположныхъ натуръ не совсѣмъ понятна. Но эта дружба не отъ скуки, какъ хотѣлъ бы объяснить ее авторъ; въ ней есть что-то задушевное, что-то, дѣйствительно, связывающее эти двѣ души, которыя должны были бы повидимому разойтись при первой встрѣчѣ. Непонятенъ и финалъ этой дружбы. Какъ бы ни чувствовалъ себя оскорбленнымъ Ленскій, онъ по экспансивности своей долженъ былъ бросить въ лицо Онѣгину

хоть слово упрека или негодованія, и это слово, несомнѣнно, устранило бы поединокъ. Съ другой стороны, какъ бы Онѣгинъ ни взвинчивалъ своего задора (слабо мотивированнаго вообще), онъ не могъ такъ легкомысленно ставить на карту свою жизнь и жизнь другого. Пушкинъ это отлично понималъ, когда такъ мѣтко и подробно говорилъ намъ о томъ, какъ Онѣгинъ обвинялъ себя за свое глупое поведеніе на балу. Но дуэль должна была состояться, и Ленскій долженъ былъ умереть, такъ какъ этого требовала психологическая правда того тревожнаго и разочарованнаго настроенія, какое овладѣло на время художникомъ. Тайна „романтической" души требовала для себя жертвы, и то чувство, на которое сентиментализмъ всегда такъ довѣрчиво опирался, отъ котораго онъ такъ много ждалъ для міра,—чувство дружбы должно было первое испытать на себѣ ударъ этой душевной тревоги—неясной, немотивированной, но несомнѣнно искренней. Въ лицѣ Ленскаго было убито то очарованіе дружбой, которое лежало въ основѣ личной этики наивнаго сентиментализма.

Такой же ударъ долженъ былъ сразить и другое чувство, — чувство любви, которой сентиментализмъ отводилъ въ мірѣ еще большую роль чѣмъ дружбѣ. Отвергнуть любовь Татьяны Онѣгинъ долженъ былъ въ силу той же психологической необходимости, какая побудила его убить Ленскаго. „Романтикъ" давалъ второй разъ почувствовать, что онъ не можетъ удовлетвориться тѣмъ ходячимъ сентиментальнымъ взглядомъ на любовь, который въ иной душѣ, при иныхъ обстоятельствахъ обожествилъ бы Татьяну, возвелъ бы ее въ идеалъ и заставилъ человѣка въ ея любви найти высшее блаженство.

Дѣйствительно, лучшаго идола для чистѣйшей сентиментальной любви, чѣмъ Татьяна, найти трудно,—въ особенности Татьяна первыхъ шести пѣсенъ романа. Когда она затѣмъ, уступая волѣ матери, выходитъ замужъ и потомъ говоритъ свою знаменитую фразу „я буду вѣкъ ему вѣрна", она изъ „чувствительной" дѣвушки превращается въ разсудительную невѣсту и добродѣтельную жену. Сама она признается, что въ

былые годы она была „лучше“, и это „лучше“ надо понимать не въ смыслѣ морали, такъ какъ съ годами она стала въ этомъ отношеніи еще лучше, а въ смыслѣ цѣльности и поэтичности ея натуры. А въ деревнѣ она была такой цѣльной сентиментальной душой самой чистой пробы. Она—родная сестра Ленскаго—и удивительно, что не на ней остановилъ онъ свой выборъ.

Его могла, впрочемъ, оттолкнуть отъ нея ея внѣшность, которая подходила больше къ натурамъ тревожнымъ и романтическимъ, чѣмъ къ чисто сентиментальнымъ.

Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная боязлива,
Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.
Она ласкаться не умѣла
Къ отцу, ни къ матери своей;
Дитя сама, въ толпѣ дѣтей
Играть и прыгать не хотѣла,
И часто цѣлый день одна
Сидѣла молча у окна
  Задумчивость—ея подруга
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней—
Теченье сельскаго досуга
Мечтами украшала ей.
Ея изнѣженные пальцы
Не знали иглъ; склонясь на пяльцы,
Узоромъ шелковымъ она
Не оживляла полотна.
И были дѣтскія проказы
Ей чужды; страшные разсказы
Зимою въ темнотѣ ночей,
Плѣняли больше сердце ей
Когда же няня собирала
Для Ольги, на широкій лугъ,
Всѣхъ маленькихъ ея подругъ,
Она въ горѣлки не играла,
Ей скученъ былъ и звонкій смѣхъ,
И шумъ ихъ вѣтреныхъ утѣхъ.

Вела она себя также не совсѣмъ похоже на истинно томную дѣву, нѣжную и хрупкую:

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,

И вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимой, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ,
И долѣ въ праздной тишинѣ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лѣниво почиваетъ,—
Въ привычный часъ пробуждена,
Вставала при свѣчахъ она.

Но при этой внѣшности и при этихъ привычкахъ— указывающихъ какъ будто на энергію души, на сильно развитое чувство личности, на умѣнье владѣть собой, Татьяна обнаруживаетъ всѣ симптомы сентиментальной натуры, живущей въ желаемомъ мірѣ призраковъ. Міръ дѣйствительности заслоненъ для нея міромъ мечты, и по книгамъ учится она думать и чувствовать, и руководствомъ къ познанію людей служатъ ей самые лучшіе образцы сентиментальной литературы:

Теперь съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ.
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ,—
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.
Воображаясь героиней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,
Кларисой, Юліей, Дельфиной,
Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ
Одна съ опасной книгой бродитъ;
Она въ ней ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты,
Плоды сердечной полноты.

Наконецъ, когда она уже не можетъ противиться своему чувству, она, столь скрытная и нелюдимая, становится необычайно откровенной, убѣжденная въ томъ, что искренность чувства оправдываетъ его обнаруженіе, что любовь, согласно сентиментальному ученію, есть

своего рода благотворный фатумъ, передъ которымъ надо преклониться:

„Другой!... Нѣтъ, никому на свѣтѣ
Не отдала бы сердце я!
То въ высшемъ суждено совѣтѣ...
То воля неба—я твоя;
Вся жизнь моя была залогомъ
Свиданья вѣрнаго съ тобой:
Я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,
До гроба ты—хранитель мой...
Ты въ сновидѣньяхъ мнѣ являлся;
Незримый, ты мнѣ былъ ужъ милъ,
Твой чудный взглядъ меня томилъ,
Въ душѣ твой голосъ раздавался
Давно... нѣтъ, это былъ не сонъ!
Ты чуть вошелъ, я вмигъ узнала,
Вся обомлѣла, запылала,
И въ мысляхъ молвила: вотъ онъ
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И въ это самое мгновенье
Не ты ли, милое видѣнье,
Въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
Приникнулъ тихо къ изголовью?
Не ты ль съ отрадой и любовью
Слова надежды мнѣ шепнулъ?
Кто ты: мой ангелъ ли хранитель,
Или коварный искуситель?
Мои сомнѣнья разрѣши.
Быть можетъ, это все пустое,
Обманъ неопытной души,
И суждено совсѣмъ иное...
Но такъ и быть! судьбу мою
Отнынѣ я тебѣ вручаю,
Передъ тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здѣсь одна,
Никто меня не понимаетъ,
Разсудокъ мой изнемогаетъ,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единымъ взоромъ
Надежды сердца оживи,
Иль сонъ тяжелый перерви,
Увы, заслуженнымъ укоромъ!

И на такую любовь, въ которой растворилась вся сущность человѣка, любовь, полную самозабвенія и го-

товую на всѣ жертвы, Онѣгинъ отвѣтилъ выговоромъ и совѣтомъ поучиться обуздывать свои страсти. Всегда этотъ отвѣтъ Онѣгина на письмо Татьяны возбуждаетъ въ насъ досадное чувство.

Почему Онѣгинъ не отвѣтилъ на эту любовь и почему не призналъ въ Татьянѣ своего спасителя, того добраго генія, который спасъ бы его отъ душевнаго разлада и изнуряющаго его духъ разочарованія или безочарованія? Но, во-первыхъ, не должно забывать, что надъ своей любовью никто не властенъ, а главное, склонись Онѣгинъ передъ этою любовью—былъ бы нарушенъ весь смыслъ трагической завязки романа и искажена его основная мысль. При встрѣчѣ съ этой тревожной душой искренняя и беззащитная въ своей откровенности любовь должна была пострадать. Чувство въ его „романтической формѣ" не могло признать надъ собой власти мягкаго и довѣрчиваго чувства, и какъ дружба была убита Онѣгинымъ на дуэли съ Ленскимъ, такъ не понята и оскорблена была теперь любовь при встрѣчѣ Онѣгина и Татьяны. И хорошо еще, что она была только оскорблена, а не обманута, не измучена, не убита какъ это случалось въ другіе разы, когда настоящая романтически-демоническая натура встрѣчалась съ такой наивной и безхитростной любовью. Такія встрѣчи демоновъ и ангеловъ (литературная тема очень широко распространенная на Западѣ и у насъ) кончались для „ангеловъ" всегда гораздо болѣе печально, чѣмъ кончился романъ Татьяны.

Итакъ, столкновеніе Онѣгина съ Ленскимъ и съ Татьяной, повидимому столь естественная простая встрѣча въ условіяхъ самыхъ обыкновенныхъ, имѣетъ свое историческое значеніе какъ знаменательный фактъ въ исторіи настроенія той эпохи и какъ документъ автобіографическій, какъ страница изъ исторіи развитія психики самого художника. Онъ, который въ это время какъ разъ переживалъ тревогу духа, внесшую въ его гармоничную душу разладъ и разочарованіе, онъ убилъ въ мечтахъ Ленскаго и отвергъ любовь Татьяны не безъ умысла. Онъ въ Онѣгинѣ наказывалъ до извѣстной степени самого себя и безпощадно анализировалъ мрачныя стороны того душевнаго состоянія, какимъ самъ

былъ временно охваченъ. А мы знаемъ, какъ рѣшительно и скоро Пушкинъ овладѣлъ собою и осилилъ въ себѣ это тревожное состояніе.

Но неужели же эти живые образы Ленскаго и Татьяны лишь символы извѣстныхъ психическихъ состояній, съ которыми авторъ сводилъ свои счеты? Нѣтъ нужды дѣлать такой выводъ. Изъ документовъ того времени мы знаемъ, что люди типа Ленскаго и даже типа Татьяны, дѣйствительно, встрѣчались, хотя, конечно, не въ видѣ общаго правила; и, быть можетъ, Пушкинъ такихъ людей видѣлъ воочію. Онъ и изобразилъ ихъ вполнѣ реально безъ всякой фальши или шаржа. Но что въ выборѣ этихъ фигуръ, въ ихъ размѣщеніи на планѣ романа участвовали чисто субъективныя ощущенія автора, его личные счеты съ самимъ собою, его раздумье надъ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, которое онъ самъ переживалъ тогда, когда писалъ свой романъ, въ этомъ едва ли можно сомнѣваться. Личность Онѣгина еще яснѣе подтверждаетъ это предположеніе.

4. Нельзя сказать, чтобы эта личность была яркая, съ рѣзко выраженнымъ характеромъ и съ ясными взглядами. Въ ней очень много недосказаннаго и неопредѣленнаго. Такая неопредѣленность, впрочемъ, и была нужна автору, потому что въ ней-то главнымъ образомъ и заключалась типичность этого лица и характерность того настроенія, носителемъ котораго являлся, онъ и на нѣкоторое время его ближайшій другъ—самъ Пушкинъ.

Когда мы знакомимся съ Онѣгинымъ, онъ—„молодой повѣса“, съ необычайно легкимъ умственнымъ багажемъ.

Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь,
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
У насъ немудрено блеснуть.
Онѣгинъ былъ, по мнѣнью многихъ
(Судей рѣшительныхъ и строгихъ),
Ученый малый, но педантъ.
Имѣлъ онъ счастливый талантъ—
Безъ принужденья въ разговорѣ
Коснуться до всего слегка.
Съ ученымъ видомъ знатока
Хранитъ молчанье въ важномъ спорѣ,
И возбуждать улыбку дамъ
Огнемъ нежданны эгипъ храммъ.

Специальность его — „наука нѣжной страсти“, но и эту единственную науку, къ которой онъ относился съ рѣдкимъ прилежаніемъ, онъ изучалъ, кажется, больше по книгамъ, чѣмъ на опытѣ.

Всего, что зналъ еще Евгеній,
Пересказать мнѣ недосугъ;
Но въ чемъ онъ истинный былъ геній,
Чтó зналъ онъ тверже всѣхъ наукъ,
Чтó было для него измлада
И трудъ, и мука, и отрада,
Чтó занимало цѣлый день
Его тоскующую лѣнь,—
Была наука страсти нѣжной,
Которую воспѣлъ Назонъ,
Насъ пылъ сердечный рано мучитъ—
Очаровательный обманъ—
Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ.
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,
Мы узнаемъ ее въ романѣ.
Мы все узнали, между тѣмъ
Не насладились мы ничѣмъ.

Между нимъ и міромъ незамѣтно становилась книга, т. е. чужая мысль, чужое чувство, и онъ поддѣлывалъ свой умъ и свое сердце подъ уже готовые образцы, которые могли ему нравиться и своей красотой и тѣмъ, что на трудные вопросы жизни они давали готовые отвѣты. Если мы припомнимъ, что этому „философу“, какъ его называетъ авторъ, было семнадцать лѣтъ, когда мы съ нимъ знакомимся, что онъ былъ человѣкъ очень состоятельный и потому не зналъ никакого обязательнаго труда, что онъ отъ всякаго труда умышленно бѣгалъ и слонялся безъ всякаго дѣла, срывая съ жизни одни лишь цвѣты удовольствія, то неудивительно, что имъ овладѣла самая ординарная скука отъ пресыщенія тѣми впечатлѣніями, которыя придаютъ жизни красоту лишь при условіи гигіеничнаго съ ними обращенія.

Но, шумомъ бала утомленный
И утро въ полночь обратя,
Спокойно спитъ въ тѣни блаженной
Забавъ и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,

И завтра—то же, что́ вчера,
Но былъ ли счастливъ мой Евгеній,
Свободный, въ цвѣтѣ лучшихъ лѣтъ,
Среди блистательныхъ побѣдъ,
Среди вседневныхъ наслажденій?
Вотще ли былъ онъ средь пировъ
Неостороженъ и здоровъ?
Нѣтъ, рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучилъ свѣта шумъ;
Красавицы не долго были
Предметъ его привычныхъ думъ;
Измѣны утомить успѣли;
Друзья и дружба надоѣли,
Затѣмъ, что не всегда же могъ
Beef steaks и страсбургскій пирогъ
Шампанской обливать бутылкой,
И сыпать острыя слова,
Когда болѣла голова;
И хоть онъ былъ повѣса пылкій,
Но разлюбилъ онъ, наконецъ,
И брань, и саблю, и свинецъ.
Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину,
Короче—русская хандра
Имъ овладѣла понемногу;
Онъ застрѣлиться, слава Богу,
Попробовать не захотѣлъ,
Но къ жизни вовсе охладѣлъ.
Какъ Child-Harold, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,
Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замѣчалъ онъ ничего.

Давно извѣстно, что противъ хандры, какой былъ боленъ Онѣгинъ, т. е. хандры отъ бездѣлья, есть два хорошихъ средства леченія—путешествіе или наоборотъ уединеніе и бесѣда съ книгой или съ бумагой, на которую бросаешь собственныя мысли. На первый разъ Онѣгинъ отъ путешествія отказался (въ немъ онъ искалъ утѣшенія потомъ, уже послѣ бѣгства изъ усадьбы) и засѣлъ за письменный столъ. Ничего, конечно, изъ всѣхъ его писаній не вышло, и тогда онъ замѣнилъ писаніе—чтеніемъ.

Отрядомъ книгъ уставилъ полку,
Читалъ, читалъ, а все безъ толку:

Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ;
Въ томъ совѣсти, въ томъ смысла нѣтъ;
На всѣхъ различныя вериги;
И устарѣла старина,
И старымъ бредитъ новизна.
Какъ женщинъ, онъ оставилъ книги,
И полку съ пыльной ихъ семьей
Задернулъ траурной тафтой.

Всякія попытки связать себя какими-нибудь обязательствами съ окружающей жизнью, ну, хоть стать хорошимъ помѣщикомъ, также кончились ничѣмъ. Слѣдуя либеральной модѣ своего времени, Онѣгинъ на первыхъ порахъ своей деревенской жизни принялъ къ сердцу судьбу крестьянъ и, какъ увѣряетъ поэтъ, заставилъ раба благословить свою судьбу. Но если крестьянинъ выигралъ отъ сосѣдства Онѣгина, то Онѣгинъ отъ его близости ничего не выигралъ. Никакого направленія его уму, сердцу и дѣйствію эти новыя для него отношенія не придали. Онъ скучалъ по-старому и, наконецъ, въ эту скуку вторглась дружба Ленскаго и любовь Татьяны.

Кто же, наконецъ, этотъ герой, на долю котораго выпала такая чистая любовь и такая нѣжная дружба? Сначала „молодой повѣса", затѣмъ „пасмурный чудакъ", кѣмъ же былъ онъ между этими двумя состояніями, когда онъ поселился въ деревнѣ, когда могъ такъ нравиться, такъ плѣнять своимъ умомъ и своей поэтичной внѣшностью?

Этотъ вопросъ задала себѣ Татьяна вскорѣ послѣ бѣгства Онѣгина и тогда она вмѣстѣ съ Пушкинымъ, который тоже не могъ себѣ разъяснить психики—какъ онъ выражался—своего „страннаго" спутника, стала рыться въ книгахъ Онѣгина и какъ будто напала на рѣшеніе загадки.

Хотя мы знаемъ, что Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ,
Однако-жъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно

Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.
  Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей.
Глаза внимательной дѣвицы
Устремлены на нихъ живѣй.
Татьяна видитъ съ трепетаньемъ,
Какою мыслью, замѣчаньемъ,
Бывалъ Онѣгинъ пораженъ,
Съ чѣмъ молча соглашался онъ.
На ихъ поляхъ она встрѣчаетъ
Черты его карандаша:
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ—
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ.
  И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперъ яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ. иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?..
Ужъ не пародія ли онъ?
  Ужель загадку разрѣшила?
Ужели слово найдено?

Дѣйствительно, найдено ли „слово“? Неужели Онѣгинъ только пародія? Повидимому и авторъ согласился съ такимъ объясненіемъ, потому что, когда много лѣтъ спустя онъ встрѣтился съ Онѣгинымъ въ Петербургѣ, онъ спрашивалъ:

„Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль корчитъ такъ же чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представитъ онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой
Иль маской щегольнетъ иной?

Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?
По крайней мѣрѣ, мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалой.
Довольно онъ морочилъ свѣтъ...“
— Знакомъ онъ вамъ?—„И да, и нѣтъ“.

Очевидно, Пушкинъ считалъ Онѣгина способнымъ часто мѣнять маску. Намъ какъ-то трудно согласиться съ тѣмъ, чтобы въ этомъ человѣкѣ, который при всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ и дикихъ поступкахъ все-таки вызываетъ къ себѣ извѣстное сочувствіе, чтобы во всемъ его явленіи рѣшительно не было ничего серьезнаго.

Повидимому однако въ немъ нѣтъ ничего серьезнаго, ни въ его разочарованіи, ни въ его думахъ, ни въ чувствахъ. Разочарованіе его вытекаетъ изъ простого пресыщенія удовольствіями жизни; никакого отвѣтственнаго поста онъ въ этой жизни не занималъ, ни за что не боролся, ничего не отстаивалъ въ ней и потому ничему не радовался и ни о чемъ не скорбѣлъ. Быть можетъ, трагичное въ жизни ему открылось въ книгахъ, и онъ его выстрадалъ умственно? Но и этого не было. Книги онъ читалъ невнимательно, поверхностно, и никакая идея его никогда не мучила. Презиралъ онъ людей изъ чувства индифферентизма къ нимъ, а отнюдь не изъ любви къ нимъ, которая одна могла бы оправдать такое презрѣніе. Онъ былъ уменъ, т. е. даже не уменъ, а просто остроуменъ, и въ мысляхъ своихъ жилъ на чужой счетъ. Чувствовалъ ли онъ глубоко? Едва ли. Хотя мы плохо знаемъ его прошлое, но очевидно, что настоящихъ душевныхъ трагедій онъ не переживалъ, потому что иначе—будь онъ въ такихъ трагедіяхъ испытанъ—онъ не отнесся бы такъ легкомысленно къ дружбѣ Ленскаго и къ любви Татьяны. Однимъ словомъ, тѣ его строгіе судьи, которые называли его „пустымъ“ человѣкомъ, были какъ будто правы.

Если предположить, однако, что въ довершеніе всего Онѣгинъ еще „пародія“, т. е. человѣкъ, умышленно позирующій, то нравственная и умственная его стоимость падаетъ еще ниже, и мы начинаемъ понимать нѣкоторыхъ

современниковъ и друзей Пушкина, которые на поэта весьма искренне сердились за то, что онъ тратитъ свое время на описаніе похожденій столь незначительнаго и неинтереснаго человѣка.

А, между тѣмъ, поэтъ питалъ къ своему знакомому чувства очень нѣжныя: онъ во всякомъ случаѣ былъ очень имъ заинтересованъ.

Пушкинъ откровенно признается, что нашелъ въ Онѣгинѣ родственную душу:

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ—онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.
Мнѣ было грустно, тяжко, больно,
Но, одолѣвъ мой умъ въ борьбѣ,
Онъ сочеталъ меня невольно
Своей таинственной судьбѣ;
Я сталъ взирать его очами,
Съ его печальными рѣчами
Мои слова звучали въ ладъ...

Онѣгинъ пріобрѣлъ даже извѣстную власть надъ душой поэта:

Мою задумчивую младость
Онъ для восторговъ охладилъ.
Я неописанную сладость
Въ его бесѣдахъ находилъ.
Я сталъ взирать его очами;
Открылъ я жизни бѣдной кладъ,
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

Вліяніе Онѣгина на Пушкина стало столь замѣтно, что поэтъ начиналъ опасаться, какъ бы ихъ не приняли за одно лицо:

Цвѣты, любовь, деревня, праздность,
Поля! я преданъ вамъ душой.

Всегда я радъ замѣтить разность
Между Онѣгинымъ и мной,
Чтобы насмѣшливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здѣсь мои черты,
Не повторялъ потомъ безбожно,
Что намаралъ я свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ;
Какъ будто намъ ужъ невозможно
Писать поэмы о другомъ,
Какъ только о себѣ самомъ?

И опасенія Пушкина были вполнѣ основательны. Не только „насмѣшливый" читатель или клеветникъ могъ въ Онѣгинѣ узнать Пушкина, но и читатель очень добросовѣстный, который пожелалъ бы навести историческія справки о жизни поэта и его друга. Многое могли бы объяснить такія справки въ любопытномъ эпизодѣ ихъ временной дружбы.

Историческое развитіе типа Евгенія Онѣгина, его генеалогія и его связь съ современной ему эпохой въ настоящее время выяснены опредѣленно и точно. Нашъ извѣстный историкъ В. О. Ключевскій далъ намъ полную генеалогію этого типа, и теперь не можетъ быть сомнѣнья въ томъ, что Евгеній Онѣгинъ—лицо живое, дѣйствительно жившее: продуктъ опредѣленныхъ историческихъ условій.

Повторимъ выводы ученаго, такъ какъ добавить къ нимъ нечего. Начиная съ XVII вѣка въ нашемъ обществѣ стали попадаться люди, которые никакъ не могли идти вровень со своимъ вѣкомъ и, стремясь угоняться за нимъ, постепенно отъ него отставали. Петровская реформа потребовала отъ многихъ молодыхъ людей такихъ знаній и такого образа мыслей, который былъ имъ недоступенъ. Эти, не ко времени пришедшіеся люди чувствовали себя очень неловко и должны были прійти къ сознанію, что они „лишніе". Дѣтей своихъ они пожелали избавить отъ такого непріятнаго положенія и какъ-нибудь приспособить къ потребностямъ новаго времени, созданнаго реформой. Наскоро стремились эти дѣти нахвататься разныхъ практическихъ знаній (хотя въ большинствѣ случаевъ въ этомъ не успѣвали), которыми особенно дорожилъ великій реформаторъ. Но

времена быстро мѣнялись, и со смертью Петра совсѣмъ иного стали требовать отъ человѣка, который не желалъ отстать отъ времени. „Одни, послѣ Петра заболѣвшіе тоской по родной старинѣ, встрѣтили петровскаго служаку насмѣшками и ругательствами за „европейскій обычай“, привезенный имъ изъ Голландіи; другіе, одержимые вожделѣніемъ къ новизнѣ, преслѣдовали его кличками неуча деревенскаго, мужика, за недостаточный запасъ европейскаго обычая, имъ привезенный, за незнаніе моднаго катехизиса, которымъ вмѣнялось благородному шляхтичу въ обязанность то самое шпажное и танцовальное искусство, которое онъ считалъ безполезнымъ“. Молодой человѣкъ Петровскаго времени послѣ Петра попалъ, такимъ образомъ, въ неловкое положеніе, какъ нѣкогда и его родитель, и, испытавъ много непріятностей за свое неумѣніе приноравливаться къ обстоятельствамъ, заперся въ деревнѣ, гдѣ до смерти „коптилъ небо, созерцая звѣзды“. Въ этой деревнѣ, въ его семьѣ родился отецъ Онѣгина. Воспитаніе свое онъ получилъ при Елисаветѣ, кончилъ его при Екатеринѣ и доживалъ свой вѣкъ при Александрѣ. Онъ усвоилъ себѣ весь внѣшній лоскъ западной образованности, но дѣла на родинѣ себѣ также не нашелъ. Покинувъ службу, онъ переѣхалъ въ свою губернію, задумавъ служить по выборамъ. „Онъ былъ выбранъ въ дворянскіе засѣдатели, но соскучился, дожидаясь дѣлъ, которыхъ въ три года поступило ровно три и не было рѣшено ни одного, пробовалъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, но только сбилъ съ толку управляющаго и старосту, хотѣлъ по крайней мѣрѣ пожить весело, потчивалъ гостей частыми обѣдами, бѣгами и псовой охотой съ дворовою музыкой и цыганской пляской и, наконецъ, уставъ и заглянувъ въ долговую книгу, махнулъ на все рукой и окончательно переселился въ деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолированія себя отъ русской дѣйствительности“. „Всю жизнь помышляя о „европейскомъ обычаѣ“, о просвѣщенномъ обществѣ, онъ старался стать своимъ между чужими и только становился чужимъ между своими. Въ Европѣ видѣли въ немъ переодѣтаго по-европейски татарина, а въ глазахъ своихъ онъ казался родившимся въ Россіи фран-

цузомъ. Въ этомъ положеніи культурнаго межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и ему самому подчасъ становилось невыразимо тяжело чувствовать себя въ такомъ положеніи".

„Сынъ его—нашъ Онѣгинъ—воспитывался въ его преданіяхъ, но не подъ его вліяніемъ. Онъ наслѣдовалъ многія изъ его идей, убѣжденій, взглядовъ, привычекъ, но не наслѣдовалъ его вкусовъ, чувствъ и отношеній къ окружающему и не наслѣдовалъ потому, что выросъ и началъ дѣйствовать подъ другими впечатлѣніями". Наступило Александровское царствованіе, и молодежь была увлечена въ круговоротъ религіозной, національной и политической мысли. Сознаніе, „что въ Россіи образованнѣйшій и руководящій классъ пренебрегаетъ роднымъ языкомъ и всѣмъ, что касается родины"; сознаніе, „что въ русскомъ народѣ таятся могучія силы, лишенныя простора и дѣятельности, скрыты умственныя и нравственныя сокровища, нуждающіяся въ разработкѣ", заставило эту молодежь „круто и прямо повернуть лицомъ къ русской дѣйствительности". Одна часть этой молодежи отдалась политикѣ и погибла; „другіе пошли стороной, осторожно вглядываясь въ даль и озираясь вокругъ. Они также питали много надеждъ и иллюзій, желали дѣятельности и готовились къ ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы примѣнить въ отечествѣ". Но послѣ, когда со средины царствованія преобразовательное движеніе, смѣло начатое правительствомъ, остановилось, и реакція взяла верхъ, всѣ ихъ иллюзіи разсѣялись и „они впали въ уныніе или нравственное оцѣпенѣніе и опустили руки". Послѣ, „оправившись отъ столбняка, они кое-какъ стали прилаживаться къ русской дѣйствительности". Наряду съ этими людьми, которые такъ смѣло и рѣшительно пошли впередъ и не убоялись политической борьбы, и наряду съ тѣми изъ нихъ, которые впали въ уныніе,—стояли еще и другіе, по возрасту болѣе молодые, которые своеобразно откликнулись на свершившійся переломъ въ жизни ихъ родины. „Они проходили школу тогдашняго столичнаго свѣта съ его показнымъ умомъ, заученными приличіями, замѣнявшими нравственныя правила, и съ любезными словами, прикрывавшими пустоту общежитія. Эта

школа давала много пищи злословію, вырабатывала „насмѣшку съ желчью пополамъ“, но не пріучала ни къ умственному труду, ни къ практической дѣятельности,—напротивъ, отучала отъ того и другого, всего же болѣе располагала къ скукѣ. На наклонности, воспитанныя такой школой, ложились чувства старшихъ братьевъ—патріотическая скорбь однихъ, уныніе другихъ. Изъ смѣшенія столь разнородныхъ вліяній и составилось сложное настроеніе, которое тогда стали звать *разочарованіемъ*. Поэзія часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться въ Гарольдовъ плащъ. Но въ составъ этого настроенія входило гораздо болѣе туземныхъ ингредіентовъ. Здѣсь были и запасы схваченныхъ налету идей съ приправой мысли объ ихъ ненужности, и унаслѣдованное отъ вольнодумныхъ отцовъ брюзжанье съ примѣсью скуки жизнью, преждевременно и безтолково отвѣданной, и презрѣніе къ большому свѣту съ неумѣньемъ обойтись безъ него, и стыдъ бездѣлья съ непривычкой къ труду и недостаткомъ подготовки къ дѣлу, и скорбь о родинѣ, и досада на себя, и лѣнь, и уныніе—весь умственный и нравственный скарбъ, унаслѣдованный отъ отцовъ и дѣдовъ и прикрытый слоемъ острыхъ и гнетущихъ чувствъ, внушенныхъ старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся въ одномъ правилѣ: ничего дѣлать нельзя и не нужно дѣлать. Поэтическимъ олицетвореніемъ этой растерянности и явился Евгеній Онѣгинъ“.

Таково историческое толкованіе этого типа, данное большимъ знатокомъ нашей прошлой жизни. Теперь, послѣ этого толкованія мы едва ли станемъ утверждать,—какъ это дѣлали многіе современники поэта,—что типъ Онѣгина—типъ пустой, которымъ не стоило интересоваться. Какъ видимъ, это типъ, полный историческаго смысла, и, если вѣрить показаніямъ современниковъ, типъ довольно распространенный. Остается только опредѣлить—съ удачнымъ ли экземпляромъ такого типа имѣлъ Пушкинъ случай познакомиться.

Все, что романъ говоритъ намъ объ Онѣгинѣ, указываетъ на то, что этотъ экземпляръ былъ изъ неособенно удачныхъ. Всѣ тѣ очень серьезныя мысли и чувства,

которыя—какъ показалъ намъ историкъ—въ оригинальномъ своемъ сочетаніи произвели этотъ любопытный типъ, въ Онѣгинѣ до того стерлись и вывѣтрились, что докопаться до нихъ нѣтъ никакой возможности. Ни патріотической скорби, ни идейнаго разочарованія на почвѣ общественныхъ чувствъ мы не замѣчаемъ въ нашемъ Онѣгинѣ. Его психика туманна и неопредѣленна, но отнюдь не сложна. Онъ, очевидно, изъ всей своей семьи лицо наиболѣе блѣдное и наименѣе даровитое.

Чѣмъ же собственно привлекъ онъ Пушкина и почему такъ долго поэтъ не могъ выкинуть его изъ своей памяти?

Объясненіе этой пылкой привязанности надо искать не въ глубинѣ чувствъ и мыслей Онѣгина, а въ душѣ самого Пушкина. Онъ въ гораздо большей степени, чѣмъ его пріятель, выстрадалъ въ тѣ годы всю ту трагедію души, о которой говорилъ намъ историкъ. На дорогу политической борьбы Пушкинъ, положимъ, не вступалъ, но мы знаемъ, что и на сѣверѣ и на югѣ, гдѣ онъ съ Онѣгинымъ встрѣтился, онъ въ тѣ годы политикой интересовался и имѣлъ уже случай убѣдиться лично, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ привести излишнее довѣріе къ либеральному направленію правительства. Такимъ образомъ, въ извѣстномъ смыслѣ онъ былъ уже знакомъ и съ патріотической скорбью, и съ разочарованіемъ. Если припомнить къ тому же, что всѣ эти мысли и ощущенія возбудили въ немъ ту тревогу духа, которая—какъ мы знаемъ—наложила свой отпечатокъ на все его творчество тѣхъ годовъ, то такое тревожное состояніе должно было еще больше расположить его въ пользу Онѣгина. Вѣдь такъ часто, въ минуты душевнаго волненія, мы въ людяхъ видимъ то, что хотимъ видѣть, и, любуясь ими, на дѣлѣ любуемся самими собой. Для Пушкина Евгеній Онѣгинъ былъ поэтическимъ воплощеніемъ его собственной тревожной души, разочарованной, озлобленной, минутами недовольной всѣмъ міропорядкомъ, людьми и, быть можетъ, самимъ собою. Какъ ни былъ простъ и духовно немощенъ Онѣгинъ, но въ эти минуты Пушкинъ любилъ въ немъ человѣка, который, хоть и безъ всякаго права,

но бросалъ вызовъ всему окружающему. Только спустя нѣкоторое время, когда тревога улеглась въ сердцѣ поэта, онъ, нѣсколько сердясь на самого себя за свое увлеченіе, бросилъ уѣхавшему Онѣгину въ догонку жесткое слово: „Пародія“.

Такъ много субъективнаго было въ этомъ романѣ!

Субъективность поэта сказалась и въ томъ, что, какъ ни нравился Онѣгинъ Пушкину, но онъ не смогъ ни на минуту покорить себѣ поэта всецѣло. Пушкинъ интересовался имъ, находилъ удовольствіе въ его бесѣдахъ, долго и много о немъ думалъ, но увлеченъ имъ не былъ. Онъ всегда относился къ нему критически, и мы помнимъ, сколько ироническихъ словъ сказалъ поэтъ по его адресу. Да наконецъ и разсказъ о дружбѣ Онѣгина съ Ленскимъ и объ его любви къ Татьянѣ показалъ намъ ясно, на чьей сторонѣ были симпатіи поэта. Частицу души своей поэтъ Онѣгину довѣрилъ, но тотчасъ же предалъ его суду.

Поступилъ же онъ такъ потому, что въ его собственномъ сердцѣ та тревога духа, которая роднила его съ Онѣгинымъ, была мимолетнымъ волненіемъ, несвойственнымъ его уравновѣшенной артистической душѣ. Онъ отъ этого волненія освобождался очень быстро, и по мѣрѣ того, какъ писались главы романа, характеръ Онѣгина становился не предметомъ для раздумья, а предлогомъ для косвеннаго наставленія.

Въ 1825 году близкое знакомство Пушкина съ Онѣгинымъ оборвалось, и поэтъ встрѣчался со старымъ другомъ лишь изрѣдка, а спустя нѣсколько лѣтъ совсѣмъ потерялъ его изъ виду.

6. Романъ „Евгеній Онѣгинъ“ помимо своей цѣнности какъ документъ для изученія психики художника—явленіе крупнѣйшее въ исторіи развитія нашего словеснаго творчества. Это — нашъ первый по времени художественный романъ съ реальнымъ направленіемъ, хотя и не настояшаго реальнаго типа. Субъективнаго элемента въ немъ больше, чѣмъ описательнаго и бытового, но все-таки, несмотря на перевѣсъ личныхъ вкусовъ и взглядовъ автора, романъ сохранилъ намъ столько деталей и картинъ изъ нашей прошлой жизни, что сталъ въ извѣстномъ смыслѣ историческимъ

памятникомъ своей эпохи. Это былъ первый романъ, въ которомъ художникъ подошелъ на близкое разстояніе къ современной ему жизни. Если центральной фигурой и оставался самъ художникъ или его излюбленный герой, то этотъ герой дѣйствовалъ въ условіяхъ не вымышленныхъ, а настоящихъ, согласныхъ съ исторической правдой даннаго момента. До „Евгенія Онѣгина“ такого реальнаго письма въ нашей повѣствовательной литературѣ, да и вообще во всей нашей изящной словесности не было. Послѣ „Евгенія Онѣгина“ оно также не попадалось вплоть до Гоголя.

Нашъ романъ въ XVIII вѣкѣ былъ въ большинствѣ случаевъ подражательный, и хорошо, если романисту удавалось нѣсколько вѣрныхъ штриховъ или нѣсколько силуэтовъ изъ галлереи современныхъ ему людей. То, что въ особенности мѣшало романисту XVIII вѣка подняться до истинной художественности, была обязательная моральная или сатирическая тенденція; она, а не жизнь, планировала весь романъ.

Въ этой же тенденціозности можно упрекнуть и всѣ сентиментальные и—какъ тогда говорилось—нравоописательные романы и повѣсти конца XVIII вѣка и начала XIX-го. Авторъ все стремился настроить душу читателя, тронуть его сердце, все защищалъ интересы добра передъ трибуналомъ порока, и нравственное воспитаніе читателя было ему дороже эстетической правды. Къ типу такихъ сентиментальныхъ повѣстей относятся всѣ нѣкогда столь прославленныя повѣсти Карамзина и Жуковскаго. Въ нихъ было много нѣжности, религіознаго и патріотическаго настроенія, много стилистическихъ достоинствъ, но самое главное — русская жизнь —въ нихъ отсутствовала. Когда Карамзинъ вдругъ, вопреки всѣмъ своимъ привычкамъ, задумалъ написать чисто реальную повѣсть изъ лично имъ пережитаго, съ сохраненіемъ бытовыхъ подробностей и колорита, онъ прервалъ работу въ самомъ началѣ—такъ несвойственны были ему пріемы реальнаго творчества и съ дѣйствительной жизнью совпадавшая работа фантазіи. А между тѣмъ эта единственная въ своемъ родѣ повѣсть Карамзина—„Рыцарь нашего времени“ обнаруживала въ авторѣ большую способность рисовать картины бы-

товыя и давала образцы хорошей психологической мотивировки. Но на эту сторону своего творчества Карамзинъ не обратилъ никакого вниманія.

Послѣ повѣстей Карамзина и Жуковскаго можно упомянуть развѣ только о романахъ Измайлова и Нарѣжнаго, какъ о произведеніяхъ, подымающихся выше ординара. Не отрицая за этими писателями извѣстнаго дара наблюдать жизнь и способности обобщать разрозненныя впечатлѣнія, надо признать, что и для нихъ романъ былъ все-таки лишь удобнымъ предлогомъ—прочитать пороку мораль и одобрить добродѣтель. Коекакія бытовыя детали скрашивали эту проповѣдь иногда—какъ, напримѣръ, у Нарѣжнаго—разсказъ отливалъ бодрымъ юморомъ. Но ни романъ Измайлова, ни многочисленные романы Нарѣжнаго ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть названы художественными, и потому въ поле нашего зрѣнія не входятъ.

Со всѣми перечисленными произведеніями „Евгеній Онѣгинъ", конечно, въ сравненіе идти не можетъ. Если имѣть въ виду технику выполненія, а не широту содержанія, то его можно признать первымъ по времени нашимъ реальнымъ романомъ.

X. Общій обзоръ.

1. Литературная эпоха, за развитіемъ которой мы слѣдили, закончена нами 1825 годомъ, годомъ смѣны царствованія и сопровождавшей эту смѣну политической бури. Имѣемъ ли мы право при обозрѣніи такого непрерывнаго движенія, какъ развитіе литературныхъ вкусовъ, направленій и формъ указывать на какое-нибудь событіе или на какой-нибудь годъ, какъ на моментъ окончанія извѣстнаго періода въ исторіи литературы или какъ на моментъ начала новой эры? Не есть ли это опять возвратъ къ произвольному хронологическому дѣленію словесности или дѣленію ея по царствованіямъ?

Противъ такого дѣленія на царствованія (литература Александровской эпохи, литература Николаевскихъ временъ, литература въ царствованіе Александра II) нельзя, кажется намъ, ничего возразить по существу, если только условиться въ пониманіи этихъ терминовъ. Недоразумѣніе можетъ получиться, если мы эти термины „Александровское время", „Николаевское время" будемъ понимать въ томъ традиціонномъ смыслѣ, къ какому насъ пріучила литература западная, гдѣ мы встрѣчаемъ такія ясныя для насъ рубрики въ исторіи литературы, какъ „вѣкъ Перикла", „вѣкъ Августа", „вѣкъ Елисаветы", „эпоха Медичи", „вѣкъ Людовика XIV" и у насъ „вѣкъ Екатерины". Въ томъ смыслѣ, какой приданъ этимъ терминамъ, мы не можемъ говорить о вѣкѣ Александра I, Николая I или Александра II.

Августъ и Елисавета, и Людовикъ, и даже Екатерина какъ личности съ извѣстнымъ міросозерцаніемъ и извѣстными литературными вкусами прилагали особое свое стараніе къ тому, чтобы современныя имъ искусство и литература приняли опредѣленное внутреннее и внѣшнее направленіе, которое эти властители считали наиболѣе совершеннымъ и достойнымъ ихъ царствованія. Свою власть правителя и законодателя эти монархи и монархини простерли на область художественнаго творчества, въ которой они были большіе знатоки или любители; и сколько бы непріятныхъ сторонъ въ „меценатствѣ“ ни было, надо признать, что это покровительство власти принесло искусству большую пользу. Оно часто оказывало художнику поддержку, и матерьяльную, и нравственную.

Императоры Александръ Павловичъ и Николай Павловичъ (ограничимся пока лишь первой половиной XIX вѣка) были люди тоже съ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ (у Александра Павловича оно испытало крутую ломку, у его брата, наоборотъ, за всю его жизнь оно было весьма цѣлостное) и безспорно люди съ любовью и интересомъ къ искусству (Александръ Павловичъ любилъ его не особенно пылко, а Николай Павловичъ любилъ очень). Оба они были меценаты—это безспорно—и о процвѣтаніи отечественныхъ музъ заботились. Но литература ихъ царствованія никакъ не желала идти по тому направленію, какое имъ было любезно и желательно. Въ лицѣ самыхъ сильныхъ художниковъ эта литература шла наперекоръ тому міропониманію, какое стремились провести эти государи въ жизнь народа, которымъ они правили. Начиная съ 20-хъ годовъ XIX вѣка власть находилась въ постоянной ссорѣ со словеснымъ искусствомъ, и поэтъ, романистъ и литераторъ былъ отданъ подъ очень строгую опеку, которая съ каждымъ годомъ становилась все придирчивѣе и самовольнѣе, что служило показателемъ постепеннаго уменьшенія довѣрія власти къ литературѣ. И такое уменьшеніе довѣрія съ точки зрѣнія власти было вполнѣ законно, такъ какъ, дѣйствительно, литература становилась во все болѣе и болѣе оппозиціонное отношеніе къ государственному режиму—т. е., какъ бываетъ въ странѣ, управляемой са-

модержавнымъ монархомъ,—къ убѣжденіямъ, чувствамъ и вкусамъ самого правителя. То направленіе въ литературѣ, которымъ властитель могъ остаться доволенъ,—особенной силы и таланта не обнаруживало, а тѣ писатели, которые дѣйствительно двигали литературу и были наиболѣе талантливы, тѣ почти всѣ шли наперекоръ господствующему и властью одобряемому теченію жизни. Въ царствованіе Александра Павловича этотъ разладъ литературы и власти еще не такъ рѣзко проступаетъ наружу. Наиболѣе уважаемые властью писатели вмѣстѣ съ тѣмъ и передовые литераторы (для своего времени, конечно), какъ напримѣръ, Карамзинъ и Жуковскій. Общее сентиментально-религіозное и патріотическое настроеніе, подогрѣтое борьбой съ Наполеономъ, объединяетъ и власть и литературу. Но уже къ началу двадцатыхъ годовъ начинаетъ чувствоваться разладъ между ними. Сначала власть ссорится съ наукой, затѣмъ съ литературой. Ссорится она съ нею изъ-за либеральнаго ея направленія и изъ-за пробуждающагося въ ней критическаго отношенія къ дѣйствительности. Ссора эта не совсѣмъ понятна, такъ какъ власть еще такъ недавно была сама проводникомъ либерализма въ жизнь и открыто поощряла, если не свободу дѣйствія, то свободу мысли. И либерализмъ, критическое отношеніе къ жизни, свободная философская мысль постепенно просачиваются въ литературу и публицистику—какъ это видно въ поэзіи Пушкина двадцатыхъ годовъ, въ комедіи Грибоѣдова, въ философскомъ направленіи кружка Веневитинова, въ гражданской пѣснѣ Рылѣева. Положимъ, что этотъ либерализмъ, эта свободная философская мысль, это критическое отношеніе еще очень слабы и мимолетны, но власть все-таки считаетъ нужнымъ ограждаться отъ нихъ цензурными строгостями. Такимъ образомъ, словами: „вѣкъ Александра I“ можно окрестить развѣ только самые первые годы развитія нашей изящной словесности, когда въ самомъ началѣ XIX вѣка Жуковскій и Карамзинъ были ея учителями и воспитателями.

Съ еще меньшимъ правомъ можно говорить о „Николаевскомъ вѣкѣ“ въ литературѣ. Императоръ Николай Павловичъ хотѣлъ давать тонъ литера-

турѣ и слѣдилъ за ней очень зорко: въ исключительныхъ случаяхъ онъ даже бралъ на себя роль ея защитника передъ цензурой, какъ это было съ Пушкинымъ и Гоголемъ. Но всѣ его надежды на литературу не оправдались. Развѣ только старшее поколѣніе литераторовъ — все тотъ же Жуковскій, Пушкинъ, Крыловъ, — не то, чтобы оправдывали его надежды, а просто не сердили его. Все молодое въ литературѣ, критикѣ и публицистикѣ шло противъ тѣхъ тенденцій, какія онъ хотѣлъ провести въ нашу государственную и общественную жизнь. Достаточно вспомнить о томъ, какъ цензура зажимала ротъ и западникамъ и славянофиламъ, какъ трудно приходилось Бѣлинскому, Грановскому, Герцену и ихъ друзьямъ, какимъ опаснымъ считался Лермонтовъ. Даже Гоголь, этотъ консервативнѣйшій изъ нашихъ писателей, при всей своей благонадежности невольно сталъ обличителемъ тѣхъ общественныхъ пороковъ, развитію которыхъ, несомнѣнно, способствовалъ установившійся правительственный режимъ. Такимъ образомъ, вѣкъ Николая Павловича въ литературѣ есть собственно вѣкъ борьбы литературы съ тѣмъ, что императоръ умышленно или неумышленно бралъ подъ свою защиту. Въ концѣ царствованія Николая Павловича, въ годы выступленія на литературное поприще Тургенева, Достоевскаго, Писемскаго, Островскаго, Некрасова, Гончарова и др.— художникъ былъ зачисленъ въ разрядъ самыхъ опасныхъ враговъ правительственнаго порядка.

2. Итакъ, если ужъ говорить въ исторіи литературы объ эпохахъ Александра I и Николая I, то не въ старомъ смыслѣ „вѣка“, на который эти властители наложили печать своего духа. Дѣлить исторію литературы на эти рубрики по царствованіямъ возможно только при условіи, если подъ царствованіями разумѣть хронологическія грани (1802—1825 и 1826—1855 годы).

Въ этомъ смыслѣ дѣленіе вполнѣ допустимо, такъ какъ общій характеръ нашей духовной и общественной жизни въ первомъ періодѣ (1802—1825) значительно отличался отъ его характера во второмъ (1826—1855). Перемѣны, которыя произошли въ направленіи всей нашей жизни за это полустолѣтіе, отразились непосред-

ственно и на литературѣ. Подъ вліяніемъ перемѣнъ, происшедшихъ въ жизни общественной и политической, измѣнилось и отношеніе художника къ жизни, измѣнился его взглядъ на себя, измѣнились также и пріемы его мастерства

Теперь, когда мы познакомились съ развитіемъ русской словесности въ царствованіе Александра Павловича, намъ не трудно будетъ уловить особенности психическаго настроенія нашего художника въ эти первые годы его жизни (1802—1825).

3. Припомнимъ вкратцѣ все сказанное.

Во главѣ государства стоитъ человѣкъ, получившій очень либеральное и гуманное воспитаніе и образованіе. Вступаетъ онъ на престолъ съ вѣрою въ людей и въ спасительное дѣйствіе добрыхъ людскихъ пожеланій. Какъ сынъ своего сентиментальнаго вѣка онъ думаетъ, что умъ и воля человѣка, правильно направленные, способны въ самый короткій срокъ переродить людей и осуществить на землѣ царство справедливости. Онъ начинаетъ свою дѣятельность съ цѣлаго ряда самыхъ гуманныхъ и либеральныхъ реформъ и убѣжденъ, что разъ эти реформы имъ подписаны, онѣ уже сами собой сдѣлаютъ свое великое дѣло. Онъ нетерпѣливо ожидаетъ благихъ послѣдствій своего благого настроенія.

Угрожающій ростъ наполеоновской имперіи заставляетъ его однако все свое вниманіе и время отдать вопросамъ внѣшней политики, а заботы о внутреннемъ развитіи своей страны онъ уступаетъ людямъ, которые такъ или иначе успѣваютъ овладѣть его довѣріемъ. Война и дипломатія скоро окончательно отвлекаютъ его отъ кропотливой, требующей большой выдержки домашней работы. Когда война кончается побѣдой надъ Наполеономъ, онъ, и безъ того религіозный человѣкъ и очень склонный къ мистическому толкованію житейскій явленій,—все болѣе и болѣе убѣждается въ своей провиденціальной міровой роли; онъ понимаетъ свое призваніе не только какъ царя русскаго, но какъ всемірнаго героя, призваннаго служить всему человѣчеству. Повседневная забота о Россіи отходитъ совсѣмъ на задній планъ, его настроеніемъ и умомъ овладѣваютъ хитрые западные дипломаты, которые начинаютъ экс-

плоатировать его религіозно-сентиментальное настроеніе въ интересахъ реакціи религіозной и политической. Передъ нимъ возстаетъ труднѣйшая задача, въ которой онъ разобраться не можетъ. Роль въ предѣлахъ Россіи кажется ему слишкомъ узкой и ничтожной; подъ вліяніемъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ близкаго столкновенія съ культурой Запада, Россія становится ему непріятна своей отсталостью, и общественной, и культурной, и онъ пользуется всякимъ случаемъ уѣхать изъ ея предѣловъ. Нѣкоторое время онъ еще говоритъ либеральныя рѣчи, которыя обѣщаютъ даже полную ломку нашего государственнаго строя въ духѣ западномъ, но затѣмъ въ его душѣ начинаетъ происходить нѣчто загадочное и необъяснимое. Онъ переживаетъ, должно быть, великую душевную трагедію, которая едва ли можетъ быть возстановлена во всѣхъ ея частностяхъ. Быть можетъ, все большее и большее погруженіе въ мистику, трудность выяснить себѣ самому свою задачу, можетъ быть, разочарованіе въ людяхъ и въ своей родинѣ, можетъ быть, вопросы личной этики,—но только императоръ начинаетъ тяготиться и людьми и своей ролью. Имъ овладѣваетъ какая-то тоска, которая заставляетъ его искать облегченія въ безконечныхъ путешествіяхъ, и онъ бѣжитъ отъ работы, довольный тѣмъ, что нашлись люди, которые за него готовы взять на себя трудъ управленія, а главное—отвѣтственность за него. Это уже не тѣ люди, съ которыми онъ начиналъ свою юную жизнь властителя: тѣ были идеалисты и сентименталисты—люди того же душевнаго склада, что и онъ. Такіе люди теперь едва ли могли бы ему помочь. Ему нужны теперь люди трезвые до сухости, люди не теорій, а дѣла, хотя бы самаго грубаго, люди съ волей, хотя бы жестокіе; однимъ словомъ, люди Аракчеевскаго типа. Имъ онъ довѣряетъ, потому что они умѣютъ ему импонировать и потому что для нихъ не существуетъ никакихъ вопросовъ, которые его мучатъ. И вотъ, вторая половина царствованія императора становится отрицаніемъ той программы, которую онъ возвѣстилъ при своемъ вступленіи на престолъ. Наступаетъ реакція безпринципная и непослѣдовательная, капризная, зависящая отъ настроенія власти. Насколько императоръ самъ

руководитъ ею—трудно сказать; вѣрнѣе, что онъ махнулъ рукой на эти внутреннія дѣла государства, занятый больше дѣлами внутренними своей собственной души. По крайней мѣрѣ, когда онъ узнаетъ, что въ государствѣ готовится обширный заговоръ противъ него и даже противъ его жизни, онъ не принимаетъ никакихъ мѣръ огражденія—какъ будто чувствуя близость своей кончины. Говорятъ, что онъ при этомъ случаѣ сказалъ, что не ему карать преступленія, на которыя онъ самъ наталкивалъ своихъ подданныхъ. Если онъ, дѣйствительно, такъ думалъ, то велика была трагедія, которую онъ переживалъ. Въ 1825 году императоръ неожиданно умираетъ и тотчасъ же вспыхиваетъ возстаніе, усмирять которое приходится его брату.

На нашей общественной жизни такая личность правителя, какимъ былъ Александръ Павловичъ, въ общемъ отразилась благотворно. Въ началѣ царствованія онъ покровительствовалъ росту свободы совѣсти, свободы мысли и слова, и стремился пробудить въ своихъ подданныхъ чувства общественныя и политическія. Затѣмъ онъ сталъ гнать эти свободы и чувства, но гналъ какъ-бы нехотя и осторожно, и несмотря на Аракчеевщину во всѣхъ вѣдомствахъ, общественная самодѣятельность въ его царствованіе не замирала, а скорѣе разгоралась.

Большую помощь этой самодѣятельности оказывало наше исключительное тогда положеніе среди другихъ культурныхъ народовъ. Мы приняли большое участіе въ дѣлахъ Европы. Съ 1807 года по 1815 мы были однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ европейской императорской драмѣ. Затѣмъ мы реставрировали престолъ во Франціи, затѣмъ дѣлили Европу на Вѣнскомъ конгрессѣ, затѣмъ почти до самой смерти Императора Александра I все участвовали на разныхъ конгрессахъ, вникая во внѣшнія и во внутреннія дѣла всего континента. Такое привилегированное положеніе должно было отражаться на нашемъ національномъ самосознаніи и вызвать въ насъ страшную торопливость, чтобы по всѣмъ направленіямъ нагонять ту культуру, которая насъ къ себѣ сразу такъ приблизила.

И эта культура стала дѣлиться съ нами всѣми своими богатствами. Въ особенности богатъ былъ тогда

притокъ къ намъ западной мысли и всевозможныхъ чувствъ и настроеній разныхъ вѣковъ и съ разной національной окраской, съ которыми знакомила насъ западная литература—тогда съ необычайной быстротой и въ большомъ обиліи перелетавшая черезъ нашу границу. Намъ пришлось знакомиться со всевозможными оттѣнками религіозной, философской, общественной и политической мысли, съ массою литературныхъ направленій и формъ, съ громаднымъ количествомъ историческихъ фактовъ изъ прошлаго культурной жизни Запада и ея настоящаго. Всѣмъ этимъ мы интересовались, все хотѣли усвоить и понять, желали даже всему этому противопоставить нѣчто свое.

Таковы были условія нашей внѣшней жизни въ тѣ годы. Жизнь внутренняя—она была полна самыхъ вопіющихъ несовершенствъ и аномалій, начиная съ крѣпостного состоянія. Сознаніе этихъ несовершенствъ быстро росло и крѣпло въ обществѣ, и отношеніе къ нимъ было отношеніе здоровое, хоть, можетъ быть, и недостаточно энергичное. Сентиментальный складъ ума и сердца заставлялъ людей во многомъ полагаться на Бога, довѣрять его замѣстителю на землѣ и вообще вѣрить, что въ человѣкѣ отъ природы гораздо больше предрасположенія къ добру, справедливости и истинѣ, чѣмъ ко всѣмъ злымъ качествамъ и мыслямъ. При такомъ взглядѣ отношеніе ко всѣмъ несовершенствамъ жизни было довольно мягкое; оно могло быть очень сознательное, искреннее и глубокое, но оно рѣдко бывало мучительнымъ или острымъ. Всегда была налицо вѣра въ человѣка, въ его разумъ и добрыя его чувства, и какой бы болью и скорбью зло ни отдавалось въ сердцѣ, всегда можно было надѣяться, что съ помощью Божьей и силою земной со всѣми несовершенствами легко справиться. Въ первые годы царствованія Императора Александра I такое сентиментальное міропониманіе было крайне повышено, но даже и въ послѣдующіе годы, годы реакціи, оно людей не покинуло. Нѣкоторымъ пришлось, правда, пережить извѣстную тревогу духа, извѣстное смятеніе мыслей, и какой-то неопредѣленный мракъ временно спустился на ихъ душу, мракъ, который поколебалъ въ нихъ довѣріе къ Богу, власти и людямъ. Но такое настроеніе

улеглось въ этихъ чуткихъ душахъ быстро, и эта „романтическая“ разновидность сентиментальнаго отношенія къ міру не разобщила ихъ съ людьми. Они продолжали въ нихъ вѣрить, хотя и говорили о своемъ отчужденіи отъ нихъ. Вѣра эта въ силу доброй воли человѣка и въ быстро торжество справедливости была у нѣкоторыхъ столь сильна, что, не смотря ни на какую осязаемую и видимую реакцію, она толкнула ихъ на путь прямого возстанія противъ существующаго общественнаго и политическаго порядка. Нужна была сильная вѣра въ людей, и полное отсутствіе того, что называется разочарованіемъ, чтобы, не считаясь ни съ какими традиціями, не измѣряя нисколько своихъ физическихъ силъ, не изучивъ людскую толпу ринуться такъ рѣшительно впередъ, имѣя за себя только убѣжденіе въ своей правотѣ.

И вотъ въ этихъ-то условіяхъ, при такомъ душевномъ настроеніи и образѣ мыслей пришлось жить художнику слова. Вполнѣ естественно, что эти условія опредѣлили его отношеніе къ тому матерьялу, какой ему давала жизнь, и повліяли на его оцѣнку своего призванія.

Передъ художникомъ открывалось необозримое поле новыхъ ощущеній, впечатлѣній и мыслей. Многое въ этомъ было ему дано совсѣмъ готовымъ, какъ итогъ чужой культуры, глубокой по смыслу и красивой по формѣ. Ему оставалось только повторить этотъ итогъ русской художественной рѣчью, которая къ этому времени уже родилась и быстро совершенствовалась. Многое открылось ему также и въ его родной, общественной и идейной жизни, которая сама подъ исключительными историческими условіями стала теперь проявлять все усиливавшееся броженіе.

Самое дорогое въ этой новизнѣ впечатлѣній и мыслей было для художника, конечно, его личное отношеніе къ ней. Все для него было такъ ново, такъ неожиданно, все такъ возбуждало прежде всего его любопытство, что онъ съ большой поспѣшностью переходилъ отъ одного порядка чувствъ къ другому, отъ одной идеѣ къ другой, подставляя себя нерѣдко подъ упрекъ невыдержанности въ настроеніяхъ и мысляхъ. Но этими настроеніями и мыслями, равно какъ и фактами, со

всѣхъ сторонъ на него налетѣвшими, онъ былъ подавленъ, ослѣпленъ и смущенъ. Времени привести все это въ стройную систему у него не было. Еще слишкомъ неопытенъ былъ онъ для такой систематизаціи. Онъ наслаждался новизной жизни, жадно ловилъ всѣ впечатлѣнія своимъ умомъ и сердцемъ, но спокойно, объективно отнестись къ жизни онъ не могъ—занятый больше своей личностью, чѣмъ ею. Такъ, въ ранніе годы, когда, выражаясь словами поэта, „намъ новы всѣ впечатлѣнія бытія", относимся и мы къ жизни, не столько думая надъ ея смысломъ, сколько наслаждаясь ея разнообразіемъ; мы бываемъ при этомъ и веселы и печальны, поддаваясь настроенію минуты.

Субъективное отношеніе къ жизни, какое наблюдается у всѣхъ нашихъ художниковъ за это время,— не есть результатъ какой-нибудь односторонности духа или недостатка художнической организаціи. Это вполнѣ естественное явленіе при тѣхъ условіяхъ жизни общественной, при какихъ художники родились и начали развиваться. Даже тѣ изъ нихъ, у которыхъ былъ несомнѣнный даръ наблюденія, не за собой только, а за жизнью внѣшней, и тѣ не могли удержаться, чтобы не подчеркивать постоянно своихъ чувствъ, своихъ настроеній и мыслей. Ихъ личность стоитъ въ центрѣ всего ихъ творчества, и оцѣнка окружающей дѣятельности сводится для нихъ къ самооцѣнкѣ.

Въ этомъ субъективномъ отношеніи къ міру художники проявляютъ въ общемъ довольно миролюбивое и благодушное настроеніе. Какъ бы они ни сердились и какъ бы порой печальны ни были, они все-таки остаются довѣрчивыми сентименталистами и только на очень короткое время душою нѣкоторыхъ изъ нихъ овладѣваетъ та „романтическая" тревога духа, та тревожная форма сентиментальнаго міропониманія, которая заставляетъ ихъ, вѣрующихъ и любящихъ, на словахъ стать отрицателями и пессимистами. Но этотъ „романтизмъ" въ Александровскіе годы былъ явленіемъ исключительнымъ и всецѣло овладѣть душой художника, какъ онъ овладѣлъ ею позже, не могъ. Если теперь задать себѣ вопросъ, какую же общечеловѣческую психическую силу преимущественно проявилъ

нашъ художникъ въ своемъ эстетическомъ отношеніи къ міру,—искалъ ли онъ, какъ художникъ, въ окружающей его жизни импульса для размышленія, для возбужденія въ себѣ волевыхъ эмоцій или онъ искалъ въ жизни прежде всего пищи для своей фантазіи, для своего чувства—то придется признать, что въ этотъ періодъ своего развитія нашъ художникъ преимущественно жилъ чувствомъ, довольствовался впечатлѣніями и ощущеніями, насыщалъ ими свою фантазію, дорожилъ богатствомъ этой фантазіи и въ широчайшемъ развитіи этой чуткости, этой способности чувствовать, видѣлъ главное свое достоинство и конечную цѣль своего призванія. Онъ хотѣлъ быть „эхо" всей вселенной и до извѣстной степени ему это удавалось. Надъ тѣмъ, что онъ получалъ извнѣ, думалъ онъ мало, такъ какъ впечатлѣнія смѣнялись необычайно быстро и кругомъ кипѣла жизнь, отливавшая самыми разнообразными красками. Особенно задумываться не приходилось и потому, что слишкомъ довѣрчиво смотрѣлъ человѣкъ на все, что вокругъ него творилось. Эта довѣрчивость уменьшала въ художникѣ также и желаніе принять непосредственное участіе въ событіяхъ, которыя на его глазахъ вершились. Воля, импульсъ къ дѣйствію, желанье сблизить мечту и жизнь были въ эти годы очень слабо развиты въ художникѣ. Онъ сторонился отъ „толпы", отъ житейской суеты (подводя подъ названіе суеты иногда весьма серьезные вопросы жизни), онъ хотѣлъ быть преимущественно созерцателемъ и очень дорожилъ этой способностью сохранять хладнокровіе среди общаго волненія. Эстетическій аристократизмъ считалъ онъ необходимымъ условіемъ для истиннаго творчества, вполнѣ увѣренный, что на своемъ посту, оставаясь вдали отъ житейской сутолоки, онъ для жизни сдѣлаетъ больше, чѣмъ если непосредственно втянется въ ея омутъ. Свободу, широту и глубину чувствъ, отзывчивость „на все"—вотъ что цѣнилъ онъ всего больше въ искусствѣ.

Когда мы такъ напираемъ на эту роль чувства въ психикѣ художника того времени, то, конечно, мы не имѣемъ въ виду ея исключительной, единственной власти надъ душой человѣка. Нѣтъ людей, которые бы

жили однимъ чувствомъ, безъ импульсовъ воли и склонности къ логической систематизаціи впечатлѣній и ощущеній. Были и въ эти годы художники съ большимъ тяготѣніемъ къ отвлеченной мысли, какъ напримѣръ, Веневитиновъ, были другіе, которые, какъ напримѣръ, Рылѣевъ, вносили въ свою лирику много боевого настроенія, но это были исключенія; въ общемъ въ поэзіи того времени преобладаетъ „чувствительное" отношеніе художника къ жизни, при которомъ, занятый почти исключительно самимъ собою, онъ ловитъ и выслѣживаетъ всѣ новыя для него впечатлѣнія кипучей многоцвѣтной жизни, спѣшитъ отъ одного впечатлѣнія къ другому, радуется ихъ обилію, красотѣ и новизнѣ, въ общій же ихъ философскій смыслъ вникаетъ мало и еще меньше желаетъ принять въ этой жизни непосредственное волевое и активное участіе. Такова психологія художника за этотъ первый періодъ развитія нашей словесности. Она рѣзко мѣняется во второй.

4. Смерть императора Александра Павловича и декабрьскія событія 1825 года—дата необычайно важная не только въ исторіи развитія нашей гражданственности, но и въ исторіи нашей словесности. Совсѣмъ особая психологія художника вырабатывается въ Николаевское царствованіе.

На престолъ вступаетъ человѣкъ совсѣмъ иного склада ума и сердца, чѣмъ его братъ. Вступаетъ онъ на престолъ среди мятежа, который, какъ онъ убѣжденъ, на-половину — дѣло рукъ литераторовъ и публицистовъ. Не безъ основанія винитъ онъ въ этомъ мятежѣ,—который на всю жизнь отравилъ ему воспоминаніе о первомъ днѣ его царствованія,—пылкое чувство энтузіастовъ и впечатлительныхъ натуръ. Такихъ людей императоръ не терпитъ и во все продолженіе своего царствованія гонитъ. Натура совершенно не сентиментальная, а необычайно трезвая, прямолинейная и практичная, императоръ Николай Павловичъ еще терпитъ истинныхъ сентименталистовъ съ религіознымъ и мирнымъ складомъ души; сентименталисты же романтики, „тревожныя души" ему подозрительны какъ натуры „недовольныя".

Самъ онъ—логикъ, и безпощадный логикъ идеи самодержавія. Никакихъ колебаній и переломовъ духа онъ никогда не зналъ (или, можетъ быть, узналъ ихъ только передъ самой кончиной). Слѣпо отдался онъ одной цѣли—поддерживать безъ какого-либо компромисса существующую форму правленія въ Богомъ хранимой Россіи. Этотъ принципъ онъ проводилъ неумолимо во всѣ области и отрасли нашей матерьяльной и духовной жизни. Онъ мнилъ себя высшимъ опекуномъ мыслей, настроеній и образа дѣйствія своихъ подданныхъ. Сообразно съ этимъ былъ установленъ и режимъ воспитанія и программы обученія и опредѣлены границы печатнаго и устнаго слова. То, что при императорѣ Александрѣ Павловичѣ придавало нашей жизни такой колоритъ,—свободное или, вѣрнѣе, относительно свободное развитіе религіозныхъ, общественныхъ и политическихъ идей, было теперь страшно затруднено строжайшимъ правительственнымъ контролемъ надъ этими идеями. Допущенъ былъ только ростъ мысли философской и то преимущественно въ области одной эстетики. Такимъ образомъ, живой обмѣнъ мысли исчезалъ мало-по-малу изъ области печатнаго слова и становился достояніемъ частной бесѣды или письма. Литература проигрывала отъ этого безмѣрно, художникъ неизбѣжно долженъ былъ чувствовать себя въ постоянной опаскѣ, и свободное обращеніе съ матерьяломъ, который ему давала жизнь, становилось для него почти немыслимо.

Вмѣстѣ съ этой вялостью гласной мысли шла возрастающая вялость всей общественной жизни. Режимъ требовалъ прежде всего спокойствія и рутинной механичности движенія. Ни о какой общественной самодѣятельности, которую стремилось вызвать александровское царствованіе, по крайней мѣрѣ въ первые свои годы, не могло быть и рѣчи. Даже на мелкія проявленія этой самодѣятельности, какъ напримѣръ, на жизнь частныхъ литературныхъ кружковъ власть смотрѣла косо. И интересъ къ общественной жизни, интересъ къ вопросу дня падалъ все больше и больше.

Ничего возбуждающаго и бодрящаго не давало и наше международное положеніе тѣхъ годовъ. Турецкая

война, венгерскій походъ, затянувшаяся война на Кавказѣ—какъ это все было жалко сравнительно съ тѣмъ, что такъ недавно было пережито. Пусть наше положеніе среди державъ и было почетное, но оно лишено было всякаго блеска. На Западѣ, правда, жизнь шла очень бурнымъ ходомъ и была полна глубокаго смысла, героизма и внѣшней красоты, въ особенности въ періодъ времени отъ 1830 до 1848 года,—но наши связи съ Западомъ къ этому времени очень ослабѣли. Связи эти могли быть только идейныя, такъ какъ прямого участія въ жизни Запада мы не принимали. Но именно этотъ обмѣнъ идей былъ тогда очень затрудненъ въ виду особенно сильнаго подъема либеральной и радикальной мысли у нашихъ сосѣдей.

Таковы были условія, при которыхъ теперь приходилось жить художнику новаго поколѣнія: сѣрая, регламентированная и скучная жизнь внутри, сильное пониженіе въ обмѣнѣ гласной мысли, значительное уменьшеніе притока впечатлѣній извнѣ и постоянная боязнь сказать что-нибудь лишнее или сдѣлать что-нибудь недозволенное.

Старшее поколѣніе художниковъ, съ Пушкинымъ и Жуковскимъ во главѣ, должно было, казалось, всего болѣзненнѣе ощутить происшедшую перемѣну въ атмосферѣ. Оно ощущало ее безспорно, но съ ней примирилось, попрежнему довѣрчивое и оптимистически настроенное. Явленіями современной жизни это старшее поколѣніе попрежнему интересовалось мало, устраняя изъ области искусства все, могущее возбудить такъ или иначе тревогу духа.

Для художника молодого поколѣнія такое примиреніе было невозможно. Жизнь оказывала своеобразное вліяніе на его психику и учила его нѣсколько иначе смотрѣть на ея явленія, чѣмъ смотрѣли его старшіе братья. Тѣ искали преимущественно впечатлѣній, на все откликались и полагали, что этимъ ихъ роль исполнена. Теперь это отношеніе художника къ жизни существенно мѣняется.

Прежде всего является потребность разобраться въ накопленномъ богатствѣ впечатлѣній и мыслей. Жизнь перестаетъ давать неустанно новое. Она становится

такъ однообразна и скучна въ своемъ теченіи, что интересоваться ея видимостью нельзя, и для всякаго человѣка чуткаго и умнаго остается одинъ выходъ: это—отвлеченіе отъ фактовъ и переносъ всего своего интереса на ту общую мысль, на тотъ общій смыслъ, который должны же имѣть эти разрозненные факты, столь ничтожные и сѣрые, если ихъ брать поодиночкѣ. Стремленіе къ отвлеченной обобщающей мысли, которая помирила бы человѣка съ окружающей его безцвѣтной обстановкой, истолковала бы ему смыслъ того, что не поражаетъ его ни красотой, ни разнообразіемъ, ни неожиданностью, которая наконецъ связала бы въ одно цѣлое все, что онъ успѣлъ узнать о прошломъ и что успѣлъ схватить въ настоящемъ—это стремленіе сказывается очень ясно въ нашей критикѣ и публицистикѣ Николаевскихъ временъ, и проникаетъ также и въ литературу. Кружки Станкевича и Герцена—кружки теоретиковъ, по преимуществу. Пусть въ одномъ кружкѣ преобладаетъ интересъ къ чистому умозрѣнію и къ эстетикѣ, а въ другомъ къ соціальнымъ вопросамъ,—но для членовъ и того и другого братства общій смыслъ явленій дороже ихъ видимости. Эту видимость они готовы всегда истолковать въ угоду извѣстной теоріи, и того, что называется практическимъ смысломъ, у нихъ очень мало: нѣтъ въ нихъ и этой способности любоваться только лишь фактомъ и довольствоваться впечатлѣніемъ, какое онъ на нихъ производитъ. Они все и обо всемъ размышляютъ. Этимъ объясняется и ихъ увлеченіе туманностями нѣмецкой философіи, которая повидимому такъ далека отъ русской жизни. Но она для нихъ важна тѣмъ, что даетъ готовыя формулы для ихъ теоретическихъ выкладокъ. Изъ этихъ же иностранныхъ философскихъ формулъ съ примѣсью національнаго сентимента выводятъ свое ученіе и наши славянофилы тѣхъ годовъ. И они—теоретики и мыслители по преимуществу, съ весьма малымъ чутьемъ реальнаго факта. Со многими весьма нежелательными явленіями нашей жизни они готовы помириться, прикрывъ ихъ отвлеченнымъ истолкованіемъ. Столь же отвлеченной, какъ эта публицистическая и историческая мысль, становится въ тѣ годы и художественная критика. Сначала

Надеждинъ, затѣмъ Бѣлинскій превращаютъ критику въ философско-эстетическій трактатъ. Критикъ начинаетъ доискиваться главнымъ образомъ смысла тѣхъ произведеній искусства, которыя его плѣняютъ. Сначала его интересуетъ больше всего смыслъ самого процесса художественнаго творчества, затѣмъ—смыслъ тѣхъ явленій жизни, которыя воплощены въ художественные образы. И этотъ смыслъ явленій понимается имъ какъ общій философскій смыслъ и только подъ самый конецъ своей жизни въ серединѣ сороковыхъ годовъ критикъ начинаетъ оцѣнивать художественные памятники какъ реальный документъ данной исторической эпохи.

Это стремленіе въ живыхъ явленіяхъ дѣйствительности цѣнить выше всего ихъ общій смыслъ проникаетъ и въ область чистаго художественнаго творчества. Николаевскія времена не очень богаты настоящими художниками слова. Если говорить объ истинныхъ художникахъ, которые въ эти времена развились и вполнѣ созрѣли, то такихъ было только два: Гоголь и Лермонтовъ. Остальные—либо публицисты, какъ напр., кн. В. Ѳ. Одоевскій и Герценъ, либо еще не совсѣмъ сформировавшіеся таланты, какъ напр., молодые „натуралисты“ конца сороковыхъ годовъ — Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Григоровичъ, Островскій и Некрасовъ.

Если оставить въ сторонѣ этихъ „натуралистовъ“— учениковъ Гоголя, расцвѣтъ творчества которыхъ падаетъ въ болѣе позднюю эпоху, и считаться только съ творчествомъ тѣхъ художниковъ, которые въ Николаевскія времена достигли полнаго развитія своихъ творческихъ силъ. то вторженіе общей мысли въ искусство сказывается ясно на ихъ произведеніяхъ. Всѣ повѣсти Герцена—этико-соціальныя мысли въ формѣ беллетристическаго разсказа. Повѣсти кн. В. Ѳ. Одоевскаго также не что иное, какъ философскія, эстетическія и этическія разсужденія въ лицахъ.

Но самый характерный примѣръ вторженія мысли въ творчество и рѣдкій примѣръ борьбы этой мысли съ творчествомъ даетъ намъ исторія развитія таланта Гоголя. Взятый самъ по себѣ этотъ талантъ былъ чуждъ всякаго раздумья. Рѣдко являлся художникъ, который бы такъ умѣлъ непосредственно и вѣрно схватывать

дѣйствительность, какъ Гоголь. Въ особенности веселая и комичная сторона жизни была ему хорошо видна. Но съ самыхъ первыхъ лѣтъ своей литературной работы Гоголь былъ убѣжденъ, что онъ призванъ не только изображать жизнь, но и разгадать ея таинственный смыслъ. Онъ по духу былъ настоящій сентименталистъ и моралистъ, и въ немъ съ годами крѣпла эта склонность истолковывать всѣ явленія жизни въ религіозномъ и нравственномъ смыслѣ. Такой смыслъ онъ хотѣлъ найти не только въ самихъ житейскихъ явленіяхъ, но и въ собственномъ своемъ творчествѣ. И это непосредственное творчество онъ сталъ портить въ угоду разнымъ общимъ взглядамъ, которые онъ съ грѣхомъ пополамъ вырабатывалъ, имѣя къ отвлеченной мысли весьма слабое призваніе. Долго его крупнѣйшій талантъ боролся противъ этой идеологіи, но къ серединѣ сороковыхъ годовъ ослабѣлъ, и художникъ-Гоголь преобразился въ чистаго проповѣдника. И такое насиліе надъ талантомъ было совершено во имя мысли, которую надобно было доказать во что бы то ни стало. Отъ такого насилія пострадалъ тогда не одинъ только Гоголь. Можно вспомнить и о Кольцовѣ...

Но не всегда человѣкъ способенъ успокоиться на какой-нибудь чистой мысли—религіозной, философской или этической. Не для всѣхъ людей диссонансы жизни разрѣшаются на такихъ высотахъ или въ такихъ глубинахъ. Раздумье надъ жизнью, надъ противорѣчіемъ идеала и дѣйствительности для многихъ можетъ такъ и остаться печальнымъ раздумьемъ, изъ котораго нѣтъ примиряющаго исхода. Такое раздумье можетъ привести человѣка къ очень пессимистическому взгляду и повысить въ его душѣ то настроеніе, которое мы условно назвали „романтическимъ". И оно очень повысилось въ Николаевскія времена. Въ Александровскую эпоху мы его подмѣтили въ очень слабой формѣ у Пушкина, въ періодъ, когда онъ жилъ на югѣ. Теперь при новыхъ общественныхъ условіяхъ, столь враждебныхъ всякому благодушію и оптимизму, при неустанной работѣ мысли, которая искала разрѣшенія жизненныхъ диссонансовъ и не могла найти ихъ,—повышеніе тревоги въ чуткихъ сердцахъ становилось неизбѣжно.

Литература очень ясно отразила на себѣ эту усилившуюся тревогу. Русскій „романтизмъ“ начиналъ находить своихъ наиболѣе сильныхъ выразителей. Это былъ „романтизмъ“, который не только проводилъ рѣзкую грань между идеаломъ и жизнью, и сокрушался о несоотвѣтствіи мечты и дѣйствительности, это былъ „романтизмъ“ въ большой степени озлобленный и пессимистическій. Онъ готовъ былъ обрушиться и на Бога, и на людей, и на всякую власть земную, и если онъ этого не дѣлалъ, то потому, что его принуждали къ молчанію. Стѣсненное въ своихъ нападкахъ на самую жизнь, многія стороны которой были ограждены отъ всякаго гласнаго обсужденія, это недовольство жизнью нерѣдко всею своею тяжестью ложилось на душу самого носителя этой печали и порождало тѣ острыя формы разочарованія, при которыхъ человѣкъ разочаровывался въ самомъ себѣ и терялъ всякую бодрость духа. Въ конечномъ результатѣ такого психическаго процесса могло появиться ощущеніе и сознаніе, что человѣкъ сталъ совершенно „лишнимъ“ среди соотечественниковъ, друзей, знакомыхъ и даже въ своей собственной семьѣ. И, дѣйствительно, литература и публицистика конца сороковыхъ годовъ отмѣтили появленіе у насъ такихъ лишнихъ людей.

Всѣ эти различныя формы обострившейся душевной тревоги имѣютъ среди писателей Николаевскаго времени своихъ выразителей. Въ формѣ очень неопредѣленной, но патетической она проявилась въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ и драматическихъ сочиненіяхъ Н. Полевого. Въ повѣстяхъ Марлинскаго она же облеклась въ форму очень красивой страстности и демоничности. Мы находимъ ее съ примѣсью большой грусти и печали въ стихотвореніяхъ Полежаева. Наконецъ все творчество Лермонтова есть непрерывное раздумье надъ смысломъ жизни, надъ собственнымъ призваніемъ, надъ этической проблемой міра—раздумье, которое привело поэта къ глубоко пессимистическому взгляду на жизнь и разочарованію, близкому къ отчаянію. Вся эта повышенная романтическая тревога духа вытекала не только изъ повышенности чувствъ, но была обусловлена прежде всего тѣмъ, что цѣлый рядъ самыхъ глубокихъ и неот-

вязныхъ мыслей обступилъ человѣка и требовалъ разрѣшенія. Тотъ, кто не могъ просто отмахнуться отъ этихъ мыслей, кто не могъ разрѣшить ихъ въ отвлеченныхъ формулахъ—тотъ изнемогалъ подъ ихъ бременемъ и утрачивалъ способность спокойнаго отношенія къ жизни: сначала относился съ большой страстностью даже къ ея мелочамъ, а затѣмъ кончилъ разочарованіемъ, которое не хотѣло замѣтить даже самыхъ серьезныхъ сторонъ окружающей дѣйствительности.

А время шло, и общественный и умственный уровень жизни повышался. Къ концу сороковыхъ годовъ стало ясно чувствоваться, что такія отношенія къ жизненнымъ явленіямъ, при которыхъ человѣкъ исходитъ изъ повышеннаго чувства или отвлеченной мысли не соотвѣтствуютъ больше назрѣвшимъ потребностямъ. Жизнь стала требовать отъ людей, чтобы они, созерцая ее и раздумывая надъ ней, не забывали, что они призваны быть въ ней активной, дѣйствующей силой. Въ Николаевскія времена навстрѣчу этому требованію пошли лишь немногіе люди, но почти всѣмъ становилось ясно, что въ отвлеченную мысль отъ жизни не уйдешь, и что разочарованный взглядъ на нее грозитъ перейти въ шаблонную безсодержательную позу. Герои въ родѣ Гамлета щигровскаго уѣзда или Грушницкаго теряли кредитъ и обаяніе, но новый герой не появлялся. Да и не могъ онъ явиться при тогдашнихъ общественныхъ условіяхъ.

Но, несмотря на тяжесть этихъ условій, отдѣльныя лица своими словами и своимъ поведеніемъ показывали, что отъ чувствъ и разсужденій они готовились перейти къ дѣйствію. Критика Бѣлинскаго за послѣдніе годы его жизни направляла вниманіе читателя на общественные вопросы и, насколько это было возможно, указывала ему ту общественную программу, которой нужно было придерживаться. Повѣсти и публицистическія статьи Герцена переводили вопросы прямо на практическую почву, и когда работа въ этомъ направленіи стала въ Россіи немыслима, Герценъ переселился за границу. Бакунинъ—самый ярый защитникъ отвлеченной мысли,—тоже бѣжалъ за границу и сразу обнаружилъ темпераментъ революціоннаго агитатора. Мистикъ и

патріотъ консервативнаго склада—Гоголь и тотъ въ своей „Перепискѣ съ друзьями“ сталъ прописывать читателю рецепты практической дѣятельности. Наконецъ къ этому же времени образовался кружокъ Петрашевцевъ — первый кружокъ, въ которомъ западный соціализмъ сталъ предметомъ изученія, и, разумѣется, не ради изученія только. Всѣ эти симптомы указывали достаточно ясно на то, что на смѣну прежнимъ взглядамъ на жизнь шелъ новый, который отъ человѣка требовалъ уже не отзывчивости и раздумья только, а извѣстнаго напряженія воли. Эту перемѣну, которая теперь давала себя чувствовать въ отношеніи человѣка къ жизни,—долженъ былъ почуять и художникъ.

Въ недавнемъ прошломъ онъ такъ много созерцалъ и чувствовалъ, и такъ смѣло ставилъ свою личность въ центръ мірозданія; онъ только что пережилъ долгіе годы раздумья, и жилъ преимущественно мыслью, чистой, отвлеченной, обобщающей, въ сферѣ которой думалъ разрѣшить всѣ противорѣчія жизни. И на время онъ, дѣйствительно, забывался на ея высотахъ или впадалъ въ отчаянье, не будучи въ состояніи удержаться на нихъ. Теперь передъ художникомъ возникалъ совсѣмъ иной вопросъ — очень опасный для самого искусства, вопросъ о „направленіи“, котораго долженъ держаться писатель и художникъ. Много объ этомъ вопросѣ спорили, спорятъ и въ наши дни. Существуетъ взглядъ, что всякое „направленіе“ или, что то же, всякая „тенденція“ необычайно вредна для „свободнаго“ искусства, что роль художника вовсе не въ томъ, чтобы проводить въ жизнь какую-нибудь программу, что онъ—служитель искусства, а не общественный дѣятель въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Этотъ взглядъ, который нерѣдко основывался на очень глубокихъ философскихъ размышленіяхъ, неоднократно опровергался самой жизнью, и нерѣдко великіе художники становились проводниками чисто практическихъ житейскихъ программъ. Иначе оно и быть не могло. Художникъ прежде всего человѣкъ, а затѣмъ уже художникъ. Какъ бы онъ ни ограждалъ себя отъ общества, онъ все-таки членъ его, участникъ въ развитіи извѣстнаго историческаго момента. Какъ можетъ онъ уберечься отъ общаго теченія жизни, когда

оно его влечетъ по извѣстному направленію? Онъ можетъ разно оцѣнивать запросы жизни, но удалить ихъ изъ поля своего художественнаго зрѣнія онъ не можетъ.

Когда со средины сороковыхъ годовъ въ нашемъ обществѣ начало ясно сказываться пробужденіе извѣстнаго волевого, активнаго начала, когда чувство общественности настолько окрѣпло, что созерцаніе и раздумье перестали удовлетворять людей,—естественно, что такая чуткая организація, какъ психика художника, не могла не почувствовать происходящей перемѣны въ общественномъ настроеніи. Волевое начало просыпалось и въ душѣ художника, и возникалъ передъ нимъ этотъ труднѣйшій вопросъ — какъ удовлетворить это новое, необычное для него чувство?

Удовлетворить его было потому трудно, что оно предполагало прежде всего широкое и глубокое знаніе окружающей дѣйствительности. Какъ дѣйствовать или какъ рекомендовать дѣйствіе въ извѣстномъ направленіи, когда не располагаешь достаточнымъ знаніемъ деталей жизни? Русская жизнь была такъ разнообразна и своеобразна во всѣхъ своихъ слояхъ—а что зналъ о ней русскій художникъ? Онъ былъ занятъ до сихъ поръ почти исключительно своей собственной личностью, своими настроеніями и своими идеями. Онъ не изучалъ того необозримаго поля реальныхъ фактовъ, которое передъ нимъ раскинулось, а между тѣмъ онъ начиналъ сознавать, что это-то поле и есть та арена, на которой онъ призванъ „дѣйствовать", быть можетъ, *по своему* дѣйствовать, но во всякомъ случаѣ не только созерцать или погружаться въ раздумье.

И вотъ съ конца сороковыхъ годовъ мы наблюдаемъ въ нашей словесности необычайно быстрый подъемъ интереса художника къ окружающей его дѣйствительности. Еще Гоголь, при всей своей субъективности и при своемъ желаніи истолковывать житейскіе факты въ угоду извѣстной теоріи,—показалъ,какое колоссальное богатство поэзіи таится въ томъ, что принято называть прозой жизни. Теперь на эту прозу и было устремлено вниманіе художника. Молодая, какъ ее тогда называли, „натуральная" школа въ лицѣ писателей очень крупнаго таланта принялась разрабатывать матерьялъ, до-

селѣ почти нетронутый. Тургеневъ въ „Запискахъ охотника“ сдѣлалъ цѣлыя открытія въ области народной крестьянской психики и далъ намъ въ первый разъ вполнѣ правдивыя картины крестьянскаго и помѣщичьяго быта. На помощь ему пришелъ Григоровичъ со своимъ „Антономъ Горемыкой“. Островскій въ своемъ „Банкротѣ“ (переименованъ позднѣе въ „Свои люди сочтемся“) знакомилъ читателя со средой совсѣмъ пока неизвѣстной—съ купеческимъ бытомъ. Гончаровъ въ „Обломовѣ“ готовилъ цѣлую эпопею изъ жизни помѣстнаго дворянства, и въ „Обыкновенной исторіи“—вскрылъ передъ нами чиновную душу высокаго, столичнаго полета, и наконецъ Достоевскій въ „Бѣдныхъ людяхъ“ и въ первыхъ своихъ разсказахъ не убоялся завести читателя въ компанію лицъ, стоящихъ на самыхъ низкихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Тогда же начиналъ свою литературную дѣятельность и Некрасовъ, который, къ великому соблазну современниковъ, сталъ рядить въ стихотворную форму самые прозаическіе сюжеты.

Нѣкоторыя темы, которыя въ своихъ произведеніяхъ затрогивали эти писатели, были не новы, но отношеніе писателя къ этимъ темамъ было и новое, и своеобразное. Для художника первымъ условіемъ стала правда самой жизни, правда, которая могла идти въ разрѣзъ съ ихъ собственными ожиданіями, настроеніями и идеями. Раньше они требовали правды только отъ себя самихъ, теперь они свою личность отодвинули совсѣмъ на задній планъ и сама жизнь во всемъ ея разнообразіи стала ихъ первой заботой. Субъективное отношеніе къ матерьялу уступило мѣсто объективному, и художникъ становился бытописателемъ. Онъ не выбиралъ, какъ прежде, изъ жизни только то, что гармонировало съ его настроеніемъ или міропониманіемъ, онъ цѣнилъ фактъ не постольку, поскольку онъ будилъ въ немъ извѣстныя чувства и мысли,—ему фактъ становился дорогъ самъ по себѣ, какъ проявленіе жизни, которая теперь обращалась къ нему съ требованіемъ войти въ ея интересы, принять въ ея движеніи болѣе непосредственное участіе, чѣмъ онъ принималъ раньше.

Съ каждымъ годомъ это новое требованіе сознавалось художникомъ все отчетливѣе и онъ, занятый собираніемъ и изученіемъ матерьяла, естественно не могъ остановиться на простомъ его воспроизведеніи, хотя бы и художественномъ; нарастаніе волевого начала, повышеніе активнаго отношенія къ жизни, какое чувствовалъ онъ вокругъ себя и въ себѣ самомъ,—должно было привести его къ рѣшенію оттѣнить и подчеркнуть въ своихъ произведеніяхъ то „направленіе", въ какомъ, по его мнѣнію, родная ему жизнь должна двигаться.

И, дѣйствительно, онъ сталъ проводить это направленіе въ своемъ творчествѣ. Дѣло было очень трудное въ Николаевскія времена, такъ какъ именно въ то время, когда художникъ почувствовалъ въ себѣ это повышеніе волевого начала, власть, напуганная событіями 1848 года, обрушилась невѣроятными репрессіями на всякое печатное слово. Проводить открыто какое-нибудь направленіе при такихъ условіяхъ было невозможно, и у нашихъ „натуралистовъ", какъ ихъ тогда называли, въ концѣ сороковыхъ годовъ мы можемъ подмѣтить лишь самое общее направленіе—„гуманное", которое имѣло въ виду повысить въ читателѣ интересъ ко всѣмъ униженнымъ, оскорбленнымъ, бѣднымъ въ матерьяльномъ смыслѣ и въ духовномъ.

5. Съ 1855 года, послѣ кончины императора Николая Павловича, послѣ Крымской войны, общественная наша жизнь, а вмѣстѣ съ ней и наше словесное художественное творчество вступаетъ въ новый періодъ своего развитія, отличный отъ двухъ предшествующихъ.

Общій характеръ такъ называемой „эпохи реформъ"—по преимуществу практическій и активный. Сознавая недостатки стараго строя, власть сама рѣшилась призвать общество на помощь въ дѣлѣ обновленія всѣхъ устоевъ нашей общественной жизни. Призывъ былъ сначала очень искренній, и въ первые годы довѣріе власти къ обществу и общества къ власти обѣщали очень плодотворную работу. Но очень скоро это довѣріе исчезло; требованія, которые ставило общество въ лицѣ своихъ передовыхъ элементовъ, повышались очень быстро. Власть не нашла возможнымъ удовле-

творять ихъ, и, не считаясь съ психологическими мотивами, изъ которыхъ такія требованія вытекали, взглянула на нихъ, какъ на преступленіе. Вмѣсто того, чтобы использовать силу ума, характера, темперамента, которую проявляло общество, и умѣлыми и своевременными мѣрами избѣжать или обезвредить неизбѣжныя крайности въ чувствахъ и мысляхъ, власть прибѣгла къ старымъ репрессивнымъ пріемамъ, которые, конечно, цѣли своей достичь не могли. Послѣ краткаго періода относительнаго мира между обществомъ и властью (1855—1861) началась та внутренняя война „охранительнаго" начала съ „прогрессивнымъ", война партизанская, безъ перемирія, которая длится вплоть до нашего времени, вотъ уже болѣе полустолѣтія. Въ предѣлы нашей задачи не входитъ оцѣнка этой войны или ея исторія, но одинъ непосредственный ея результатъ для насъ необычайно важенъ. Какой бы ни былъ темпъ этой борьбы передовыхъ общественныхъ силъ, затихала ли она временно или ярко вспыхивала, велась ли она цѣлыми широкими кругами общества или болѣе тѣсными группами, но во всѣхъ образованныхъ людяхъ, даже и полуобразованныхъ она повышала энергію и возбуждала ихъ къ дѣйствію. Мы часто привыкли жаловаться на то, что наше общество инертно и вяло, что изъ всѣхъ психическихъ силъ воля развита въ немъ слабѣе другихъ. Нельзя, конечно, похвастать особенной склонностью нашего общества къ самодѣятельности, — но если вспомнить, что пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ мы имѣли многомилліонную крѣпостную массу, совершенно темную, пожалуй не менѣе темное сословіе мѣщанское и купеческое, что дворянство наше въ большой массѣ было полутемное, какъ и чиновничество и духовенство, что наконецъ всѣ эти сословія и группы жили жизнью очень рутинной, и инертной, безъ малѣйшихъ признаковъ самодѣятельности, то, быть можетъ, мы не будемъ столь строги къ достигнутымъ за пятьдесятъ лѣтъ результатамъ нашей общественной работы. При всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ — эта работа крѣпла изъ года въ годъ, и очень большую роль въ этомъ процессѣ напряженія общественной воли и въ дѣлѣ развитія самодѣятельности сыграла литература, критика и публицистика.

Выразители этой стороны нашей духовной дѣятельности разбились на разныя партіи, враждебно другъ противъ друга настроенныя, но всѣхъ ихъ объединяло одно стремленіе—увидать въ жизни осуществленіе и оправданіе тѣхъ мечтаній, желаній, мыслей и убѣжденій, въ которыя они—публицисты, критики и писатели—вложили свою душу. Они понимали свою роль какъ роль активныхъ дѣятелей и всѣ они стали проводить извѣстное направленіе въ жизнь—даже тѣ изъ нихъ, которые на словахъ открещивались отъ всякаго направленія.

Съ наступленіемъ эпохи великихъ реформъ художникъ почувствовалъ себя неразрывно связаннымъ съ даннымъ историческимъ моментомъ и со всею повседневной прозой окружавшей его дѣйствительности. Не только писатели второго ранга отдали свое творчество въ услуженіе извѣстнымъ „идеямъ", которыя они доказывали или опровергали бытовыми очерками и зарегистрированными своими наблюденіями надъ жизнью, но даже крупные, первоклассные таланты, даже геніи, и тѣ стали искать въ жизни подтвержденіе своимъ этическимъ взглядамъ и общественнымъ идеаламъ. Всѣ они стали создавать героевъ, которымъ влагали въ уста свои рѣчи, свои сужденія или стали развѣнчивать другихъ героевъ, съ которыми были несогласны. Напряженіе воли цѣнилось въ этомъ героѣ особенно высоко, да и всѣ выводимыя на сцену лица рисовались въ постоянномъ движеніи и по всему чувствовалось, что художникъ не стоялъ поотдаль отъ жизни, но находился въ самомъ центрѣ ея, полный стремленій, желаній, жажды дѣйствія, иногда съ совершенно опредѣленной программой, которую думалъ провести въ жизнь, возбуждая въ людяхъ эстетическія эмоціи.

Самый бѣглый взглядъ на творчество нашихъ крупнѣйшихъ писателей шестидесятыхъ и послѣдующихъ годовъ подтверждаетъ эти положенія.

Всѣ большіе романы Тургенева—что они такое, какъ не исторія нашего общественнаго *движенія* съ 1855 года по конецъ семидесятыхъ? Каждое лицо въ нихъ—лицо историческое, иногда идеализированное, но списанное съ натуры, иногда угаданное, но не вымышленное,—лицо, которое дѣйствуетъ, живетъ, движется не

по волѣ автора, но волею историческаго, на нашихъ глазахъ развивающагося, процесса. Тургеневъ любилъ называть себя ученикомъ Пушкина, и это вѣрно въ томъ смыслѣ, что изъ всѣхъ нашихъ реалистовъ онъ обнаружилъ наибольшую способность спокойнаго созерцанія жизни. Но для всѣхъ ясно, какое разностороннее пониманіе этихъ программъ и какой широкій интересъ къ нимъ онъ обнаружилъ, когда созерцалъ людей его окружающихъ. Каждый его романъ какъ будто говорилъ: „Вотъ что дѣлается, и вотъ что слѣдовало бы дѣлать, а вотъ отъ чего слѣдовало бы уберечься".

Другой, также очень спокойный по темпераменту писатель—Гончаровъ, и тотъ былъ увлеченъ потокомъ своего дѣловитаго времени. Онъ чувствовалъ себя въ немъ не ко двору и писалъ мало. Но когда онъ рѣшился наконецъ передѣлать старый романъ, начатый еще въ сороковыхъ годахъ, и подъ заглавіемъ „Обрывъ" выпустилъ его въ свѣтъ—въ этомъ романѣ оказалось больше „программности", чѣмъ художественности. Передъ нами были разныя программы поведенія, и художникъ открыто награждалъ ихъ то одобреніемъ, то порицаніемъ.

Не скрывалъ своихъ общественныхъ взглядовъ и Островскій, и въ своихъ драмахъ попытался прочитать извѣстный урокъ. Русская народная душа и ея простая житейская мудрость — вотъ какого героя въ дѣйствіи хотѣлъ намъ показать драматургъ. Въ этихъ ультрареальныхъ сценахъ была передъ нами программа жизни.

Когда такія тенденціи и программы проводились въ романахъ, повѣстяхъ, то съ этимъ еще какъ-то мирились. Но когда Некрасовъ сталъ облекать въ стихотворную форму свое тяготѣніе къ общественнымъ вопросамъ и поэта-пѣснопѣвца превратилъ въ бойца за демократическіе идеалы, то, какъ извѣстно, поднялась на Парнассѣ неописуемая буря. Раздались крики о профанаціи „поэзіи", и пошелъ нескончаемый споръ о свободномъ искусствѣ и о тенденціозномъ. Этотъ споръ лишній разъ доказалъ, какъ въ художникѣ вскипала воля въ ущербъ безстрастному созерцанію и хладнокровному мышленію. Наиболѣе сильный пѣвецъ стараго типа—

Фетъ остался одинъ спокойно на своихъ высотахъ, а его товарищи Майковъ и Полонскій принялись воевать за свободную музу и стали тенденціозны только въ обратномъ смыслѣ, а истинный поклонникъ и жрецъ красоты—Алексѣй Толстой сдѣлалъ въ своемъ творчествѣ большія уступки духу времени и въ фантастическіе образы облекалъ самые повседневные вопросы политики и общественности. Если, сравнивая въ общемъ поэзію гражданскую и поэзію „чистой красоты", мы должны признать, что поэты гражданской скорби дали въ общемъ гораздо менѣе художественно цѣннаго, чѣмъ поэты „незлобивые", то это объясняется простой случайностью: за исключеніемъ Некрасова въ его лагерѣ не было ни одного сильнаго таланта.

Такимъ же нареканіямъ, какъ Некрасовъ, подвергся и Щедринъ-Салтыковъ за профанацію литературы вообще, за превращеніе будто бы искусства въ гаерство и буффонаду. Щедринъ былъ безспорно одинъ изъ нашихъ крупнѣйшихъ художниковъ, и если на него такъ ожесточенно нападали, то потому, что никто изъ нашихъ писателей того времени не обладалъ такимъ боевымъ темпераментомъ какъ онъ. Для него художественное творчество было именно дѣйствіемъ, непосредственнымъ воздѣйствіемъ на окружающую жизнь. Воинственно настроенная воля заставляла его брать перо въ руки, и всѣ недочеты его какъ художника объясняются именно этимъ преобладаніемъ сангвиника—общественнаго дѣятеля надъ художникомъ-созерцателемъ и мыслителемъ.

Самымъ глубокимъ мыслителемъ художникомъ того времени принято считать Достоевскаго, и несомнѣнно, что какъ мистикъ, богословъ и философъ онъ—исключительное явленіе, не только въ нашей словесности, но и въ литературѣ всего міра. Но вмѣстѣ съ этимъ даромъ глубокаго отвлеченнаго мышленія, природа дала ему темпераментъ настоящаго проповѣдника, временами фанатика. Это проповѣдничество пропитало насквозь всѣ его романы, и главные герои его, это—все онъ въ разныхъ лицахъ и положеніяхъ. Христіанинъ, какимъ онъ желалъ быть, онъ все говорилъ о кротости и смиреніи и очень настойчиво подчеркивалъ эти,

какъ онъ увѣрялъ насъ, національныя наши качества. Въ его душѣ была однако достаточная доза нетерпимости и задора и когда ему приходилось не только какъ публицисту, а какъ художнику отстаивать свою религіозную, національную или вообще этическую программу, онъ пользовался художественнымъ словомъ какъ карающимъ мечомъ, и искусство было для него тѣмъ же орудіемъ непосредственнаго воздѣйствія на умъ, сердце и волю ближняго, чѣмъ оно было и для его антипода — Щедрина.

Достоевскаго обыкновенно противопоставляютъ Толстому, и какъ художника и какъ моралиста. Дѣйствительно, эти два нашихъ національныхъ генія обладаютъ совершенно своеобразными пріемами мастерства и ихъ философскіе взгляды на міръ и человѣка во многомъ разнствуютъ, но они дѣти одного времени, и духовное родство ихъ несомнѣнно. Оба они проповѣдники морали,—личной и гражданской, и для обоихъ эта мораль, ея истинность и возможность ея проведенія въ жизнь дороже того поэтическаго дара, которымъ они отмѣчены.

Толстой по силѣ своего таланта—міровой феноменъ и если о комъ можно сказать, что онъ какъ художникъ способенъ откликнуться на все разнообразіе явленій, съ одинаковой правдой и силой, такъ только о немъ. Его сочиненія даютъ намъ эту правдивую полноту разнообразія жизни, и между тѣмъ мы видимъ, что именно этотъ неоцѣненный даръ всепониманія и полнаго воплощенія жизни въ искусствѣ—тяготитъ художника, какъ нѣчто мѣщающее ему направить всѣ свои силы туда, куда бы онъ этого желалъ. Душевная трагедія Толстого во многомъ напоминаетъ трагедію Гоголя. Излишнее раздумье надъ задачей своего творчества погубило въ Гоголѣ художника, постоянная мысль о непосредственной практической пользѣ своей дѣятельности постоянно портила произведенія Толстого и довела его до откровеннаго признанія въ томъ, что онъ отрекается ото всего, что имъ создано какъ художникомъ. Воздѣйствіе на жизнь людскую въ смыслѣ полной реорганизаціи личной и гражданской морали—вотъ въ чемъ Толстой полагалъ свою миссію—

и уже въ первыхъ своихъ произведеніяхъ говорилъ объ этой миссіи устами разныхъ героевъ. Затѣмъ онъ всю жизнь велъ борьбу со своимъ талантомъ, навязывая ему доказательство извѣстныхъ этико-религіозныхъ положеній. Только благодаря тому, что этотъ талантъ—колоссальной силы, онъ не сломился подъ этимъ напоромъ морали и до послѣдняго дня остается силенъ и свѣжъ въ тѣ рѣдкіе часы, когда художникъ предоставляетъ ему полную свободу.

Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что съ наступленіемъ новой исторической эры, психика художника обогатилась и въ его искусство стало вторгаться то волевое, активное начало, которое дѣлало писателя сторонникомъ извѣстной этической и общественной программы и заставляло его цѣнить въ своихъ герояхъ всего больше ихъ склонность и способность къ дѣйствію. Художникъ—по преимуществу созерцатель, занятый почти исключительно своими ощущеніями, впечатлѣніями, своими чувствами, равно какъ и художникъ, по преимуществу раздумывающій надъ смысломъ явленій, въ сторонѣ отъ которыхъ онъ стоитъ, и унывающій и разачарованный въ своемъ раздумьи—этотъ художникъ стараго времени и типа уступалъ теперь свое мѣсто другому, которому, конечно, нельзя отказать ни въ способности чувствовать, ни въ склонности размышлять, но который однако всегда въ лицѣ своихъ героевъ защищалъ и оправдывалъ или отвергалъ и отрицалъ какую-нибудь программу дѣйствія и поведенія, вызванную потребностями современной минуты.

Можно спросить однако, не есть ли эта защита извѣстныхъ программъ и направленій возвратъ къ прежней субъективности? Вѣдь всякій писатель съ опредѣленнымъ направленіемъ всегда защитникъ своего субъективнаго міропониманія.

Какъ же эта новая форма субъективнаго отношенія художника къ своему матерьялу отразилась на искусствѣ? Осталось ли въ полной силѣ то реальное направленіе, которое съ конца сороковыхъ годовъ утвердилось въ нашей литературѣ?

Оно осталось въ полной своей силѣ благодаря тому, что то, что мы называемъ направленіемъ художника и

его программой, не было, какъ прежде, на вѣру принятой любезной мечтой, непровѣренной фактами или теоріей, заранѣе составленной въ умѣ и приноравляемой къ жизни. Этотъ старый субъективизмъ отошелъ въ прошлое, и не собой интересовался и любовался теперь художникъ. Программу жизни и направленіе онъ вычитывалъ изъ самой жизни; онъ кропотливо собиралъ мельчайшіе факты жизни, изучалъ ихъ соотношеніе и сцѣпленіе, онъ слѣдилъ за людьми въ жизни, наблюдалъ ихъ во всѣхъ самыхъ прозаическихъ обстановкахъ, вникалъ въ ихъ психологію даже когда она совсѣмъ не совпадала съ его личной; онъ забывалъ себя, когда рисовалъ эти типы; онъ хотѣлъ чтобы его произведеніе всецѣло покрывалось жизнью, однимъ словомъ, какъ художникъ онъ былъ реалистъ самый послѣдовательный и убѣжденный. Онъ хотѣлъ только, чтобы сама жизнь свидѣтельствовала о правотѣ его взглядовъ и сама своимъ естественнымъ развитіемъ доказывала законность и торжество того направленія, котораго держался писатель, той программы, которую онъ развивалъ. Стремясь быть реальнымъ и объективнымъ, художникъ изо всѣхъ силъ старался спрятать себя самого за спиной кого-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ его романа или повѣсти, но, конечно, эту роль онъ не выдерживалъ и начиналъ говорить отъ своего имени. Но такой субъективизмъ нисколько не нарушалъ правдивости и широты той реальной картины, которую рисовалъ художникъ.

На обозрѣніи творчества нашихъ художниковъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ можетъ быть законченъ общій очеркъ развитія нашей художественной словесности. Со смертью Достоевскаго (1881), Писемскаго (1881), Тургенева (1883), Островскаго (1887), Щедрина (1889), Гончарова (1891), съ окончательнымъ поворотомъ Л. Толстого на путь чистой проповѣди— закончился, если такъ можно выразиться, золотой вѣкъ нашей словесности. Новыхъ талантовъ, равныхъ по силѣ старымъ,—съ тѣхъ поръ не появлялось. Это была,

конечно, печальная случайность. Что же касается литературнаго движенія самыхъ послѣднихъ лѣтъ, то время для его исторической оцѣнки еще не наступило. Ко всякой попыткѣ разобраться въ немъ, авторъ неизбѣжно примѣшаетъ большую дозу личныхъ вкусовъ и симпатій, а имъ не мѣсто въ книгѣ, предназначенной для самообразованія.

XI. Книги для чтенія.

Для достиженія той цѣли, которую себѣ ставитъ эта книга, громоздкое чтеніе совсѣмъ не нужно. Дѣло идетъ не объ изученіи цѣлой литературной эпохи, даже не объ изученіи отдѣльныхъ крупныхъ писателей, а только лишь о самомъ общемъ знакомствѣ съ первыми годами развитія русской изящной словесности. Своимъ читателямъ авторъ хотѣлъ лишь дать почувствовать красоту извѣстныхъ художественныхъ произведеній и помочь имъ разобраться въ психикѣ художника Александровской эпохи. Ему хотѣлось приблизить людей той эпохи къ читателю, дать ему возможность пережить извѣстныя настроенія и ввести его въ кругъ извѣстныхъ мыслей.

Если бы читатель пожелалъ—что весьма желательно—провѣрить выводы книги, то списокъ необходимыхъ источниковъ для этой провѣрки былъ бы не лишнимъ.

Необходимо подобрать такія книжки, въ которыхъ люди тѣхъ годовъ жили бы на глазахъ читателя... Біографіи и изслѣдованія въ достиженіи этой цѣли мало помогутъ. Изслѣдованія и біографіи необходимы для дальнѣйшей работы, и читатель найдетъ всѣ указанія на такія книги въ программахъ для самообразованія. (Какъ напр., „Программы чтенія для самообразованія“ Спб., 1905, 5-е изданіе).

Чтобы получить болѣе интимное понятіе о „духѣ“ той литературной эпохи, о которой мы говорили, для

этого, конечно, прежде всего необходимо весьма внимательное чтеніе всѣхъ указанныхъ нами литературныхъ памятниковъ. Это не значитъ, что читатель обязанъ взять полное собраніе сочиненій поименованныхъ авторовъ и начать читать съ первой страницы. Такъ напр., изъ полнаго собранія сочиненій Грибоѣдова и Крылова можно ограничиться только одной комедіей „Горе отъ ума“ и „Баснями“. Изъ стихотвореній Батюшкова, Языкова и Веневитинова вполнѣ достаточно того, что приведено въ нашей книгѣ. Стихи Рылѣева нужно дополнить указанными въ книгѣ. „Думами“ и „Войнаровскимъ“ Баратынскаго, въ виду особой глубины его мысли и красоты формы, авторъ рекомендовалъ бы прочитать всего, не забывая однако о томъ, что лучшее, что имъ написано, относится не къ Александровской эпохѣ. Изъ стихотвореній Жуковскаго необходимо сдѣлать выборъ *).

*) Такъ какъ стихотворенія Жуковскаго—цѣлая литературная хрестоматія, то авторъ рекомендовалъ бы не жалѣть времени на чтеніе произведеній Жуковскаго, и предложилъ бы такой выборъ въ хронологическомъ порядкѣ (по изданію Маркса, редактированному проф. Архангельскимъ): Сельское кладбище 1802. Людмила 1808. Кассандра 1808. Моя богиня 1809. Путешественникъ 1809. Свѣтлана 1809. Двѣнадцать спящихъ дѣвъ 1810—1817. Пловецъ 1811. Жалоба 1811. Желаніе 1811. Пѣвецъ въ станѣ 1812. Пустынникъ 1812. Адельстанъ 1813. Ивиковы журавли 1813. Уединеніе 1814. Баллада, въ которой описывается какъ одна старушка... 1814. Варвикъ 1814. Алина и Альсимъ 1814. Эльвина и Эдвинъ 1814. Ахиллъ 1814. Эолова арфа 1814. Теонъ и Эсхинъ 1814. Стансы 1815. Пѣсня бѣдняка 1816. Мщеніе 1816. Гаральдъ 1816. Три пѣсни 1816. Овсяный кисель 1816. Красный карбункулъ 1816. Деревенскій сторожъ 1816. Утѣшеніе въ слезахъ 1817. Рыцарь Тогенбургъ 1818. Вѣрность до гроба 1818. Горная дорога 1818. Лѣсной царь 1818. Невыразимое 1818. Утѣшеніе 1818. Жизнь 1819. Узникъ 1819. Три путника 1820. Пери и Ангелъ 1821. Шильонскій узникъ 1821. Замокъ Смальгольмъ 1822. Море 1822. 19 марта 1823. „Я музу юную бывало“ 1824. Таинственный посѣтитель 1824. Торжество побѣдителей 1828. Сидъ 1831. Кубокъ 1831. Перчатка 1831. Неожиданное свиданье 1831. Поликратовъ перстень 1831. Жалоба Цереры 1831. Доника 1831. Судъ Божій надъ епископомъ 1831. Замокъ на берегу моря 1831. Алонзо 1831. Ленора 1831. Покаяніе 1831. Королева Урака 1831. Двѣ были и еще одна 1831. Пери 1831. Сраженіе со змѣемъ 1831. Сказка о царѣ Берендеѣ 1831. Война мышей и лягушекъ 1831. „Въ долину къ пастырямъ смиреннымъ“ 1831. Судъ въ подземельѣ 1832. Роландъ-оруженосецъ

Въ виду особаго историческаго значенія, какое имѣютъ типы Чацкаго и Онѣгина, было бы желательно ознакомиться съ тѣмъ, что по поводу этихъ типовъ говорила наша критика. Въ ней есть нѣсколько очень цѣнныхъ статей, которыя помогли бы читателю согласиться или не согласиться съ тѣмъ толкованіемъ, какое дано этимъ типамъ въ нашей книгѣ. Изъ литературы, посвященной разъясненію типа Онѣгина, должно указать на: *Бѣлинскій* послѣдняя глава VIII тома его сочиненій: „Сочиненія А. С. Пушкина". *Сиповскій, В.* „Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій" (статья эта помѣщена въ книгѣ *В. Сиповскаго* „Пушкинъ; жизнь и творчество" Спб. 1907, цѣна 3 р. 50 к. Рекомендуемъ эту книгу какъ лучшую для перваго ознакомленія съ біографіей и исторіей творчества Пушкина). *В. Ключевскій*, „Евгеній Онѣгинъ и его предки", „Русская Мысль" 1887 г. Февраль. *Д. Овсянико-Куликовскій*, Исторія русской интеллигенціи. Томъ I. *Авдѣевъ*, Наше общество въ герояхъ и героиняхъ (книга очень элементарная, но съ хорошей исторической перспективой). Изъ литературы о Чацкомъ надо знать слѣдующія статьи: *Бѣлинскій*, статья „Горе отъ ума". *Гончаровъ*, „Мильонъ терзаній". *Алексѣй Веселовскій*, „Альцестъ и Чацкій" въ книгѣ „Этюды и характеристики". *Суворинъ*, А. Предисловіе къ изданію „Горе отъ ума" 1886 года (самая лучшая защита „Горе отъ ума" какъ „комедіи"). Указанныя книги *Авдѣева* и *Д. Овсянико-Куликовскаго*.

Когда читатель ознакомится съ художественными памятниками литературы александровской эпохи и съ

1832. Рыцарь Роллонъ 1832. Братоубійца 1832. Старый рыцарь 1832. Уллинъ и его дочь 1833. Элевзинскій праздникъ 1833. Ночной смотръ 1836. Сельское кладбище 1839. Маттео Фальконе 1843. Капитанъ Боппъ 1843. Выборъ креста 1845. „У сына Франціи" 1849. Царскосельскій лебедь 1849. Орлеанская Дѣва 1821. Разрушеніе Трои 1822. Ундина 1836. Камоэнсъ 1839. Наль и Дамаянти 1841. Рустемъ и Зорабъ 1847. Одиссея 1849. Странствующій жидъ 1850-2. Ознакомиться съ поэзіей Жуковскаго только по тѣмъ стихотвореніямъ, которыя написаны Жуковскимъ въ Александровское царствованіе, конечно, можно, но такъ какъ поэзія Жуковскаго не мѣняла своего настроенія и міросозерцанія за всю его жизнь, то лучше всего изучить ее по самымъ сильнымъ образцамъ, а ихъ далъ Жуковскій въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ.

указанными критическими статьями и книгами, авторъ рекомендовалъ бы ему удѣлить время на чтеніе памятниковъ литературы иностранной, на которой воспитывались всѣ наши художники того времени. Безъ ознакомленія съ литературой западной нельзя себѣ составить правильнаго понятія о поэтическомъ кругозорѣ нашихъ художниковъ. Во многихъ случаяхъ западная словесность объяснитъ намъ ихъ психику лучше, чѣмъ данныя общественной и политической жизни ихъ времени. Въ тотъ періодъ своего развитія, о которомъ мы говорили, наши художники чувствовали себя въ мірѣ мечты ловче и пріятнѣе, чѣмъ въ мірѣ реальныхъ фактовъ, а этотъ міръ поэтическихъ образовъ открывался имъ въ творчествѣ западныхъ поэтовъ, древнихъ и новыхъ.

Поставить границы, въ какихъ для нашей цѣли должно ознакомиться съ западной словесностью—крайне трудно. Здѣсь всякій излишекъ—всегда выгода.

Первое, о чемъ должно себѣ составить хотя бы самое общее представленіе, это—словесность античная. Художникъ александровскаго времени очень любилъ античный міръ и зналъ хорошо его литературу. Нельзя сказать, чтобы онъ вполнѣ освоился съ ея духомъ, нельзя забывать также, что „античное“ онъ иногда получалъ изъ вторыхъ — французскихъ и нѣмецкихъ рукъ,—но образы античной фантазіи и исторіи были всегда живы въ его памяти. Они служили ему готовой внѣшней формой для выраженія многихъ настроеній — и веселыхъ и печальныхъ.

Знакомство читателя съ античной словесностью могло бы ограничиться слѣдующими ея характерными памятниками: Иліадой (въ переводѣ Н. Гнѣдича. Съ Одиссеей читатель ознакомится въ переводѣ Жуковскаго), Драмами: „Скованный Прометей“ Эсхила, „Эдипъ-царь“ и „Антигона“ Софокла. „Вакханки“, „Медея“ и „Ипполитъ“ Эврипида, „Одами“ Горація, „Сатирами“ Ювенала, „Метаморфозами“ Овидія.

Наряду съ этими образцами греко-римской словесности большое воспитательное значеніе для нашего художника имѣла литература французская „классическаго“ періода. Она въ большомъ количествѣ входила въ про-

грамму, и домашняго, и школьнаго образованія. Для самаго общаго ознакомленія съ этой литературой надо превозмочь L'art poétique Буало и прочитать трагедіи Корнеля: „Сидъ“, Расина: „Гоѳолія“ „Эсфирь“ „Андромаха“ „Федра“ „Титъ и Вероника“ и Вольтера: „Заира“ и „Танкредъ“. Англійская старая литература имѣла у насъ немногихъ поклонниковъ и если читатель знакомъ съ Шекспиромъ, то остальныхъ онъ можетъ обойти.

Еще большее значеніе, чѣмъ знакомство съ этими старыми образцами литературы, имѣетъ знакомство съ тѣми памятниками иностранной словесности, которые были для нашихъ писателей александровской эпохи новинками или почти новинками дня. Нѣкоторые изъ нихъ были съ большой примѣсью сатирической соли, другіе строго сентиментальнаго типа.

Чтобы назвать изъ нихъ лишь главнѣйшія, знакомство съ которыми весьма желательно, укажемъ „Мысли“ Ларошфуко, романы Вольтера, „Новую Элоизу“ и „Эмиля“ Руссо (читать сплошь эти многотомныя сочиненія Руссо—трудно. О нихъ достаточно навести справки въ сочиненіяхъ, посвященныхъ Руссо, какъ напр., у Гетнера и Морлея. „Исповѣдь Савойскаго священника“ изъ „Эмиля“ прочитать нужно), „Павелъ и Виргинія“ Бернардена-де-Сенъ-Пьерра, „Сентиментальное путешествіе“ Стерна и „Афоризмы“ Шамфора.

Всѣ эти весьма крупныя по своей литературной цѣнности произведенія XVIII вѣка имѣли въ началѣ XIX вѣка прямое и живое вліяніе на нашихъ писателей. Изъ этихъ сочиненій, съ добавленіемъ философскихъ и политическихъ трактатовъ, Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье и другихъ, наши писатели вычитывали свою мудрость по вопросамъ религіи, этики и политики.

Что касается нѣмецкой литературы конца XVIII вѣка, то ея неисчислимыя богатства находили себѣ у насъ малыхъ и—за рѣдкими очень исключеніями — неглубокихъ цѣнителей въ александровское царствованіе. Жуковскій и московскіе шеллингисты пожалуй одни знали имъ настоящую цѣну. Большинство было знакомо съ нѣмецкой литературой больше по наслышкѣ. Это обстоятельство однако не можетъ избавить читателя отъ не-

обходимости ознакомиться съ тѣми памятниками классической нѣмецкой литературы, которые хотя бы въ видѣ смутныхъ образовъ тревожили фантазію нашихъ писателей того времени. „Лирическія стихотворенія“ Гете, его „Вертеръ“, „Эгмонтъ“, „Тассо“ и „Германъ и Доротея“ упоминаются въ тогдашней критикѣ чаще другихъ его произведеній. „Фаустъ“ не нашелъ еще тогда достойной оцѣнки. Шиллера любили больше, чѣмъ Гете, и его драмы и баллады имѣли ревностныхъ поклонниковъ. Лирика Шиллера довольно полно представлена въ поэзіи Жуковскаго, а съ драмами (за исключеніемъ „Орлеанской Дѣвы“, переведенной Жуковскимъ) надо ознакомиться въ новѣйшихъ переводахъ. Въ драмахъ цѣнилось не только ихъ художественное совершенство, но и ихъ политическая тенденція, и въ этомъ смыслѣ на „Разбойниковъ“. „Фіэско“, „Коварство и любовь“ и „Донъ-Карлоса“ должно обратить особенное вниманіе. Къ этимъ произведеніямъ нѣмецкихъ „классиковъ“ надо добавить одно сочиненіе, вышедшее изъ школы нѣмецкихъ романтиковъ, и пользовавшееся большимъ почетомъ у московскихъ философовъ.

Это былъ трактатъ объ искусствѣ въ формѣ повѣстей и разсужденій, принадлежавшій перу рано умершаго Вакенродера подъ заглавіемъ „Размышленія отшельника, любителя изящнаго“, 1826. (Книга, къ сожалѣнію, очень рѣдкая, которую слѣдовало бы переиздать или перевести вновь).

Переходя наконецъ къ тѣмъ памятникамъ иностранной словесности, которые для писателей александровской эпохи были настоящими новинками — затрудняешься въ ихъ выборѣ, такъ какъ несомнѣнно, что все выдающееся, въ особенности во французской, и англійской литературѣ, вращалось на нашемъ литературномъ рынкѣ. Укажемъ лишь на самыя выдающіяся произведенія, которыя оставили ясный слѣдъ на нашей словесности.

Къ числу такихъ должны быть отнесены прежде всего памятники ранняго французскаго романтизма, а именно повѣсти Шатобріана „Рене“ и „Атала“, романъ M-me де-Сталь „Коринна“, повѣсть Бенжамена Констана „Адольфъ“ и разсказъ Нодье „Жанъ Сбогаръ“. Эти

памятники надо знать, такъ какъ на нашъ „романтизмъ“ они сильно повліяли.

Но главное вліяніе на этотъ „романтизмъ“ оказалъ, какъ извѣстно, Байронъ и потому чѣмъ глубже будетъ знаніе этого писателя, тѣмъ яснѣе и туманности нашего „романтизма“.

Въ настоящее время вышло подъ редакціей С. А. Венгерова полное собраніе сочиненій Байрона въ русскомъ переводѣ, снабженное обширными вводными статьями историко-литературнаго характера. Это изданіе значительно облегчаетъ работу, такъ какъ въ немъ сведены выводы всей обширной литературы о Байронѣ. Само собою разумѣется, что читать полностью всѣ сочиненія Байрона было бы для нашей цѣли излишне. Надо остановиться на тѣхъ произведеніяхъ, которыя характерны для самого Байрона и на такихъ, которыя у насъ въ Россіи имѣли наибольшее распространеніе.

Ограничиться можно слѣдующимъ: „Гяуръ“ „Абадосская невѣста“, „Корсаръ“, „Лара“, „Осада Коринѳа“, „Манфредъ“, „Каинъ“, „Сарданапалъ“ и первыя четыре главы „Донъ Жуана“. „Чайльдъ Гарольда“, о которомъ такъ много говорилось въ Россіи, читать въ настоящее время очень трудно, и чтеніе самого памятника можно замѣнить статьей, которая въ русскомъ изданіи ему предшествуетъ.

Изъ остальныхъ англійскихъ поэтовъ (одного изъ сильнѣйшихъ—Шелли мы тогда просмотрѣли) хорошій выборъ данъ опять-таки въ переводахъ Жуковскаго.

Нѣмецкіе писатели двадцатыхъ годовъ были намъ мало извѣстны за исключеніемъ тѣхъ, которыхъ переводилъ опять-таки Жуковскій.

Для цѣли, которую мы себѣ поставили и которая сводится къ тому, чтобы при возможно большей экономіи времени возможно полнѣе ознакомиться съ нашей *художественной* словесностью въ первые годы ея роста, — чтеніе самихъ памятниковъ кажется намъ важнѣе чтенія книгъ о нихъ. Всѣ памятники